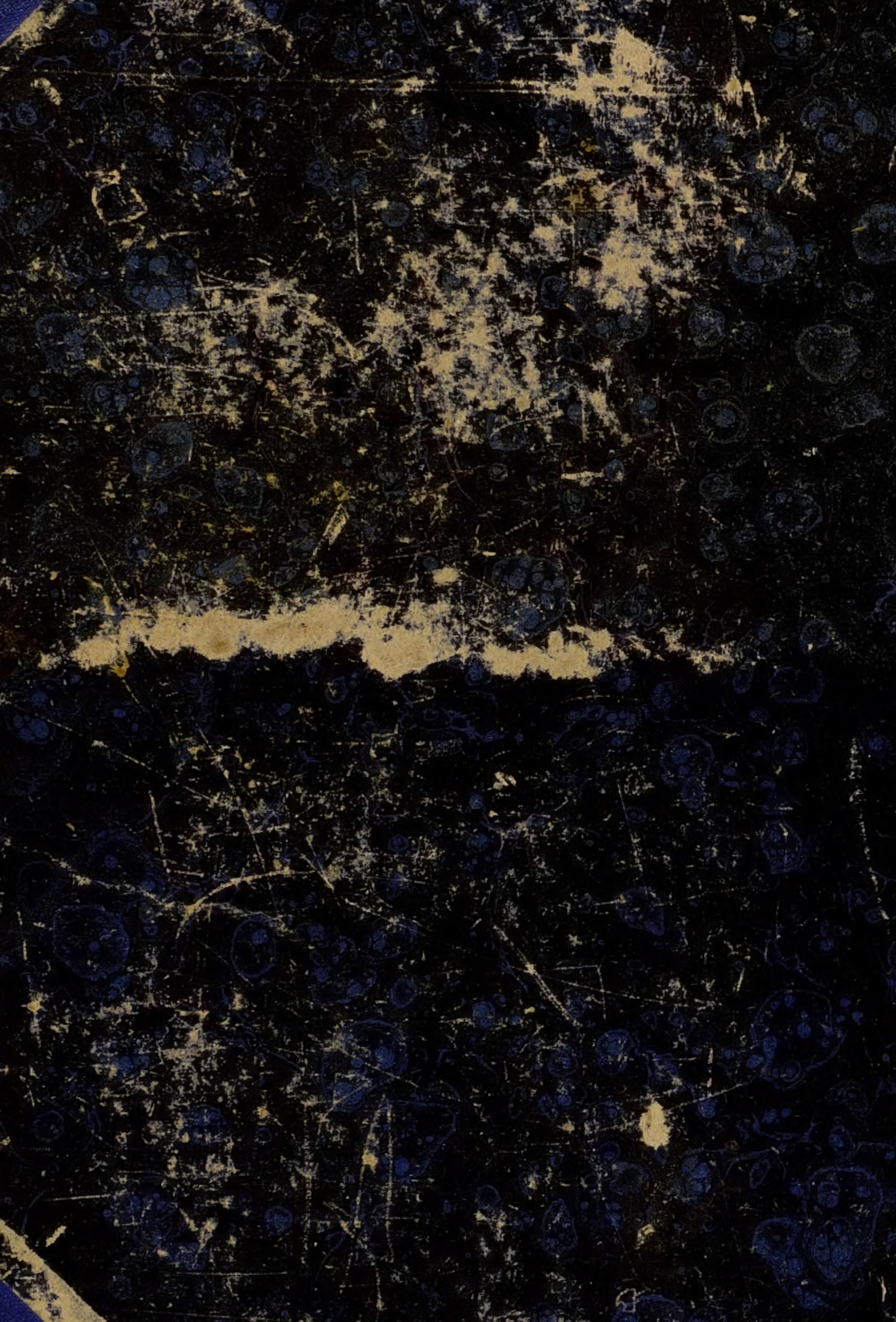

З. 38.
III. 66.
П. 1.
№ 2.

38.4/3.1.3/22.

Проверено 1950

Мф n-1/241

28.66.1.4

АЛЬМАНАХИ

Издательства

ШИПОВНИКЪ

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. КАИНОВА ПЕЧАТЬ. К. ЧУКОВСКІЙ. ЭГО-ФУТУРИСТЫ И КУБО-ФУТУРИСТЫ. К. ЧУКОВСКІЙ. ОБРАЗЦЫ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. ЛЮБОВЬ НАДЪ БЕЗДНАМИ. Л. Н. АНДРЕЕВЪ. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ПИСЬМА О ТЕАТРѢ. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

КНИГА 22

Изд-во «ШИПОВНИКЪ» С.-Петербургъ, Николаевская, 31.

Собраніе сочиненій Кнута Гамсуна.

Томъ	I. Духовная жизнь современной Америки	Ц. 1 р.	— к.
»	II. Голодъ. Романъ	» 1 »	— »
»	III. Мистеріи. Романъ.	» 1 »	25 »
»	IV. Новь. Романъ	» 1 »	25 »
»	V. Панъ. Романъ. — Сьеста. Разсказы	» 1 »	25 »
»	VI. Драмы	» 1 »	25 »
»	VII. Викторія. Романъ.—Въ сказочной странѣ	» 1 »	40 »
»	VIII. Редакторъ Люнге. Романъ	» 1 »	25 »
»	IX. Поросль	» 1 »	— »
»	X. Царица Тамара. Подъ полумѣсяцемъ	» 1 »	25 »
»	XI. Мечтатель. Повѣсть—Воинствующая жизнь.	» 1 »	25 »
»	XII. Подъ осенними звѣздами. Романъ.	» 1 »	25 »

Цѣна за все изданіе въ 12 переплетахъ 18 р. 65 к.

Полное собраніе сочиненій Гюи де Мопассана, въ 30 томахъ.

Томъ	I. Пышка и другіе разсказы	Ц. 1 р.	— к.
»	II. Домъ Телье и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	III. Исторія одной жизни. Романъ	» 1 »	25 »
»	IV. Нашъ милый другъ. Романъ	» 1 »	50 »
»	V. Сильна, какъ смерть. Романъ	» 1 »	25 »
»	VI. Сказки Бекаса и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	VII. Мадемуазель Фифи и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	VIII. Сестры Рондоли и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	IX. Маленькая Рокъ и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	X. Напрасная красота и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XI. Избранникъ г-жи Гюиссонъ и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XII. Преступленіе отца Боннифація и другіе разсказы.	» 1 »	— »
»	XIII. Иветта и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XIV. Господинъ Паранъ и другіе разсказы	» 1 »	25 »
»	XV. Миссъ Гарріетъ и другіе разсказы	» 1 »	25 »
»	XVI. Монтъ Оріоль. Романъ	» 1 »	50 »
»	XVII. Пьеръ и Жанъ. Романъ	» 1 »	— »
»	XVIII. Съ лѣвой руки. Разсказы	» 1 »	— »
»	XIX. Наше сердце. Романъ	» 1 »	— »
»	XX. Лунный свѣтъ и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XXI. Хорля и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XXII. На водѣ	» 1 »	— »
»	XXIII. Бродячая жизнь и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XXIV. Туанъ и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XXV. Подъ южнымъ солнцемъ	» 1 »	— »
»	XXVI. Театръ и стихи	» 1 »	— »
»	XXVII. Дѣдъ Милонъ и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XXVIII. Коробейникъ и другіе разсказы	» 1 »	— »
»	XXIX. Воскресные дни буржуа. Неоконченныя произведенія.	» 1 »	— »
»	XXX. Жизнь и творчество Гюи де Мопассана. Статьи Мениаля, Невэ и Ѳедора Сологуба	» 1 »	25 »

Цѣна за все собраніе сочиненій въ 18 переплетахъ 40 руб.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

АЛЬМАНАХИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

„ШИПОВНИКЪ“

Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде

Книга 22

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1914.

Т-во „Екатерингофское
Печатное Дѣло“, СПБ.,
Екатерингофскій пр., 7.
Тел.. № 25-06 и 584-72.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Содержаніе:

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. Каинова печать (Не убій).

К. ЧУКОВСКІЙ. Эго-футуристы и кубо-футуристы.

К. ЧУКОВСКІЙ. Образцы футуристическихъ произведеній.

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. Любовь надъ безднами.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. Письма о театрѣ.

Л. Н. АНДРЕЕВЪ

КАИНОВА ПЕЧАТЬ

[НЕ УБІЙ].

Драма въ пяти дѣйствіяхъ

ПЕРВОЕ ДѢЙСТВІЕ.

Темный осенній день. Дождь. На сценѣ одна изъ комнатъ Кулабуховскаго проклятаго дома: пустая, грязная, мерзкая. Рамы въ большихъ барскихъ окнахъ перекосились, видно, что отъ оконъ дуетъ; два стекла въ нижнихъ доляхъ рамы разбиты и замѣнены досточкой; гнилые обои мѣстами отлипли и угрожающе нависаютъ. Обстановки никакой, если не считать большого кухоннаго стола, какъ бы брошеннаго посередь комнаты и нѣсколькихъ случайныхъ стульевъ. За окнами — оконъ всего три — въ сѣткѣ дождя смутно различаются почернѣвшіе углы и крыши надворныхъ построекъ, за ними

голые стволы и вѣтви большого и стараго сада.

При открытіи занавѣса, на сценѣ одна Василиса Петровна кулабуховская экономка, — женщина съ пріятнымъ лицомъ. Одѣта неряшливо и плохо, но волосы причесаны и подвиты. Сидитъ на кончикѣ стола, глубоко задумалась о чемъ то. Возлѣ на столѣ подъ опущенной рукой лежитъ черное шерстяное платье.

Входитъ дворникъ Яковъ.

Яковъ. Что задумались, Василиса Петровна? Я пришелъ.

Вас. Петр. (не поднимая головы и не мѣняя позы). Да, вотъ думаю все.

Яковъ. Ну, думайте.

Вас. Петр. Холодно. Да, вотъ думаю все. Ты знаешь, Яковъ, сколько у меня денегъ было, сбереженій моихъ?

Яковъ. Я частокольчикъ доломалъ, теперь дня на два топлива хватитъ. Затопить, что-ли? Холодно тутъ.

Вас. Петр. Потомъ. Въ сберегательной кассѣ лежало у меня триста пятнадцать рублей, да на рукахъ было пятьдесятъ или сорокъ, не помню точно. Да заложила я платьевъ, браслетку золотую, ризу съ иконы серебряную, машину швейную, двѣ подушки настоящія пуховыя и разнаго другого—всего на сто двадцать рублей. Да половину квитанціи продала за сорокъ рублей: вотъ ты и сосчитай, Яша, сколько за два года вышло.

Яковъ. Здорово.

Вас. Петр. Да ужъ такъ здорово, что завтра хоть на паперть итти! Ни копѣйки, Яша, нѣтъ. Думала это платье отнести, да въ чемъ же я его понесу, самой надѣть нечего, одно только приличное и есть... Ахъ, батюшки, а у знакомыхъ то я побрала денегъ, совсѣмъ забыла: рублей шестьдесятъ, не меньше. Вотъ забыла, вотъ забыла!

Яковъ. Да моихъ семнадцать рублей считайте.

Вас. Петр. Совѣстно вспомнить, какая я глупая была! Я вѣдь въ началѣ по первому разряду его содержала, думала, что онъ просто шутитъ или притворяется, чтобы испытать меня. Они вѣдь разные бываютъ, и особенно милліонеры: просто, думаю, фантазія, обиженъ родственниками, вотъ и придумываетъ. А оказалось то и совсѣмъ серьезно: до послѣдней нитки объѣлъ, какъ саранча! Холодно, Яша. О, Господи, шпалеры то какъ обвисли. Каждый день на нихъ гляжу, а все никакъ привыкнуть не могу... да и нельзя къ этому привыкнуть. Что, дождь идетъ?

Яковъ. Идетъ. Надо рюмочку выпить, Василиса Петровна!

Вас. Петр. Нѣтъ, Яковъ, не надо. А ты гдѣ досталъ?

Яковъ. У Феофана двугривенный выпросилъ. Надо рюмочку выпить, Василиса Петровна.

Вас. Петр. Вѣдь я даже вина не пила, Яша: тебѣ трудно представить, а я чище всякой барыни ходила. Но вотъ тебѣ клятва моя, Богомъ клянусь: если мнѣ это удастся и будутъ у меня деньги, ни одной капли въ ротъ не возьму! Это такое униженіе, Яковъ, когда женщина пьетъ, это такъ недостойно ея пола.

Яковъ. Налить?

Вас. Петр. (вздыхаетъ). Ну давай. Думала ли я когда-нибудь, Яшенька, что буду вотъ такъ сидѣть... съ Яшей дворникомъ и водку пить. Много мнѣ гадалки гадали, а такого случая ни одна угадать не могла. Ухъ, какъ холодно, руки, ноги болятъ.

Яковъ. Согрѣешься!

Вынимаетъ изъ кармана полъ-бутылки водки и небольшой кабацкій и исщербленный по краямъ стаканчикъ, наливаетъ и подноситъ Василисѣ Петровнѣ.

Яковъ. Выкушайте на здоровье, Василиса Петровна.

Вас. Петр. За твое здоровье, Яша. (Пьетъ и кашляетъ, покачиваетъ головой). Вотъ и выпила. Яша!

Яковъ. Что?

Вас. Петр. И въ кого ты, Яша, такой рыженькій уродился?

Яковъ. Въ отца, Василиса Петровна. У насъ въ роду всѣ съ красниной, а есть такъ и совсѣмъ красные. А что не нравится?

Вас. Петр. Нѣтъ, нравится. Яша! А я вѣдь не о платьяхъ думала—сидѣла.

Яковъ. А о чемъ?

Вас. Петр. А все о томъ. Надо кончать, Яковъ.

Яковъ. Что-жъ, кончимъ.

Вас. Петр. Надо... завтра, Яша.

Молчаніе.

Яковъ. Что-жъ, можно и завтра. Какой завтра день?

Вас. Петр. Кажется пятница, не помню. Дѣло въ томъ, голубчикъ, что мы очень легко можемъ опоздать.

Яковъ. Митька наслѣдникъ опять мимо воротъ прохаживался.

Вас. Петр. Ну да. Объявятъ они его сумасшедшимъ тогда все пропало.

Яковъ. Хитрый онъ—не поддастся. (Смѣется). Нѣтъ, ты скажи, бабочка, что за чудеса: и сколько у насъ въ саду собакъ, со всей Москвы собѣжались, рады мертвому мѣсту—и

мнѣ то страшно ходить. А онъ тебѣ цѣлую ночь между собакъ бродитъ и хоть бы одна его тронула. Царь собачій!

Вас. Петр. Это правда, онъ очень хитрый. Онъ ужасный человѣкъ, Яковъ. И я думаю, что онъ вовсе не сумасшедшій, но вѣдь не могутъ же наслѣдники терпѣть такое неприличіе. Наконецъ и имъ деньги нужны: Дмитрій Николаевичъ очень, очень небогатый человѣкъ и въ то же время очень разсчетливый.

Яковъ. Жадный народъ! И какъ можно деньги такъ любить, не понимаю я этого.

Вас. Петр. Ну ты многаго не понимаешь, Яша. А что, Яша, еще рюмочка найдется, дай, пожалуйста. Однимъ словомъ, ты этого не понимаешь, Яковъ, это ужъ тонкая политика, но если бы они не боялись скандала, они-бъ его давно въ желтый домъ запрятали. Но вотъ что ужасно: видѣла я тамъ въ шкапу дѣйствительно деньги лежатъ, но если это все именныя бумаги. Тогда прямо ужасно! Есть такія бумаги, Яковъ, которыхъ ни пустить въ оборотъ, ни размѣнять не изъ и что тогда дѣлать?

Яковъ. Увидимъ.

Вас. Петр. И вотъ еще что думала я: соннаго его никакъ не застигнешь. Совѣсть ли у него безпокойная, или боится онъ, но только еще не видала я, чтобы онъ ночью спалъ.

Яковъ. А сейчасъ спитъ?

Вас. Петр. А сейчасъ спитъ.

Яковъ. Чтожъ, можно и на ходу. Какая у него сила!

Вас. Петр. Кричать будетъ.

Яковъ. А кто услышитъ? Собаки цѣлую ночь грызутся, такая война идетъ, что и мимо ходить боятся. Нашего кулабуховскаго дома всѣ боятся, Василиса Петровна — да и проклятый же домъ, сказать по правдѣ. Кругомъ столица Москва, а мы какъ въ черной ямѣ сидимъ, ни голосу, ни свѣту, однѣ собаки воюютъ. Пустырь!

Вас. Петр. Да, да, живемъ, какъ погребенныя. Яша, а крови не будетъ?

Яковъ. Какая кровь!

Вас. Петр. Крови ни въ какомъ случаѣ не должно

быть, ни единой царапинки -слышишь, Яковъ. Тогда все пропадетъ. Каторга, Яша, не забудь.

Яковъ. Что жъ и на каторгѣ люди живутъ! Да, ты не безпокоїся, бабочка, я все сдѣлаю.

Вас. Петр. Я на тебя ужъ такъ полагаюсь... Яша, а аду ты боишься?

Яковъ. Аду? Что жъ, и въ аду люди живутъ, да еще побольше, чѣмъ въ Москвѣ. Тамъ не соскучишься! Эхъ, бабочка, милая, никакого мѣста я не боюсь, гдѣ люди есть.

Вас. Петр. Простой ты человѣкъ, Яша, съ тебя, я думаю, и грѣхъ не взыщется, или не такъ строго. Яша! А Маргарита—горничная тебѣ очень нравится?

Яковъ. Мнѣ всѣ нравятся.

Вас. Петр. Она тебя любитъ.

Яковъ. Меня всѣ любятъ, Василиса Петровна. Да, какъ меня и не любить? Лицо у меня чистое, душа беззаботная, никому я не дѣлаю обиды, а только угождаю. Очень я хорошій человѣкъ, Василиса Петровна, всю Москву обыщите, а другого такого не найдете. Другіе что? походилъ я, повидалъ я: грубіяны, насильники, чортово племя волосатое. А я, какъ левъ мягкій — обовьюсь, такъ и не услышишь, только только тепло восчувствуешь. Вѣрно, бабочка?

Вас. Петр. Ахъ вѣрно, Яшенька!

Яковъ. Я же и говорю, что вѣрно. И зато мнѣ всѣ бабы, какъ сестры родныя.

Вас. Петр. Охъ, Яшенька, сестры ли?

Яковъ. А мнѣ все равно, Василиса Петровна, я различій не дѣлаю: сестра ли, жена ли, невѣста ли. Мнѣ-бъ только угодить, Василиса Петровна, ласку сдѣлать, а тамъ называй какъ хочешь, я не разсержусь. Нашего Яшу хоть въ пирогъ, хоть въ кашу вотъ какой я удивительный человѣкъ, Василиса Петровна! Вы думаете большая мнѣ надобность Кулабухова душить...

Вас. Петр. Ну, что за пустяки, Яковъ. И вовсе я не хочу, чтобы ты изъ-за меня, ты также получишь свою долю.

Яковъ. А на что мнѣ деньги? Все равно бабамъ на подсолнухи раздамъ. Мнѣ ничего не надо. Да и не изъ-за

васъ я, а просто такъ — придушить, такъ придушить. А не надо, такъ и не надо.

Вас. Петр. Нельзя же такъ, Яша, не для чего.

Яковъ. Да я не такъ: даромъ, какъ говорится, и вередъ не вскочитъ. Но какъ вы человѣкъ пріятный, такъ отчего же мнѣ, напримѣръ, и не сдѣлать вамъ ласку? Какъ скоро, такъ сейчасъ! Вамъ угожденіе, ему карачунъ, а мнѣ— Яшкѣ и любопытно: что за дорога, коли нѣтъ поворота? Прямо только галки летаютъ.

Вас. Петр. Не надо, Яковъ, не смѣйся. Непріятно!

Яковъ. А и заплакалъ бы да слезъ нѣту, Василиса Петровна. Смотрю это я, бабочка, какъ иной человѣкъ мокнетъ и даже завидки берутъ, скажи пожалуйста! А самъ не могу. Морозомъ ли меня высушило, или солнцемъ повыжгло, а только нѣтъ во мнѣ ни единой слезиночки. Мать родная попроси: дай мнѣ, Яковъ, слезиночку, дай, сыночекъ, разъединую,—такъ и то...

Вас. Петр. Тише! Идетъ нашъ, туфлями шаркаетъ. Боже мой, и до чего онъ мнѣ опротивѣлъ, въ дрожь бросаетъ, какъ его услышу. Зажги лампочку, Яковъ, темнѣетъ.

Яковъ зажигаетъ маленькую кухонную лампочку съ полуобгорѣвшей бумагой вмѣсто колпака. Дверь изъ комнатъ медленно и осторожно пріоткрывается и въ отверстіе высовывается старая облѣзлая голова съ быстро бѣгающими глазами. Присматривается и выходитъ — съ ужимками, присѣданіями, какъ бы танцуя какой то нелѣпый танецъ. Потираетъ руки, хихикаетъ, насмѣшливо цмокаетъ.

Кулабухов. Ага! Такъ, такъ! Салонъ и разговоры, свѣтъ и общество, что? Очень, очень пріятное зрѣлище! А гдѣ сказано, чтобы дворникъ въ барскомъ домѣ засѣдалъ, гдѣ такое правило, гдѣ такой указъ сената? Ага!

Вас. Петр. (раздраженно). Стекла въ кухнѣ вставьте, вы хозяинъ, тогда и треоуйте.

Кулабухов. Сама вставишь. Обѣдать давай, экономка!

Вас. Петр. Милліонеръ!

Кулабуховъ. Ну и милліонеръ—а что? Завидно, а? А милліончики то мои, а не твои, что? Право собственности, да. Хе-хе, не нравится? И Яшенькѣ не нравится? — ахъ, какъ печально, а ничего не подѣлаешь: право собственности, да. Яшка, ступай вонъ!

Яковъ. Сейчасъ пойду. А вы мнѣ зачѣмъ, Петръ Кузьмичъ, ружье безъ курка дали? Сами сторожить велите, а сами ружье безъ курка даете. (Смѣется). Какъ же я изъ него стрѣлять буду?

Кулабуховъ. А! А ты и курокъ хочешь?

Яковъ. Хочу.

Кулабуховъ. Хочу, хе-хе! Ну и ступай вонъ, дуракъ. Дуракъ, дуракъ! Обѣдать давай, экономка.

Яковъ неторопливо выходитъ, смѣется.

Кулабуховъ. Ну?

Вас. Петр. А что обѣдать?

Кулабуховъ. Не знаю, не знаю. Я баринъ, ты экономка, ты и должна знать. Хе-хе, такъ оно и всегда, да!

Вас. Петр. Ну и мучитель же вы! Ну и безсовѣстный же вы человѣкъ! Во многихъ домахъ я служила, много я видѣла дурного, а такого, какъ вы, клянусь Богомъ, первый разъ встрѣчаю. Клянусь Богомъ, первый разъ.

Кулабуховъ. Что, хорошъ, хе-хе?

Вас. Петр. Такъ хорошъ, что васъ въ желтый домъ надо.

Кулабуховъ. Нельзя! Меня въ желтый домъ нельзя. Я сюртучекъ надѣну. Хе-хе, у меня орденочекъ есть, я и орденочекъ надѣну. Хе-хе, что, ага?

Вас. Петр. И сюртучекъ не поможетъ. Вотъ пріѣдетъ вашъ Митька наслѣдникъ и посадитъ, и будете въ халатѣ ходить, и будутъ вамъ воду на голову капать, что?

Кулабуховъ. Ну, ну, — дура! Ты въ желтый домъ ступай, а меня нельзя.—У-у Митька наслѣдникъ, злой, воръ, волчьи глаза—радъ бы посадить, а что, нельзя, ага! У меня завѣщаньице есть, что!—находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти... что? И свидѣтели есть... находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти... вотъ и посади! Я умный.

Вас. Петр. А гдѣ завѣщаніе, вы его хоть бы разъ показали.

Кулабуховъ. Спрятано.

Вас. Петр. Да и лгунъ же вы. Ну зачѣмъ вы лжете, вѣдь нѣтъ же завѣщанія, вѣдь нѣтъ?

Кулабуховъ. Хе-хе.

Вас. Петр. Ну и обѣда нѣтъ. Была дура, кормила васъ, а теперь не хочу! И не на что! Да вы понимаете это—не на что? Вотъ оно платье то: послѣднее вѣдь. И что же мнѣ: голой по улицѣ ходить?

Кулабуховъ. Начала. Баба.

Вас. Петр. Или на панель собой торговать?

Кулабуховъ. Иди. Законъ не запрещаетъ. А нѣтъ ужина, нѣтъ денегъ, такъ ступай вонъ, да. Договоръ есть, договоръ помнишь: ты меня, Кулабухова, до смерти моей содержи, денегъ съ меня не требуй, а я тебѣ, дурѣ, за это въ завѣщаніи оставлю, и Яшкѣ оставлю. Всѣмъ оставлю, хе-хе, что? Теперь плачешь, а тогда думала: старъ старичекъ, завтра умретъ, а я вотъ живу и завтра жить буду, и сто лѣтъ еще проживу! Я молодецъ. Думала, говори.

Вас. Петр. Ну и думала. Отвяжитесь.

Кулабуховъ. А я кашлять то нарочно, что? Дура, дура баба, форменная дура—надо было доктора позвать, освидѣтельствованіе по формѣ, сколько проживу, а ты что? Возьму и сто проживу. Отчего же? Возьму и полтораста проживу, хе-хе: вонъ пророки двѣсти лѣтъ жили, что, дура? А не хочешь по уговору, ступай, ступай, я не держу, мнѣ все равно, другая дура будетъ. Обѣдать давай.

Вас. Петр. И какъ васъ такого не убьютъ?

Кулабуховъ. Не смѣютъ! Рады бы, а не смѣютъ. Законъ хе-хе, что? Законъ, да. Двадцать лѣтъ каторжныхъ работъ, а если по законамъ военнаго времени, то—смертная казнь. Что, много взяла, а? То-то!

Вас. Петр. Придутъ ночью, да такъ соннаго въ постели подушкой и задушатъ. И крикнуть не успѣете, такъ и удушатъ; да и кто услышитъ, если кричать то будете?

Кулабуховъ. Кто придутъ? Не смѣютъ. Рады бы, а не смѣютъ. Митька настѣдникъ каждый день въ ворота въ

щелочку глядитъ — я его подмѣтилъ! ты думаешь, онъ не радъ бы? Ахъ какъ радъ, но не смѣетъ. Законъ, да! Хе-хе.

Вас. Петр. Возьмутъ, да завтра же и пріѣдутъ. И какъ вы не боитесь, и какъ вы можете спать.

Кулабуховъ. Сплю. Совершенно спокойно. Зачѣмъ мнѣ безпокоиться? — я старъ, чтобы безпокоиться, я двѣсти лѣтъ прожить хочу. Что? Ты зачѣмъ мышьяку купила, а?— мышей травить?

Вас. Петр. Мышей.

Кулабуховъ. Хе-хе! Знаю я, какія это мыши! Да— рада бы, а не смѣешь. Двадцать лѣтъ, да! И не боюсь, никого не боюсь, всѣ приходи, не боюсь. Одинъ хожу, дверь не запираю, зачѣмъ? Не смѣетъ, никто не смѣетъ.

Вас. Петр. Да ну васъ. Я за обѣдомъ пойду.

Кулабуховъ. Иди! Меня нельзя трогать, я человѣкъ. Не боюсь! Не смѣешь! Всѣ хотятъ, зубы скалятъ, а нельзя, хе-хе, нѣтъ. Человѣкъ! За меня всѣ законы, за меня Богъ Вседержитель, да.

Вас. Петр. Не человѣкъ вы, а поганка, звѣрь кровопіющій.

Кулабуховъ. Врешь! Звѣрь на четверенькахъ ходитъ, а я человѣкъ. Вотъ двѣ ноги, эге, что? У—у Митька наслѣдникъ злой, проклятый, воръ, глаза какъ у волка,—у Митька наслѣдникъ: не смѣешь! Ты меня убьешь, а тебѣ каторга, двадцать лѣтъ, да! Ты меня убьешь, а я тебѣ по ночамъ являться буду. Явлюсь! По закону явлюсь, по праву моему явлюсь, надъ сердцемъ твоимъ стану, кровь высосу!

Василиса Петровна, слушавшая со страхомъ, быстро выходитъ. Кулабуховъ одинъ. Трясетъ яростно сухими кулаками, вызывающе хихикаетъ, въ то же время почти плачетъ.

Кулабуховъ. Ага, испугалась, дрянь! И тебѣ явлюсь, что? Я убіенный, да. Хе-хе, я знаю какъ: ты въ ледникъ за молочкомъ пойдешь, а я за дверкой стану, за дверкой стану,— убіенный, да. Ты на постельку ляжешь, а я тебя ручкой по одѣяльцу, по одѣяльцу. У, Господи, заступись, заступись! Всѣ хотятъ, всѣ хотятъ убить, всѣ хотятъ, о Господи Боже

мой, не оставь, я старенькій. Заступись, заступись, за убіеннаго Петра, за убіеннаго Петра...

Невнятно бормочетъ. Василиса Петовна вноситъ изъ кухни глубокую тарелку съ картошкой и ломоть чернаго хлѣба: очень блѣдна, говоритъ презрительно.

Вас. Петр. Вотъ вамъ. Больше ничего нѣтъ.

Кулабуховъ. (угрюмо ѣстъ). Говядинки дай.

Вас. Петр. Нѣту говядины.

Кулабуховъ. Смотри! Чтобъ завтра говядинка была, а то выгоню. И что-бъ огурчикъ былъ, слышишь? И Яшку твоего любовника, тоже выгоню.

Вас. Петр. Да? А что ежели за такія слова, Петръ Кузьмичъ, я вамъ пощечину дамъ?

Кулабуховъ. Не смѣешь.

Вас. Петр. Свидѣтелей то нѣтъ.

Кулабуховъ (менѣе увѣренно). Не смѣешь. Я старикъ, у меня волосы сѣдые.

Вас. Петр. А я женщина! Вотъ возьму и ударю.

Кулабуховъ (вставая). Ты, дура баба, ты здоровая, а у меня волосы сѣдые. Я старичекъ; ты меня только пальцемъ тронешь, а я умереть могу. Ты, дура, не подумай...

Быстро входитъ сосѣдская горничная Маргарита, высокая, красивая, черноволосая дѣвушка. На ней платокъ отъ дождя.

Маргарита. Вотъ и я къ вамъ. Да милая-жъ вы моя Василиса Петровна... (останавливается, увидѣвъ Кулабухова). Охъ, напугалъ—вотъ кто здѣсь!

Вас. Петр. Снимай платокъ, Маргариточка, не бойся.

Маргарита. Я и не боюсь. Это вы его боитесь, а я вольная. Что глаза вытаращилъ, тетеря?

Вас. Петр. Оставь его, Маргарита. Онъ сейчасъ уйдетъ. Идите, Петръ Кузьмичъ.

Кулабуховъ. У-у, какая сердитая! Мой домъ, а не твой, что? Вотъ возьму и выгоню: зачѣмъ пришла въ чужой домъ? Ага. Вотъ ты и пойдешь.

Маргарита. И не смѣешь выгонять.

Кулабуховъ. Нѣтъ, выгоню.

Вас. Петр. Да оставь! Онъ два часа препираться будетъ, только бы съ людьми посидѣть. Ступайте, ступайте, Петръ Кузьмичъ. Поѣли и идите. Такого уговора у насъ нѣтъ, чтобы съ вами бесѣдовать.

Маргарита. (притворно топая ногами). Ты уйдешь или нѣтъ?

Кулабуховъ испуганно открываетъ дверь, но еще на минуту оглядывается, хихикаетъ.

Кулабуховъ. Салонъ, хе-хе! Музыка и разговоры, такъ такъ! А я все равно послушаю, стану за дверкой и послушаю. Что?

Уходитъ.

Вас. Петр. Напрасно ты такъ грубо, Маргарита, не хорошо, мнѣ не нравится. Онъ все же человѣкъ не твоего круга...

Маргарита. Да, милая-жъ вы моя! Да какъ же можно такого терпѣть!

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, Маргариточка, нѣтъ! Я и Якову тоже говорю. Сейчасъ Петръ Кузьмичъ въ несчастномъ положеніи, а когда то онъ открытый домъ держалъ, въ немъ даже губернаторъ заискивалъ. У него, душечка и сейчасъ такіе капиталы, что отъ одного воображенія можно сойти съ ума. Злой онъ, это правда, но мало ли злыхъ?

Маргарита. Нѣтъ, дорогая Василиса Петровна, не могу я съ вами согласиться. Капиталы его мнѣ не нужны, а только скажите вы мнѣ ахъ да и милая-жъ вы моя, да скажите вы мнѣ! до какихъ поръ они мудровать будутъ а мы плакать, да травиться? Или такъ безъ конца и пойдетъ? Мой то, подлецъ то мой, мучитель то мой такъ вѣдь и лѣпитъ: травись, Маргарита, тебя ангелы на небо возьмутъ.

Вас. Петр. Грозила ему?

Маргарита. Грозила.

Вас. Петр. Упрекала?

Маргарита. Упрекала.

Вас. Петр. А онъ что?

Маргарита (плачетъ). Смѣется. Да милая-жъ вы моя - смѣется.

Вас. Петр. Разговоръ былъ?

Маргарита. Былъ. Сегодня утромъ. Какъ же, говоритъ, я могу на тебѣ жениться, когда ты тварь, а я чиновникъ! Такъ и лѣпитъ, такъ всѣми словами и печатаетъ: тварь! А самъ дряненькій, нечистый, пахабникъ, разныя картинки покупаетъ,—ахъ да и милая же вы моя Василиса Петровна, я царица передъ нимъ! На него утромъ посмотрѣть, какъ онъ еще галстучка, не надѣвалъ ужъ такая онъ гадость, ужъ такая гадость.

Вас. Петр. Ушла бы отъ него. Что мучиться!

Маргарита. Не хочу! Вѣдь не тварь же я на самомъ дѣлѣ, вѣдь я царица передъ нимъ! Въ тысячу глазъ на меня гляди, пятнышка на моемъ тѣлѣ не найдешь—ахъ да какъ березынька я бѣлая...

Вас. Петр. Да что онъ хоть говоритъ? Языкъ то у него есть?

Маргарита (плача и смѣясь). Да только и говоритъ, что тварь... и голубушка вы моя, такъ онъ меня этимъ словомъ очаровалъ, что какъ очарованная я. Ослѣпилъ меня, оглушилъ меня, всѣ дороги пути загородилъ. Иду куда, тварь, идешь? такъ и стану какъ вкопанная. Стану и руки опущу. Такъ и стою. Вся голова у него съ луковку, а какъ скажетъ онъ: тварь, такъ и поразитъ меня громомъ, слова въ отвѣтъ не найду. Сегодня, будто и нашла слово, да и не слово, а такъ...

Вас. Петр. Что?

Маргарита (улыбаясь, мечтательно). Да такъ. Пузыречекъ съ сѣрной кислотой ему показала.

Вас. Петр. (испуганно). Ну, ну, ну брось! Что ты, дѣвка, съ ума сошла. Да какъ же это можно! Ахъ, ты дѣвка несчастная.

Маргарита. (задумчиво). Я ужъ бросила. Показала я ему и жду, что будетъ. Ну - поблѣднѣлъ онъ, сморщился весь, затрясся, прыщавый, а у двери то я стою, и ужъ пробку вынула. Ну -и вотъ все ужъ тутъ поддаться то некуда, а онъ говоритъ: вотъ видишь, какая ты тварь! (берется за голову, разсѣянно). Охъ, правда, отравиться, что ли?

Молчаніе.

Маргарита. Да какъ подумаю, что онъ на то мѣсто плюнетъ, гдѣ я буду лежать, и скажетъ: вотъ и издохла, тварь такъ и травиться не стоитъ. Пожаловаться я къ вамъ пришла, Василиса Петровна.

Вас. Петр. Мнѣ кажется, Маргариточка, что здѣсь вообще происходитъ какое-то недоразумѣніе. Ахъ, голуочикъ, ну и почему такъ холодно и вотъ шпалеры обвисли видѣть не могу этихъ шпалеръ. И почему такъ холодно? Дурой ли я стала такой, ну вотъ не могу понять: почему холодно, да и только. Да я и дни то позабыла—что у насъ сегодня, четвергъ?

Маргарита. Четвергъ. Нетоплено, оттого и холодно.

Вас. Петр. Ну конечно, отъ этого. Но почему нетоплено? Послушай, душечка: однажды ѣдемъ мы съ графиней Назаровой въ автомобилѣ—я тогда у нея ужъ второй годъ въ экономкахъ служила — и, знаешь, я такъ хорошо одѣта, къ лицу, а сижу я на переднемъ мѣстѣ. А рядомъ съ графиней собачка ея сидитъ—и долго я этого, другъ мой, не замѣчала, да какъ то и замѣтила! Да: не замѣчала, да вдругъ и замѣтила!

Маргарита. Ну хорошо. Ну пойду я—соннаго его зарѣжу, а какой толкъ? Явится еще, да и скажетъ: зарѣзала, тварь! Тогда ужъ не докажешь.

Вас. Петр. Да, тогда ужъ не докажешь.

Маргарита. Я и говорю: не докажешь. Яшина балалайка?

Вас. Петр. Яшина.

Маргарита. Повидать бы мнѣ его хотѣлось... Ахъ, ужъ и не знаю я куда мнѣ ткнуться. Будь бы лѣсъ, въ лѣсъ убѣжала бы. Или вышла бы я за заставу, да такъ въ темноту и пошла бы. И шла бы я, и все шла бы я долгіе годы, такъ и шла бы, руки къ груди прижавши, глаза устремивши...

Молчаніе.

Маргарита. Пожаловаться я къ вамъ пришла, Василиса Петровна. Будьте мнѣ матерью родною.

Вас. Петр. (съ неудовольствіемъ). Ну, для матери, положимъ, я и молода, а жалѣть то я тебя очень жалѣю, Мар-

гарита, очень. Ты въ лѣсъ убѣжала бы, говоришь, а я лѣса ужасно не люблю: паркъ—вотъ это совсѣмъ другое дѣло. Ахъ Боже мой, да какъ можно сравнивать! Идешь по дорожкѣ или черезъ какой-нибудь фигурный мостикъ—и какія мысли, Маргариточка, какія возвышенныя чувства!.. Это еще кто?

Вваливается странникъ Феофанъ, и за нимъ слѣдомъ идетъ усмѣхающійся Яковъ.

Феофанъ. Миръ вамъ, братіе и сестры. Гдѣ тутъ сидѣніе покрѣпше?—а то стулья меня не держатъ.

Яковъ (смѣется). Вотъ табуретка, да не раздави, смотри. Кулабуховъ въ судъ подастъ. Здравствуйте, Маргарита Ивановна.

Маргарита. Здравствуй Яша.

Вас. Петр. Напрасно ты его привелъ, Яковъ, тутъ ему не мѣсто.

Яковъ. Нѣтъ, съ нимъ весело.

Вас. Петр. Тутъ тебѣ нѣтъ водки, Феофанъ, даромъ пожаловалъ, голубчикъ.

Яковъ. А вотъ она, водка то! (вытаскиваетъ изъ широчайшаго кармана странника только что начатую бутылку. Феофанъ смотритъ равнодушно).

Феофанъ. Грѣшникъ далъ. Мнѣ водки не надо, я ужъ пьянъ. Меня купецъ Воронинъ съ обѣденъ въ Охотнорядскомъ трактирѣ поилъ. И самъ чуть не лопнулъ, поросенкомъ хрюкалъ, а я въ баню хотѣлъ, да расхотѣлъ: жарко! Кто желаетъ со мной прю имѣть, начинай!

Вас. Петр. Да никто и ни желаетъ. Спать бы ты шелъ, голубчикъ, вотъ тебѣ и пря. Образину то нагулялъ—смотрѣть страшно!

Феофанъ. Спать я и самъ засну, а кто васъ обличать будетъ? Я его, Воронина, до седьмого пота обличалъ, ажъ поросенкомъ визжать зачалъ, ужъ молодцы пришли, меня умолили, я и сжалился. Я какъ грѣшника обличать начну, такъ отстану. Одинъ купецъ въ Подольскѣ ужъ и собаками породистыми меня травилъ, ужъ и архирею жаловался, ужъ и въ полицію подавалъ—а мнѣ полиція что!—вотъ паспортъ.

Я по всѣмъ правиламъ, меня не подколупнешь, я самъ тебя подколупну... (вынимаетъ паспортъ). Вотъ онъ, покровитель мой и заступникъ во всѣ дни живота моего, аминь.

Вас. Петр. Паспортъ у всѣхъ есть. Это еще не даетъ тебѣ права привязываться.

Феофанъ. Вѣрно! Я какъ привяжусь, отъ меня не отвяжешься. Онъ видитъ, что полиція противъ меня силы не имѣетъ, такъ понять меня началъ, дурья голова. А я чѣмъ больше пью, тѣмъ больше обличаю: на самую крышу его загналъ, а домъ то трехъэтажный. Противъ меня ни одинъ грѣшникъ не устоитъ! А вѣсу во мнѣ восемь пудъ.

Вас. Петр. Да не труби ты такъ, даже въ голову ударило! Вотъ труба!

Феофанъ. Вѣрно! Я какъ затрублю, такъ пушкой меня не перешибешь (хмыкаетъ). Потѣха, ей Богу.

Яковъ. Выпейте рюмочку, Василиса Петровна.

Вас. Петр. Ну что ты, Яковъ, развѣ я пью?

Яковъ. Отъ холода выпейте. Я ужъ налилъ.

Вас. Петр. Не знаю я... Ты, Маргариточка, не выпьешь? Выпей, душечка.

Маргарита. Не, могу, голубушка Василиса Петровна. Если я хоть одну выпью, такъ до самаго конца дойду. Ахъ, и ужасный у меня характеръ.

Феофанъ. Водку пьете, грѣшники, сатану тѣшите? Потѣха, ей Богу, до чего они эту водку любятъ!

Василиса Петровна вынимаетъ стаканчикъ, стараясь это сдѣлать незамѣтно, Яковъ также пьетъ.

Яковъ. Нѣтъ, Феофанъ, слабъ ты. Слушаю я тебя мѣсяцъ, а нѣтъ у тебя настоящихъ словъ; такъ словно въ животѣ бурчитъ, а не слова. Эхъ, развѣ такъ обличать надо? —нѣтъ надо! Каждое словечко чтобъ въ самое живое мѣсто било, чтобъ какъ заплакалъ человѣкъ, такъ до самой смерти и не отошелъ бы! Тоскующія надо слова, а ты что? - Рычишь какъ песъ на цѣпи. Ты меня пронзи, а лаять то, милый, всякая собака еще впередъ тебѣ дастъ!

Вас. Петр. Барабанъ турецкій...

Незамѣтно вышиваетъ еще рюмку.

Ѳеофанъ. Что такое? Да ты меня настоящаго видалъ?

Яковъ. А какой ты настоящій?

Ѳеофанъ. А такой! Надо, чтобъ запой у меня случился, вотъ какой.

Яковъ. А такъ не можешь?

Ѳеофанъ. И такъ могу. Но только безъ настоящаго заводу я очень милосливъ, очень я милосливъ, да. Я грѣшника то люблю, когда я безъ настоящаго заводу, вотъ въ чемъ главное происшествіе. Грѣшникъ, я тебѣ скажу, братецъ ты мой, душевнѣйшій человѣкъ; — да я за самаго паршиваго грѣшника давай мнѣ гору золота, и ту не возьму! Кто меня кормитъ и поитъ? — грѣшникъ. Кто душу мою лелѣетъ?—грѣшникъ же (прослезился). Да я за грѣшника тысячу праведниковъ отдамъ! Что праведникъ — отъ него какъ отъ козла: ни шерсти ни молока, а ты мнѣ грѣшничка дай, я тебѣ въ ножки поклонюсь!

Вас. Петр. Заблаговѣстилъ.

Ѳеофанъ. (воодушевляясь) У меня, братецъ ты мой, нюхъ есть. Я какъ нюхну носомъ, такъ все насквозь понимаю. Ты думаешь, я не вижу, чѣмъ тутъ пахнетъ? Вижу. Эй вы, дщери вавилонскія, винопійцы, блудницы, тати нощные, воры дневные, человѣкоубійцы. Чѣмъ тутъ пахнетъ, сознавайся!

Тихонько открывая дверь, входитъ Кулабуховъ, прислушивается съ крайнимъ любопытствомъ. На немъ, вмѣсто стараго пиджака, довольно приличный сюртучекъ.

Маргарита. Охъ, да и страшный же ты чертъ! Яшенька, что онъ, шутитъ?

Яковъ. Шутитъ. Глядите смотрите: самъ Кулабуховъ господинъ.

Кулабуховъ. (выступая) Такъ, такъ, пророки, да! Очень, очень поучительное зрѣлище. А какъ ты смѣешь тутъ орать, а гдѣ такое правило, гдѣ такой указъ сената? Ага!

Ѳеофанъ. Это ты, сычъ? Вотъ я жъ тебя сейчасъ напугаю.

Кулабуховъ. А-а, меня? Нѣтъ, меня не напугаешь.

Чинно садится, сложивъ руки на тощихъ колѣняхъ и съ ядовитой невозмутимостью смотритъ на Феофана.

Маргарита. (тихонько) Яша! Смотри, Яшенька, сюртучекъ надѣлъ. Вотъ же несчастный.

Яковъ. Нѣтъ, ужъ и люблю я это. Феофанъ, что же ты?

Феофанъ. (пугая) Ну—у!

Кулабуховъ. (ехидно) Ну?

Феофанъ. Сдохнешь!

Калубуховъ. Не боюсь.

Феофанъ. Мертвечиной пахнешь! Сдохнешь, тля!

Кулабуховъ. Не боюсь. Что, а? Ты меня пугаешь, а я не боюсь. Вотъ я и живой, вотъ я и снижу, вотъ я и ножку за ножку заложилъ, видалъ, хе-хе, что? И ручкой машу... вотъ, вотъ, что? И ручкой машу.

Помахиваетъ дрожащей рукой.

Вас. Петр. Ну что же это такое? Да что вы всѣ дѣлаете? Маргариточка, ты видишь?

Феофанъ. Ахъ ты, тараканъ! Да какъ же ты смѣешь не бояться? Бойся! Трепещи поганецъ!

Кулабуховъ. И не трепещу.

Феофанъ. Трепещи!

Кулабуховъ. И не трепещу.

Феофанъ. Да вѣдь сдохнешь же, окаянный. Что, я шучу съ тобой, что ли? Обормотъ! Яковъ, какъ онъ меня раздражилъ, а?

Кулабуховъ. Хе-хе.

Маргарита. Господи, а у самаго колѣнки стукаются! Оставьте же его, безжалостные.

Кулабуховъ. Хе-хе.

Феофанъ. А, ты такъ? (вставая) Ну, такъ еще сказано: не словомъ, такъ дубьемъ грѣшника...

Кулабуховъ поспѣшно отбѣгаетъ къ двери; гримасничаетъ.

Кулабухов. И не сказано, и не сказано! И не смѣешь что? Всѣ бы рады, всѣ хотятъ, а я не боюсь! Вотъ, на.

Съ надменнымъ видомъ, показывая, что онъ молодецъ, поднявъ голову, мелкими шажками проходитъ черезъ комнату — и также проходитъ обратно. Такъ и входитъ въ дверь, не оглядываясь. Яковъ хохочетъ.

Феофанъ. (тупо) Какой заскорузлый, а? Ушелъ, А?

Яковъ. Эхъ ты, благовѣсть московская! Молодецъ, да противъ овецъ, а противъ молодца самъ овца. Выпейте еще рюмочку, Василиса Петровна.

Вас. Петр. Да ужъ стоитъ ли, Яшенька? Какъ онъ меня разстроилъ... и ручкой еще машетъ. Ужъ ручкой бы не махалъ!

Яковъ. Да выпейте! За ваше здоровье, Василиса Петровна.

Вас. Петр. За твое Яша. (Пьетъ) И никогда ты не пей, Маргариточка, избави тебя Богъ [Всемогущій отъ этого яда. Думаешь веселье найти, а вмѣсто того такая грусть, такое сожалѣніе! Милые вы мои, хорошіе вы мои, и зачѣмъ все это дѣлается? Хороводы бы намъ водить, вѣнки заплетать, цвѣточки въ букетики собирать, нѣжно другъ дружкой любоваться... а мы что?

Яковъ. Что жъ, пѣсенку и сейчасъ спѣть можно. Маргарита Ивановна, а вы о чемъ задумались?

Маргарита. (Она сидитъ въ сторонѣ) Такъ.

Яковъ. Ну ты, благовѣсть, ты то что? Благовѣсти.

Феофанъ. Спать я восхотѣлъ, Яковъ. Огорчилъ онъ меня. Теперь я самъ не свой. Почему онъ меня не боится? Всѣ грѣшники боятся, а онъ нѣтъ. Дуракъ онъ, что ли такой или праведникъ? Нѣтъ, на праведника не похожъ. Хмъ. (хмыкаетъ). Вотъ потѣха.

Вас. Петр. (тихо) Яшенька, рыженькій ты мой, ты сегодня со мною спи, а то я боюсь. Яшенька, ужъ такой ты какъ левъ мягкій, такъ бы я въ тебя и впилась, зубами загрызла бы. (Еще тише) Яша, а крови не будетъ?

Яковъ. Нѣтъ.

Вас. Петр. Ты помни! Чтобы не единой царапинки, слышишь? Чисто надо сдѣлать, ахъ какъ чисто.

Яковъ. Чисто сдѣлаю.

Вас. Петр. (все также тихо) Яшенька, что такое у меня внутри дрожитъ? Такъ дрожитъ и дрожитъ... холодно мнѣ, что ли? Яшенька, ты себѣ бархатную поддевку сшей. Вотъ и опять, холодно мнѣ, что ли? Яшенька, а я ему опять намекала, что завтра.

Яковъ. Эхъ, зачѣмъ, не надо было.

Вас. Петр. Какъ не надо, Яковъ? Надо же намекнуть! Ходитъ человѣкъ и не знаетъ. А ручкой то онъ махалъ, Яшенька, ручкой то махалъ.

Яковъ. Разлимонилась, бабочка! Ну, ну, подтянись бабочка, эхъ... Маргарита Ивановна, а вы о чемъ?

Маргарита. Такъ. Василиса Петровна, а дѣти у васъ были?

Вас. Петр. Дѣти? Были да сплыли, голубушка. А тебѣ что?

Маргарита. Ничего. Ахъ да и тоскую же я, родненькіе мои, куда голову преклонить не знаю. Яшенька, ты добрый?

Яковъ. Кто говоритъ добрый, а кто и злой. А вамъ какого надо?

Вас. Петр. Онъ добрый. Яша, спѣлъ бы ты что нибудь, голубчикъ.

Маргарита. А разъ добрый пойдемъ со мною, Яшенька!

Яковъ. Куда?

Маргарита. Куда нибудь.

Смѣется и плачетъ.

Яковъ. Что же, и это на худой конецъ дорога: кто туда, кто сюда, а мы никуда. Кто съ нами? Прикажете плясовую, Маргарита Ивановна.

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, Яковъ, ни какомъ случаѣ. Ну, какой тутъ плясъ!

Яковъ. Феофанъ еще разсердится: ишь, скажетъ, грѣшники распѣлись. Феофанъ! Попѣть можно? Какъ это по твоему?

Ф е о ф а ъ. Ну и пой. Я люблю когда грѣшники поютъ Я самъ, когда грѣшенъ былъ, тоже пѣлъ. А когда пляшутъ, не люблю! Всѣ черти пляшутъ.

Я к о в ъ (настраивая балалайку) А ты видалъ?

Ф е о ф а н ъ. Я? Конечно видалъ. О, Господи. Какой у меня туманъ. Потѣха!

Я к о в ъ (поетъ) Эхъ, погибъ я, мальчишечка, погибъ я навсегда, а годы проходятъ, все лучшіе года. Мать свою зарѣзалъ...

Обѣ женщины глубоко задумались; Василиса Петровна аккуратно вытираетъ платкомъ слезу. При первыхъ звукахъ балалайки изъ двери осторожно высунулся, потомъ вышелъ Кулабуховъ и также слушаетъ. На него не обращаютъ вниманія.

ЗАНАВѢСЪ.

ВТОРОЕ ДѢЙСТВІЕ.

Картина первая.

Время къ полуночи. Поздняя осень.

На сценѣ пустынный московскій переулокъ въ Хамовникахъ. Идетъ переулокъ съ горочки, по ложбинкѣ, въ глубинѣ когда то здѣсь бывшаго оврага; и всю правую сторону занимаетъ бѣлая монастырская ограда, проходящая по верху заросшаго травой, невысокаго вала. За оградой глухая, также бѣлая стѣна церкви, а дальше смутно бѣлѣютъ колоколенки и главы, переплетаются голыя вѣтви и стволы. Свѣтятъ только два окрашенныхъ керосиновыхъ фонаря; одинъ стоитъ далеко, въ глубинѣ и на заворотѣ переулка, другой помѣщается у лѣвой панели и скупо озаряетъ передній планъ.

У самаго фонаря, въ тѣни, стоятъ и молча курятъ Яковъ и Феофанъ. Съ густымъ вздохомъ Феофанъ бросаетъ папиросу и тушитъ ее ногой.

Часы на колокольнѣ вызваниваютъ двѣ четверти.

Яковъ. Не такъ не разгорится, чего тушишь. Хорошъ табакъ?

Феофанъ. Хорошъ.

Яковъ. Хорошъ табачекъ.

Феофанъ. Да я не понимаю курить, не люблю. Мнѣ Воронинъ купецъ какихъ то сигаръ далъ, кто его знаетъ, а толстыя, какъ палецъ. Такъ у меня голова отъ нихъ болѣла, было сдохъ. Куражиться ночью будешь?

Яковъ (бросаетъ папиросу). Буду. Какъ это поется: ахъ мамаша, глянь въ окошко—кгой-то тонетъ на рѣкѣ въ

блѣднорозовой рубашкѣ — съ папиросочкой въ рукѣ. Куражиться буду, а тебя не возьму!

Феофанъ. Врешь. Ты теперь прогнать меня не можешь я къ тебѣ приставленъ! Куда ты, туда я, а пѣть тебѣ здѣсь не мѣсто—не татаринъ.

Яковъ. Ладно. Надоѣлъ.

Феофанъ. И надоѣмъ! А мнѣ за тобой легко при моемъ вѣсѣ поспѣшать? — скачешь, какъ блоха. Пойдемъ нынче спать, а? Поспишь, милый, отдохнешь, а завтра и куражиться будешь. Хорошо какъ...

Яковъ. Ты спи, а я не хочу спать. Понятъ? Взялся за мной ходить, такъ и ходи, не клянчи. Я тебя еще бѣгать заставлю, ты мнѣ какъ рысакъ заскачешь! Обличитель!

Феофанъ. И гдѣ у тебя совѣсть, Яковъ?

Яковъ На то я и грѣшникъ... Эй, ступай-ка, на углѣ меня подожди—идетъ.

Феофанъ. Кто идетъ?

Яковъ. А кому надо, тотъ и идетъ. Ну, живѣй оборачивайся, говорю.

Феофанъ неторопливо уходитъ, ждетъ Якова на углѣ. Нерѣшительно, оглядываясь, выходитъ справа Василиса Петровна, одѣтая прилично, въ черномъ.

Яковъ. Василиса Петровна! Вотъ онъ, я.

Вас. Петр. Здравствуй, Яша. Давно ждешь?

Яковъ. Давно ужъ.

Вас. Петр. Опоздала я. Съ тобой кто то былъ, мнѣ показалось. Кто это?

Яковъ (нехотя смѣется). Да Феофанъ.

Вас. Петр. Опять онъ? Ну и чему ты смѣешься. Яковъ—мнѣ это очень не нравится. Теперь необходима такая осторожность, а ты!.. Зачѣмъ онъ съ тобой, мало для тебя пьяницъ?

Яковъ (также нехотя). Его ужъ спросите.

Вас. Петр. (испуганно). Онъ знаетъ?

Яковъ. Нѣтъ, откуда же ему знать, когда никто не знаетъ. А догадывается пожалуй.

Вас. Петр. Выдастъ! Выдастъ, вотъ увидишь! Ахъ, какъ же ты убійственно не остороженъ, Яковъ! Что жъ намъ теперь дѣлать? Вотъ ужасъ.

Яковъ. Да не выдастъ. Вы его не знаете. Ему грѣшники непокаянные нужны, которыхъ сосать можно, а явленные зачѣмъ ему? Отъ явленныхъ ему никакого удовольствія нѣтъ. Бросьте его: моя онъ забота, а не ваша. Что жъ, бабочка, стоимъ?—поѣдемъ куда или что?

Беретъ Василису Петровну за руку: Василиса Петровна испуганно и нѣсколько брезгливо отдергиваетъ руку.

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, что ты выдумалъ, Яковъ. Мы никуда не поѣдемъ! И ты пожалуйста не выдумывай этого—ѣхать!

Яковъ (согласно). Что жъ, не надо ѣхать, такъ постоимъ. А можетъ и стоять не надо?—я, Василиса Петровна, на все согласенъ. Нашего Яшу хоть въ пирогъ, хоть въ кашу.

Вас. Петр. Я знаю, ты очень добрый. И ты очень деликатный человѣкъ, Яковъ: я рѣдко видала людей изъ высшаго званія, которые были бы такъ деликатны. Да, мы здѣсь побудемъ, мнѣ надо. Тутъ никого? Ахъ, Яша, я такъ боюсь... ну, ну, ничего. Яковъ, а деньги ты хорошо устроилъ? Ты такъ легкомысленъ, Яша.

Яковъ. Устроилъ.

Вас. Петр. Помни же, что за мной еще твоихъ сорокъ тысячъ. Я нарочно не даю ихъ тебѣ, я просто не вѣрю въ твое благоразуміе. Но, если понадобится или вздумаешь солидно устроиться, то только скажи. Скажешь?

Яковъ. Ладно.

Вас. Петр. Только слово скажи, понимаешь? И сейчасъ же деньги будутъ у тебя, а пока ты, конечно, получаешь на нихъ проценты. Маргарита съ тобой?

Яковъ. Со мной.

Вас. Петр. Ну и хорошо, что съ тобой. Только будь съ ней остороженъ, Яша: она дѣвушка благородная, прекрасная дѣвушка, но у нея бываютъ фантазіи... Ты ее очень любишь, Яковъ?

Яковъ. Я всѣхъ люблю, Василиса Петровна.

Василиса Петровна вздыхаетъ.

Вас. Петр. Да, я знаю. Разошлись наши дороги, Яшенька... только бы тебя Богъ устроилъ, день и ночь молюсь Ему объ этомъ. Ты еще не знаешь, Яковъ, какая я благодарная—и ты для меня навсегда первый въ молитвахъ моихъ человѣкъ. Сперва за родителей, потомъ за Николая Ивановича—ты его не знаешь, Яша, былъ такой человѣкъ- а потомъ за тебя. Яша, я и за Петра Кузьмича молюсь—(крестится). Царство ему небесное и вѣчный покой.

Молчаніе. Часы бьютъ три четверти.

Яковъ. А какой ему Митька настѣдникъ памятникъ ставитъ! Спрашивалъ я рабочихъ, говорятъ тысячъ тридцать стоить будетъ.

Вас. Петр. А ты ходилъ развѣ?

Яковъ. Съ Феофаномъ ходили. На могилкѣ посидѣли, папиросочку покурили, поплевали. Эхъ, Василиса Петровна, рѣшилъ я окончательно, что и не человѣка я убилъ, а такъ, невѣдомую звѣрушку. То ли я на могилкѣ сижу, ножки свѣсилъ, то ли на качеляхъ качаюсь—одна во мнѣ стать. Говоритъ Феофанъ, что совѣсти напримѣръ у меня нѣтъ... Что-жъ, можетъ и отъ этого, можетъ и отъ другого чего. Легко сказать, что совѣсти нѣтъ, а куда жъ она, напримѣръ, могла дѣваться? У всѣхъ есть, а у меня нѣтъ. Василиса Петровна, а вотъ вы скажите: можетъ онъ человѣкъ на свѣтѣ такой, чтобы совсѣмъ у него не было совѣсти?

Вас. Петр. Нѣтъ, не можетъ.

Яковъ. Я и говорю, что не можетъ: изъ одной земли всѣ сдѣланы. Но только почему же, скажите мнѣ Василиса Петровна, не могу я почувствовать сожалѣнія, ну тоски тамъ, или хотя бы заплакать. Слезъ ли у меня нѣту? Вотъ напримѣръ Маргарита Ивановна: ахъ и до чего же она страдаетъ! Ахъ, и до чего же она мучается!

Вас. Петр. О чемъ же ей страдать, вѣдь все устроилось?

Яковъ. Не знаю. Я, Василиса Петровна, на родину поѣхать хочу, повидать захотѣлось. Да и Маргарита тянетъ

идемъ да идемъ. А спросишь куда, такъ только одинъ отвѣтъ и есть: куда-нибудь. Ну и пойдемъ куда-нибудь чѣмъ не дорога для нашего Яши?

Вас. Петр. Да, да, поѣзжай. Мнѣ кажется, что я могла бы тебя обожать, если бы не... Тутъ никого?

Яковъ. Никого. Вонъ Ѳеофанъ на углу маячитъ, да развѣ онъ кто? Будьте спокойны, Василиса Петровна, никого нѣтъ.

Вас. Петр. Яша... Яковъ, а у меня просьба къ тебѣ, ну такъ, я сейчасъ скажу. Я хорошею жизнью хочу жить, Яша,—ты понимаешь, хорошею жизнью?

Яковъ. Понимаю.

Вас. Петр. . . . хорошею жизнью! Ужъ не дѣвченка я, не двадцать мнѣ лѣтъ. Бывало дѣвченкой и тутъ обѣщаешься, и тутъ заклинаешься, въ три ручья ревешь, а прошла ночь — и все позабыла, какъ рукой сняло. А теперь у меня планъ есть, есть честное намѣреніе: я ужъ все обдумала... давно обдумала, еще до... Понимаешь?

Яковъ. Понимаю. Что жъ, вы поживите, а мы позавидуемъ. Такъ что мнѣ дѣлать?

Вас. Петр. Погоди! Погоди, голубчикъ! Ты не знаешь, Яша, а вотъ въ этой церкви меня крестили. Господи, прости мнѣ грѣхи мои тяжкіе а въ этомъ переулочкѣ и домикъ нашъ былъ. Я это мѣсто знаю. Теперь домика нашего и въ поминѣ нѣтъ, даже мѣсто отыскать трудно, гдѣ онъ стоялъ, а какъ въ немъ жилось, Яша!.. (плачетъ). Вотъ часы на колокольнѣ звонятъ и тебѣ все равно, а для меня звонъ этотъ неизъяснимо радостенъ, неизъяснимо печаленъ. Дѣвочкой его я слышала, и вотъ теперь слышу — Господи, прости мнѣ грѣхи мои тяжкіе!

Плачетъ.

Яковъ. Вотъ и вы плачете.

Вас. Петр. (сквозь слезы). Не буду.

Яковъ. Да нѣтъ, плачьте. Я такъ. Что жъ мнѣ дѣлать, говорите, а то не прошелъ бы кто.

Вас. Петр. Яша! Я его во снѣ вижу.

Яковъ. Часто?

Вас. Петр. Три раза. Вчера третій разъ видѣла. Яша, голубчикъ ты мой, пожалѣй ты меня, я одинокая, я беззащитная! Къ кому я могу обратиться, кому могу хоть слово сказать—прятаться я должна, одинокая я, беззащитная я, женщина я слабая.

Яковъ. Такъ. Является?

Вас. Петр. Является. А тебѣ?

Яковъ. Разъ и я его во снѣ видалъ, ручкой онъ на меня махалъ. Да что? —на меня не намашешь. А на васъ махалъ?

Вас. Петр. (съ ужасомъ). Махалъ, Яша!

Яковъ. Ишь ты, царь собачій.

Вас. Петр. (взмахивая руками). Яковъ, Яковъ! Да развѣ это мыслимо такъ выражаться. Ты меня совсѣмъ убить хочешь, это даже неделикатно, Яша! Тутъ никого нѣтъ? Пожалѣй меня, Яша.

Яковъ. Жалѣю.

Вас. Петр. Возьми на себя грѣхъ передъ Богомъ... Нѣтъ, нѣтъ погоди. Ты сильный, Яша, ты мущина, ты ничего не боишься—и кто знаетъ, можетъ быть ты правъ и бояться не надо. Не знаю. Но я такъ боюсь, я такъ измучилась вся, что если ты меня не освободишь, я... я въ полицію пойду. Что мнѣ, все равно! Освободи меня, Яковъ. Ты долженъ меня освободить, иначе ты не мущина, иначе ты не благородный человѣкъ, какимъ я тебя всегда считала.

Яковъ. Да милая вы моя... Ну и беру. Эка! Ну и беру — чего тамъ!

Вас. Петр. (качаетъ головой). Нѣтъ, не такъ.

Яковъ (въ недоумѣніи). А какъ же? Беру.

Вас. Петр. Нѣтъ! Нѣтъ, такъ нельзя, Яковъ! Это не серьозно. Ты долженъ поклясться, Яковъ,—вотъ какъ ты долженъ! Ахъ, Господи, вдругъ кто-нибудь пройдетъ. Яша, стань на колѣни.

Яковъ. Да зачѣмъ?

Вас. Петр. Стань на колѣни—лицомъ къ церкви. Лицомъ, Яша, лицомъ — ахъ Господи Боже ты мой, нужно же, чтобъ лицо твое было видно.

Яковъ (неловко становится на колѣни, съ легкой усмѣшкой). Такъ?

Вас. Петр. Теперь смотри — сквозь камень смотри, Яша—ахъ Господи, да сквозь камень смотри же,—тамъ—маленькая иконочка, смотри!—и лампада неугасимая передъ ней, смотри, смотри. Ну и скажи Ему — ахъ, всю силу собери, Яковъ, всю силу, всю силу—и скажи Ему: Господи! На одного себя весь грѣхъ беру.

Яковъ (повторяетъ). Господи, на одного себя весь грѣхъ беру. Я убилъ.

Вас. Петр. И задумалъ я.

Яковъ (повторяетъ). И задумалъ я. Я у́билъ.

Вас. Петр. Господи! И каковъ бы ни былъ судъ Твой милостивый, одного меня карай, нѣтъ у меня товарищей, нѣтъ у меня участниковъ, одинъ я.

Яковъ (повторяетъ). Одного меня карай. Я убилъ.

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, не такъ. Ахъ, да какъ же мнѣ... Ну говори: Господи, а если были у меня участники—есть участница одна—то, Господи: на меня ея муку возложи. За мое благородство, Господи, за мою душу, навѣки погибшую, за мученья мои безконечныя—дай ей Господи, отпущеніе грѣха.

Яковъ (повторяетъ). За мою душу погибшую дай ей, Господи, отпущеніе грѣха. Я убилъ!

Вас. Петр. Клянись!

Яковъ. Клянусь.

Встаетъ. Василиса Петровна закрыла лицо руками и молчитъ.

Звонятъ часы на колокольнѣ: одиннадцать медленныхъ ударовъ.

Вас. Петр. (плачетъ и смѣется). Яшенька!

Яковъ. Что, милая? Теперь не плачь.

Вас. Петр. Яшенька!

Вдругъ падаетъ на колѣни и цѣлуетъ Яшину сопротивляющуюся руку.

Яковъ. Ну что вы, Василиса Петровна, барыня! Дворнику то Яшкѣ!

Вас. Петр. (вставая). Яша, другъ мой. Ты меня человѣкомъ сдѣлалъ. Прощай!

Пошатываясь, но быстро уходитъ. Яковъ нѣкоторое время стоитъ одинъ. Потомъ тихонько свиститъ.

Яковъ (негромко). Эй, Феофанъ, лѣзь сюда. Заснулъ?

Феофанъ (издали). Нѣтъ.

Яковъ. Эхъ, спички потерялъ. Феофанъ, спички есть?

Феофанъ. Есть. Самъ коробокъ далъ. Озябъ я что то—люди то всѣ спятъ, а мы маемся. Ахъ, и до чего грѣшникъ безпокоенъ, нѣтъ ему угомону во всѣ дни до скончанія живота его.

Яковъ. Спичку дай.

Закуриваетъ дрожащею рукой.

Феофанъ. Хмъ, потѣха. Яшка, а рука то у тебя отчего дрожитъ?

Яковъ. Развѣ? Ну такъ это она пляшетъ, а не дрожитъ.

Феофанъ. Пляшетъ? А я такъ думаешь и не видалъ, кто тутъ съ тобой былъ? Хмъ, потѣха! Ну что жъ — куражиться идемъ или отдумалъ? Спать бы надо, Яша, уморился я.

Яковъ. Куражиться. Эхъ, да и задамъ же я сегодня звону-перезвону!

Феофанъ (уныло). Такъ хоть извозчика возьми. Охъ ты, Господи, Владыко живота!..

ЗАНАВѢСЪ.

ВТОРОЕ ДѢЙСТВІЕ.

Картина вторая.

Очень приличный номеръ въ дорогой московской гостиницѣ двѣ комнаты: салонъ съ мебелью голубого шелка и спальня, отдѣленная широкимъ занавѣсомъ. Горитъ электричество. Василиса Петровна одѣта въ черномъ, дорогомъ, но безъ всякихъ украшеній, платьѣ, нѣсколько напоминающемъ трауръ. Напудрена, очень моложава, даже красива. Гость ея—сейчасъ собирающійся уходить—очень пожилой господинъ въ черномъ сюртукѣ, бритый, бѣдный, въ темныхъ консервахъ; при ходьбѣ слегка волочитъ одну ногу. Говоритъ медленно, запинаясь, и на нѣкоторыхъ словахъ съ трудомъ переворачивая языкъ.

Вас. Петр. До свиданія! До свиданія! Хорошо, я все передамъ мадамъ и мы васъ извѣстимъ. До свиданія!

Гость. До свиданія. Такъ я буду въ надеждѣ получить отъ мадамъ увѣдомленіе о ея согласіи на бракъ. Такъ я буду...

Вас. Петр. Да, да! Конечно!

Гость. Мои условія: помимо денежнаго вклада, имѣющаго цѣлью обезпечить надлежаще чинъ моего погребенія, я желаю новую енотовую шубу съ воротникомъ...

Вас. Петр. Да, да, вы ужъ говорили! Конечно!

Гость. Шубу съ воротникомъ; и кромѣ того, въ виду моего тугого желудка, три раза въ недѣлю приглашеніе къ столу. Да, къ столу. И во избѣжаніе могущихъ быть недо-

разумѣній считаю долгомъ предупредить, что могу дать только отеческія чувства. Да, только отеческія...

Вас. Петр. Да, сколько вамъ лѣтъ?

Гость. Шестьдесятъ восемь и два мѣсяца. Мой день рожденія пятнадцатаго сентября въ день великомученика Стефана. А говорю я не совсѣмъ ясно оттого, что у меня былъ ударъ, но только одинъ. А врачи говорятъ, что нужно три удара...

Вас. Петр. Скажите пожалуйста!

Гость. Да, три. И еще въ объявленіи сказано, что желательно титулованное лицо...

Вас. Петр. Да, да, непремѣнно!

Гость. Титулованное лицо, такъ я титула никакого не имѣю, но званіе мое по табели о рангахъ...

Вас. Петр. Да, да, вы уже говорили. Я все передамъ, до свйданія, до свиданія.

Гость. И что судебной палатой я оправданъ, и только вынужденъ былъ подать въ отставку. До свиданія, честь имѣю кланяться. Какъ тутъ выйти?

Вас. Петр. Да прямо по коридору, лѣстница тутъ же. До свиданія.

Гость. Я лучше въ лифтѣ спущусь. Честь имѣю кланяться.

Но у двери гость медлитъ, оборачивается и долго глазами ищетъ хозяйку.

Гость. Но, если мои условія окажутся непріемлимыми и мадамъ остановитъ свой выборъ на другомъ кандидатѣ, то пожалуйста передайте, что я могу быть гостемъ на свадьбѣ. Да, гостемъ на свадьбѣ за небольшое вознагражденіе на извозчика и перчатки.

Вас. Петр. Конечно, конечно, очень рада! Вамъ что-нибудь угодно?

Гость. Проводите меня до лифта.

Вас. Петр. Ахъ извините, Бога ради!.. Я сейчасъ позвоню, чтобы васъ проводили (Звонитъ). Садитесь пожалуйста.

Гость садится на стулъ. Молчаніе.

Вас. Петр. Вы были женаты?
Гость. Нѣтъ еще. Ни разу.

Постучавшись, входитъ горничная.

Вас. Петр. Милочка, проводите ихъ до лифта. До свиданія.

Молча, очевидно, забывъ попрощаться, гость выходитъ. Горничная быстро говоритъ.

Горничная. Тамъ двое къ вамъ пришли, Василиса Петровна. Прикажете просить?

Вас. Петр. Ужъ и не знаю. Ахъ какой невыносимый человѣкъ! Ну, проси. Варенька, Варенька—сами его въ лифтъ посадите, пожалуйста, свалится еще!

Василиса Петровна одна. Оправляется у зеркала и сдѣлавъ достойное лицо, садится въ кресло. Входитъ антрепренеръ Зайчиковъ и князь де-Бурбоньякъ де-Лантенакъ.

Вас. Петр. (не вставая). Здравствуйте. Садитесь пожалуйста.

Зайчиковъ. Позвольте представиться: бывшій антрепренеръ, Иванъ Алексѣевичъ Зайчиковъ. А это, позвольте вамъ представить, мой нѣжнѣйшій, если смѣю такъ выразиться, мой достойнѣйшій другъ: князь де-Бурбоньякъ де-Лантенакъ.

Князь молча, но съ достоинствомъ кланяется. Онъ совершенно пьянъ, но держится довольно твердо, лишь изрѣдка незамѣтно покачиваясь въ однихъ колѣняхъ. Василиса Петровна встаетъ и низко кланяется.

Вас. Петр. Ахъ, князь!.. Какая честь! Прошу васъ, князь, садиться вотъ здѣсь, на диванъ, здѣсь удобнѣе.

Князь. Мерси, мадамъ.

Зайчиковъ (любуясь происходящимъ). А мы, если позволите, вотъ здѣсь, въ сторонкѣ, устроимся и душевно поговоримъ... Князь, другъ мой, не обращай на насъ вниманія. Permete?

Закуриваетъ самъ и даетъ князю папиросу. Василиса Петровна въ нѣкоторомъ недоумѣніи.

Вас. Петр. Но развѣ?

Зайчиковъ. Вотъ именно-съ, вотъ именно-съ! Довѣреннѣйшее лицо, пользуюсь всѣми правами и полномочіями... Не извольте сомнѣваться.

Вас. Петр. Къ сожалѣнію, я также только довѣренное лицо, и право, мнѣ кажется все это странно. Почему князь самъ не изволитъ...

Зайчиковъ (поднимая палецъ, громко). Сударыня, я читалъ ваше объявленіе или вашей довѣрительницы — въ чемъ мнѣ, какъ знатоку сердецъ, позвольте усумниться, но всякая тайна священна! — и, сударыня позвольте васъ увѣрить, что лучшаго, надежнѣйшаго, если смѣю такъ выразиться, прекраснѣйшаго образца вамъ не найти. Но нѣсколько словъ о моей жизни.

Вас. Петр. Но я право не знаю... все это такъ удивительно!

Зайчиковъ. Кратчайшій курриculомъ витэ! Прогорѣлъ! Дважды прогорѣлъ! И если ужъ говорить по чистой совѣсти, по всей правдѣ, то не столько, сударыня, прогорѣлъ по волѣ стихій, если смѣю такъ выразиться, сколько... (многозначительно щелкаетъ себя по шеѣ). Вотъ! Каюсь! И если бы не мой достойнѣйшій другъ князь де-Бурбоньякъ де-Лантенакъ...

Вас. Петр. (всплескивая руками). Батюшки, да онъ заснулъ! Онъ пьянъ! Кого же вы ко мнѣ приводите — я просто не могу понять.

Князь дѣйствительно мирно спитъ, прижавшись головой къ спинкѣ дивана. Одинъ пышный усъ подвернулся, другой длинный и прямой, торчитъ наружу.

Зайчиковъ (успокоительно). Тс... это ничего: устаталось на почвѣ алкоголя. Спи, невинная душа, спи, древній отпрыскъ! Ахъ, сударыня, да неужели вы думаете, что князь де-Бурбоньякъ де-Лантенакъ могъ бы явиться по объявленію,

хотя бы оно было сдѣлано достойнѣйшей особой и въ самыхъ корректныхъ выраженіяхъ, если бы не этотъ недостатокъ. Вѣдь если я васъ понялъ, то семейное гнѣздо, такъ сказать, очагъ и другіе аттрибуты не входятъ въ намѣреніе противной стороны?

Вас. Петр. (успокаиваясь). Да. Моя довѣрительница...

Зайчиковъ. Сударыня, здѣсь только благородные люди!

Вас. Петр. Ну я, это все равно. По нѣкоторымъ семейнымъ обстоятельствамъ, о которыхъ позвольте мнѣ умолчать, я просто нуждаюсь въ положеніи. Конечно, я очень цѣню семейныя радости, но мои годы, мой возрастъ...

Зайчиковъ. Сударыня, здѣсь я вижу клевету! Вы цвѣтете какъ роза, какъ бутонъ.

Вас. Петр. (вздыхая). Ахъ, голубчикъ, дѣло наконецъ, не въ годахъ, а въ томъ, сколько человѣкъ пережилъ. А я, голубчикъ, столько пережила...

Зайчиковъ. Изволите быть вдовой?

Вас. Петр. (вздыхаетъ). Дѣвица.

Зайчиковъ. Невиннѣйшій бутонъ! Но, сударыня,—зачѣмъ слова между умными и благородными людьми? О слова, слова! Я васъ понялъ... простите, имя, отчество?

Вас. Петр. (нерѣшительно). Василиса Петровна.

Зайчиковъ. Зачѣмъ слова, дорогая Василиса Петровна? Я васъ понялъ и вы меня понимаете. Послѣ бракосочетанія князь, мой достойнѣйшій другъ, немедленно ѣдетъ путешествовать... разстроенное здоровье, наслѣдственныя болѣзни, наконецъ усталость отъ шумной свѣтской жизни... Ну, напримѣръ, въ Киссингенъ тамъ или Кисловодскъ. И дальше—ни слова, о другъ мой, ни вздоха! Ни вздоха! Такъ, Василиса Петровна.

Вас. Петр. Такъ то такъ... ваше имя, отчество?

Зайчиковъ. Иванъ Алексѣевичъ Зайчиковъ, бывшій антрепренеръ.

Вас. Петр. Такъ то оно такъ, дорогой Иванъ Алексѣевичъ. Но не слишкомъ ли дорого это будетъ стоить. Хотя я имѣю вполнѣ обезпеченныя средства и, могу сказать съ увѣренностью, нисколько не уроню въ грязь древняго имени де... де...

Зайчиковъ. Де-Бурбоньякъ де-Лантенакъ. Древнѣйшее имя, сударыня.

Вас. Петр. А документы есть?

Зайчиковъ. О святая недовѣрчивость! Ей недостаточно зрѣть этотъ древній отпрыскъ... нѣтъ, нѣтъ, я вполнѣ понимаю васъ. Наша честь при насъ, какъ говорится, а документы всѣ въ полнѣйшей исправности. Можно хоть завтра подъ вѣнецъ.

Вас. Петр. Такъ вотъ, дорогой Иванъ Алексѣевичъ, я очень, очень польщена честью, которую оказываетъ мнѣ князь, но путешествіе по нашимъ временамъ стоитъ такъ дорого, и вообще...

Зайчиковъ (укоризненно). Ахъ, Василиса Петровна!

Вас. Петр. Но вы поймите...

Зайчиковъ. Ахъ, Василиса Петровна, за князя то! Ахъ, Василиса Петровна!

Вас. Петр. Да вѣдь онъ вонъ какой.

Зайчиковъ. Какой? Ахъ, Василиса Петровна, не ожидалъ я этого отъ васъ. Вѣдь это же надо только посмотрѣть,— вѣдь это же надо понять! Боже мой, да развѣ мы пришли бы къ вамъ, если бы не этотъ нашъ недостатокъ. Но пьетъ! Неудержимо пьетъ! Какъ плотина! Я ему говорю: князь, другъ мой, неужели ты не можешь удержаться? Вѣдь пойми, что ты ставишь на карту? Князь!..—Нѣтъ, Жанъ, не могу. Не можешь? Не могу, Жанъ. А что за умъ, что за красота! Нѣтъ, позвольте, Василиса Петровна, позвольте взглянуть...

Вас. Петр. Ну, что я его такого буду смотрѣть? Нѣтъ, нѣтъ, не надо.

Зайчиковъ. Да позвольте, Господи Боже ты мой. Ну, однимъ глазкомъ!

Подводитъ слегка сопротивляющуюся Василису Петровну къ дивану и зажигаетъ лампочку надъ головой у мирно спящаго князя.

Зайчиковъ. Позвольте я посвѣчу (Умиленно любуется). Нѣтъ, что же это такое! Какая мужественная красота, какое тонкое выраженіе, сколько благородства! Ахъ, князь, князь, спи спокойно, душа твоя не вѣдаетъ грѣха, душа твоя не

вѣдаетъ о той низкой долѣ, въ которую ты погрузился! Спи, князь.

Вас. Петр. Да, такъ онъ недуренъ. Но, неужели онъ всегда пьянъ?—вѣдь это такое несчастье. Онъ еще молодой человѣкъ?

Возвращаются на прежнее мѣсто.

Зайчиковъ. Молодой? И вы спрашиваете Василиса Петровна? Скажу не хвастаясь, Василиса Петровна: дурной я человѣкъ, очень дурной: много за мной всякой несправедливости, подкоповъ, лицемѣрныхъ поступковъ — эхъ, не даромъ меня покаралъ Господь, не даромъ! И... виноватъ, лампочку забылъ погасить. Спи, древній отпрыскъ! И много я видалъ людей, Василиса Петровна—много ихъ прошло передъ моими глазами, и всякіе тамъ были — но лучше человѣка, чѣмъ князь я даже вообразить не могу! Вотъ-съ!

Вас. Петр. Вы его любите. Это очень трогательно.

Зайчиковъ. Хмъ, люблю? Да какъ же я смѣю его любить? Уважаю! Почитаю, какъ святого, Василиса Петровна. Вѣдь нужно его знать, какъ я его знаю. И гдѣ мы только съ нимъ ни бывали, и на какіе низы мы только ни спускались, и сколько всякой мерзости мы ни видали... когда я вспоминаю, я становлюсь ужасенъ, Василиса Петровна, недопустимъ, немыслимъ! Нетеримъ въ порядочномъ обществѣ!.. Но хоть когда-нибудь уронилъ себя князь? Никогда. Я вамъ сто тысячъ дамъ — найдите вы мнѣ человѣка, который слыхалъ бы хоть единое грубое слово.

Вас. Петр. Тогда это дѣйствительно очень жаль. Несчастный молодой человѣкъ.

Зайчиковъ. Нѣтъ. Онъ не несчастенъ. Мы несчастны, а онъ нѣтъ!

Вас. Петр. Тише, Иванъ Алексѣевичъ, вы очень громко.

Зайчиковъ. Извиняюсь, Василиса Петровна, но будь я камень, будь я кирпичъ, я еще громче кричалъ бы! А какого великодушія человѣкъ! Необъятнаго великодушія! Сколько разъ давали ему денегъ — есть тамъ какіе то родственники-

наглецы!—одѣвали его какъ картинку, портмонэ на карманные расходы, цвѣтокъ въ петлицу, геометрическій пробор-чикъ...—все отдастъ! И портмонэ, и одежу, и цвѣточекъ какой-нибудь дѣвкѣ-стервѣ,—извините—отдастъ! Вѣдь я бывало, плачу, его уговариваю: князь, нельзя же такъ, ноблесъ оближъ, хоть костюмчикъ то пооберите, хоть цвѣточка то не отдавайте! А онъ... улыбается тихо — и отдастъ! Да что: онъ бы кожу свою княжескую отдалъ, не будь бы она, къ счастью, такъ крѣпко пришита.

Вас. Петр. Мнѣ это нравится, Иванъ Алексѣевичъ. И князь вашъ мнѣ очень нравится. Но, конечно, это не мѣняетъ условія...

Зайчиковъ (мрачно). Воля ваша.

Вас. Петр. Не обижайтесь, Иванъ Алексѣевичъ, я безъ умысла. Просто мое положеніе... Но неужели ни одна великодушная женщина не пробовала его спасти?

Зайчиковъ (все также мрачно). Не знаю великодушныхъ женщинъ.

Вас. Петр. Это неправда, Иванъ Алексѣевичъ. Есть женщины съ олагороднымъ сердцемъ, и если имъ объяснить, если онѣ, наконецъ, поймутъ...

Зайчиковъ. Не знаю великодушныхъ женщинъ. Но я кажется, увлекся—простите мою искренность, Василиса Петровна.

Вас. Петр. Я нахожу, что вы очень странно выражаетесь, Иванъ Алексѣевичъ: нѣтъ великодушныхъ женщинъ. Ну, а если нѣтъ—тогда вашего князя нужно просто запереть.

Зайчиковъ. Запереть?—Василиса Петровна!

Вас. Петр. Да, и нечего стѣсняться: на ключъ! На замокъ! Пусть сидитъ!

Зайчиковъ. На замокъ? Князя? Ахъ, Василиса Петровна, Василиса Петровна! Нѣтъ, прошу васъ послушать, вы послушайте: пригласили къ нему родственники, давно это было, знаменитаго гипнотизера, знаменитѣйшаго: звѣзда! орелъ! грудь въ орденахъ отъ всѣхъ европейскихъ дворовъ и даже отъ Менелика! Могъ лошадь загипнотизировать!.. ну и что же? Заперли ихъ въ комнату, приходятъ черезъ часъ, а гипнотизеръ... какъ стелька. Самъ запилъ.

Вас. Петр. Да что вы! Какой ужасъ!

Зайчиковъ. Да. Карьера погибла у человѣка, а вы говорите: замокъ! на ключъ! Тутъ любовь нужна, а не замокъ, любовь-съ... Но вы изволили говорить объ условіяхъ—я къ вашимъ услугамъ.

Вас. Петр. Да нѣтъ, я вижу мы договоримся. Но, не боитесь ли вы, Иванъ Алексѣевичъ... я очень уважаю князя, но вы мнѣ извините мои сомнѣнія, мою женскую робость... Не думаете ли вы, Иванъ Алексѣевичъ, что къ вѣнцу князь можетъ явиться—ну не совсѣмъ нормальнымъ?

Зайчиковъ. Ахъ, дорогая Василиса Петровна! Ну, какъ мнѣ объяснить, какъ наконецъ, растолковать! Вы изволили видѣть, какъ сегодня князь вамъ поклонился—мы такъ съ вами можемъ? Вѣдь это манеры, Василиса Петровна, настоящія манеры, которыя въ высшемъ свѣтѣ. И такой человѣкъ, съ такими манерами, что-нибудь себѣ позволитъ, да какъ же можно даже мысленно допускать? Такая красота и вдругъ — какъ же можно такъ говорить Василиса Петровна.

Вас. Петр. Да вѣдь пьяный.

Зайчиковъ. Что онъ будетъ пьянъ, въ этомъ я ручаюсь—но, чтобы хоть слово, или какой-нибудь тамъ неприличный жестъ или даже нетвердость въ ногахъ—какъ можно! Скала! Обелискъ, Василиса Петровна, вотъ это что!

Вас. Петр. Ну да: а вдругъ, заснетъ?

Зайчиковъ (вставая, съ достоинствомъ). Если вы даже до такихъ сомнѣній доходите, достоуважаемая Василиса Петровна, то смѣю думать, намъ съ княземъ необходимо откланяться. Честь имѣю.

Вас. Петр. Вы не обижайтесь: вѣдь спитъ же онъ сейчасъ.

Зайчиковъ. Спитъ, ибо кротокъ какъ агнецъ! Спитъ, ибо я бодрствую! Но какъ же можно допустить, чтобы подъ вѣнцомъ, въ изящнѣйшемъ фракѣ, во всей красотѣ, достойной его высокаго званія, держа подъ руку такой очаровательный бутонъ—онъ могъ заснуть. Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно!

Вас. Петр. Вы ко мнѣ завтра зайдите, безъ князя, мы поговоримъ... о подробностяхъ. Кстати, мнѣ надо кое-какія

справки... Видите ли, мнѣ передавали, вообще совѣтовали... Я не имѣю права называть фамилій, но есть еще одинъ князь...

Зайчиковъ. Василиса Петровна!

Вас. Петр. Очень древній и вообще... Конечно, если ваши желанія не превысятъ того, на что я сама разсчитываю, то, конечно... Вы не обижайтесь, Иванъ Алексѣевичъ, я вовсе не хочу васъ обидѣть, но вы сами понимаете... Женщина я одинокая, богатая...

Зайчиковъ. Я не обижаюсь. Но мнѣ странно, по истинѣ странно слышать ваши соображанія, Василиса Петровна! Древній князь,—а дальше, а дальше, позвольте васъ спросить? У насъ... въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы обитаемъ, живемъ, если можно такъ выразиться... въ Гранд'-Отелѣ! — и сейчасъ я могу насчитать одного барона и двухъ князей. Но баронъ — десять разъ женатъ... нѣтъ, нѣтъ, я не моралистъ, и ничего противъ не имѣю, но онъ женатъ—законно! И всѣ жены живы, и не могу же я рекомендовать Сибирь изъ-за какого-то сомнительнаго барона? Остаются князья, но—одинъ уже безъ глаза, въ дракѣ выковыряли...

Вас. Петр. Ну, что вы!

Зайчиковъ. Ну да,—а скоро и второго лишится—такъ этого ли вы хотите? Мнѣ право смѣшно, Василиса Петровна! Наконецъ, третій князь — кавказскій, а вы сами понимаете, что это не то: кавказскій коньякъ передъ заграничными фирмами, марка не та! Вкусъ не тотъ! Ароматъ, если можно такъ выразиться. А это? Какая красота! Какой умъ!.. Нѣтъ, Василиса Петровна, не могу: позвольте еще разъ взглянуть.

Вас. Петр. Да нѣтъ, не надо, я уже смотрѣла...

Зайчиковъ. Однимъ глазкомъ?

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, я вамъ вѣрю.

Зайчиковъ. Душевно тронутъ. Но если...

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ. Такъ вы завтра зайдете ко мнѣ и мнѣ кажется, что мы съ вами сговоримся. Часовъ такъ въ двѣнадцать...

Зайчиковъ. Весь къ вашимъ услугамъ.

Вас. Петр. Вотъ и поговоримъ, обсудимъ...

Зайчиковъ. Слушаю-съ. Но дорогая Василиса Пе-

тровна, отбросимъ хоть на минуту скучную прозу нашей жизни — я поэтъ, Василиса Петровна — и когда мысленнымъ взоромъ я вижу эту очаровательную пару: васъ, одаренную всѣми дарами природы, великодушнѣйшаго князя во всемъ блескѣ его неподдѣльной красоты, стоящихъ передъ алтаремъ—въ торжественную минуту, когда незримо... ахъ, дорогая моя, вы извините меня, что я плачу! Подлая наша жизнь Василиса Петровна, преподлѣйшій сюжетъ! Вѣдь и я былъ человѣкомъ когда-то.

Вас. Петр. Ну что, вы и теперь...

Зайчиковъ. Нѣтъ ужъ, о моей жизни покончимъ вопросъ. (Наклоняясь къ Василисѣ Петровнѣ, говоритъ почти шопотомъ, стукаетъ пальцами себя въ грудь). Преподлѣйшій аневризмъ въ самой жестокой степени—и первый же настоящій заной положитъ конецъ этому бренному существованію. Зачѣмъ жилъ человѣкъ? Но — дорогой грустную матерію въ этотъ радостный мигъ слiянiя сердецъ. Вотъ мое утѣшеніе. (показываетъ пальцемъ на мирно спящаго князя), вотъ единственный лучъ въ моемъ темномъ царствѣ! Только гѣмъ и развлекаюсь иногда въ мысляхъ, что какъ умру—первымъ же словомъ заговорю тамъ о князѣ. Какъ спитъ, какъ дышетъ тихо!

Вас. Петр. Надо будить. Мнѣ право такъ жаль, Иванъ Алексѣевичъ, но вы сами понимаете, что если бъ у меня была квартира...

Зайчиковъ. Намъ не нужно квартиры! Но какъ спитъ, но какъ дышетъ тихо! (Любуется). Нѣтъ, вы видали когда-нибудь, чтобы такъ спалъ человѣкъ — положилъ головку какъ птичка и спитъ себѣ на вѣткѣ. Но стоитъ воззвать—и вотъ онъ пробудился — великодушнѣйшій изъ людей, счастливѣйшій между князьями земли (осторожно будитъ). Князь, другъ мой!... Князь (Василисѣ Петровнѣ, тихо). Вотъ посмотрите! —Князь, намъ надо идти.

Князь открываетъ глаза и встаетъ съ такимъ видомъ, какъ будто онъ и не спалъ и не просыпался. Оправляетъ усы и стоитъ слегка наклонивъ голову въ очень скромной и даже красивой позѣ. Только слегка, еле замѣтно, покачивается въ колѣняхъ.

Зайчиковъ. Князь, мой другъ, какъ ты себя чувствуешь?

Князь. Мерси, хорошо.

Зайчиковъ. Князь, Василиса Петровна желаетъ проститься съ нами.

Вас. Петр. Я очень польщена, князь, нашимъ знакомствомъ. До свиданія, дорогой князь.

Князь. Бонсуаръ, мадамъ.

Замираетъ въ позѣ изящнаго поклона. Зайчиковъ любуется съ блаженнѣйшей улыбкой на лицѣ.

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Свадьба по первому разряду въ ресторанѣ второй руки. Все поставлено бывшимъ антрепренеромъ Зайчиковымъ. На сценѣ второразрядная пышная ресторанная гостиная съ искусственными пальмами въ темныхъ углахъ. Въ открытую дверь виденъ обѣденный залъ; посерединѣ длинный столъ сервированный на 15—20 персонъ. Отдѣльно столъ съ закусками а ла фуршетъ. На томъ и другомъ столѣ видимое и крайнее изобиліе спиртныхъ напитковъ. Лакеи въ приличныхъ фракахъ, но во вчерашнихъ манишкахъ; и не всѣ бриты. Гости спеціальные, наняты Зайчиковымъ отъ пяти до пятнадцати рублей за вечеръ. Всѣ одѣты очень прилично и имѣютъ такой видъ, какъ будто они настоящіе. Но стѣсняются; и особенно смущаетъ ихъ то, что ихъ такъ много. Нѣкоторые, особенно дамы, стараются показать, что они дѣйствительно приглашены, а не наняты. Другъ друга никто не знаетъ. Всего ихъ человѣкъ двѣнадцать.

Гости перваго плана: Баронъ Нксъ — солидный сѣдой господинъ представительнаго вида, бывшій биржевой дѣлецъ, нынѣ состоитъ подъ судомъ. Къ положенію своему, какъ нанятаго гостя, равнодушенъ; сосредоточено думаетъ о чемъ то, покусывая перчатку; куритъ сигары. Отставной генералъ Дзетъ («Генералъ на свадьбѣ»)—пьяный, опустившійся, распухшій человѣкъ, пришедшій не столько ради денегъ, сколько для выпивки и компаніи. Коммерціи совѣтникъ Нгрекъ, стѣсняется, не знаетъ куда сѣсть, старается спрятать медаль, которую надѣлъ изъ добросовѣстности. Помѣщикъ Эпъ,—также смущенный, но веселый человѣкъ, которому постепенно становится

все это смѣшно. Два студента со шпагами: больше похожи на немолодыхъ бритыхъ актеровъ, неумѣющихъ носить форму.

Гости второго плана:— фигуры очертаній неопредѣленныхъ. Три похожихъ другъ на друга, но весьма солидныхъ господина: какъ будто отставные чиновники—а можетъ быть и не чиновники. Молодой человѣкъ нагло скучающаго вида: весь развинченный, расхлябанный, съ истощеннымъ, покрытымъ красными пятнами, сѣрымъ лицомъ; часто смотритъ на часы, презираетъ пальмы, коверъ, Зайчикова. Думаетъ о подложномъ векселѣ, которому завтра срокъ. Четыре загадочныя дамы, повидимому изъ общества: при двухъ дамахъ столь же загадочныя декольтированныя, но вполнѣ приличныя дѣвицы. Кажется одна изъ дамъ, пожилая, въ наколкѣ, худая, съ обвисшими щеками актриса. Еще два, три смутныхъ и почти неподвижныхъ лица.

Зайчиковъ суетится и режиссируетъ. Самъ онъ радостно взволнованъ, хотя пока еще трезвъ; не обращаетъ вниманія, что жилетъ у него коротокъ и видна полоска бѣлой рубашки. Изрѣдка, съ жестомъ мгновеннаго отчаянія хватается за голову: какъ режиссеръ, которому попалась трудная, не спѣвшаяся труппа.

Ждутъ изъ церкви новобрачныхъ.

Зайчиковъ. Господа., господа, не дымите же такъ безбожно! Кто хочетъ покурить, пожалуйте въ маленькую гостиную! Ахъ, виноватъ, баронъ: гаванна? Какой ароматъ... удивительно!

Баронъ. Гаванна.

Зайчиковъ (студенту). А вы, голубчикъ, папиросочку бросьте. (Тихо). Послушайте, какъ васъ, вы рекомендуете себя талантливымъ актеромъ, берете съ меня пять рублей, какъ оперный пѣвецъ, а не умѣете держаться на сце... въ обществѣ!

Студентъ. Что же мнѣ дѣлать?

Зайчиковъ. Что? Дамъ занимайте... эхъ, видите, какъ всѣ сидятъ! Надо было репетицію, но развѣ... (Помѣщику). Такъ то, дорогой Степанъ Григорьевичъ!...

Помѣщикъ. Николай Андреичъ.

Зайчиковъ. Такъ то, дорогой Николай Андреичъ. Живемъ? Ну, какъ посѣвы, озимые, яровые?

Помѣщикъ. Н-да, посѣвы.

Зайчиковъ. Золотое дно ваше... Отрадное. Какіе лѣса, какія пажити и луга -духъ замираетъ! Да, господа, что ни говори—а для всей Европы житница наша матушка Россія. Вѣрно, ваше степенство?

Ком. Совѣтникъ (растерянно). Не знаю.

Зайчиковъ Какже не знать, помилуйте! Вотъ, генералъ, наше третье сословіе, говоритъ, что не знаетъ—хитрый народъ, а? До того хитрый, что... ваше мнѣніе, генералъ?

Генералъ. Н-да, мое мнѣніе. Послушайте, Иванъ Андреичъ...

Зайчиковъ. Иванъ Алексѣевичъ Зайчиковъ.

Генералъ. Послушайте, а они скоро будутъ отъ вѣнца?

Зайчиковъ. Должны быть сію минуту. Да, что ни говори, а требованія организма... не такъ ли сударыня?

Генералъ. Съ пѣвчими?.. ну свадьба, я говорю, съ пѣвчими?

Зайчиковъ. Какъ же, какъ же! Князь де Бурбонскій, мой достойнѣйшій другъ, не можетъ пожалѣть тамъ какихъ-то денегъ, разъ дѣло идетъ о блескѣ древняго имени. Ахъ, господа, я вижу, вѣрнѣе сказать, я знаю, что не всѣ здѣсь присутствующіе достаточно освѣдомлены о достоинствахъ князя—но, господа, въ такой торжественный день злые языки должны умолкнуть, миръ и согласіе да царствуютъ въ умиленныхъ сердцахъ. Не такъ ли, достоуважаемая Дарья Степановна? (Тихо). Дарья Степановна, хоть ты поддержи меня, видишь какія кикиморы, что-бъ ихъ чертъ побралъ. Ну и труппочка, чортъ бы ее... Ври!

Дарья Ст. Что жъ я буду врать? Самъ виновать, чего-жъ раньше не сказалъ толкомъ.

Зайчиковъ (свирѣпо). Что врать? Ухъ старая лошадь, а соврать не умѣешь?—Такъ то, дорогой Андрей Ивановичъ, живемъ? Ну какъ посѣвы, пажити? (Развинченному молодому человѣку). Послушайте, но нельзя же такъ: тамъ сидятъ очаровательныя дѣвицы, бутоны, если смѣю такъ выразиться, а вы... міровая скорбь, эхъ!

Мол. человѣкъ. Что такое?

Зайчиковъ. Дорогой! Я понимаю: міровая скорбь. Байронъ, Шиллеръ, Сервантесъ, но вѣдь надо же и жизнь! Жизнь для жизни намъ дана.

Мол. человѣкъ. Это вы мнѣ? Вы забываетесь, любезный.

Зайчиковъ. Что такое? Я забываюсь? Н-ну... хорошо, хорошо, потомъ поговоримъ. Скажите пожалуйста!.. Вамъ честь оказана, молодой человѣкъ, будь вы тамъ маркизъ или кто угодно, что князь де Бурбоньякъ пригласилъ васъ. Сажите пожалуйста! (Проходящему лакею). Послушай, эй ты любезный, это что же у тебя: ты когда это воротничекъ надѣлъ? Ты не понимаешь, какой сегодня день, а?

Лакей. Хозяину скажите, Иванъ Алексѣевичъ.

Зайчиковъ. Хозяину? А гдѣ онъ этотъ мошенникъ, подать мнѣ сюда этого мошенника! У, арапишки, самоварники...

Быстро уходитъ вслѣдъ за лакеемъ. Въ гостиной неловкое и напряженное молчаніе, другъ на друга стараются не глядѣть.

Дама (нерѣшительно). Какъ здѣсь душно. Вы не находите?

Вторая дама. Да. Очень теплая зима.

Первая дама. Да, удивительно теплая. Сегодня на Тверской уже показались на колесахъ. Вы на саняхъ пріѣхали?

Вторая дама. Да.

Первая дама. Подумайте, и я имѣла неосторожность приказать заложить сани. Такъ ужасно скрипятъ полозья, что это невыносимо!

Помѣщикъ (не выдерживая, генералу). Вотъ вретъ! Вмѣстѣ въ трамваѣ пріѣхали.

Генералъ (сердито). Что-съ?

Помѣщикъ. А то, ваше превосходительство, что надо же владѣть положеніемъ! Ужасно курьезный случай! Позвольте рекомендоваться—бывшій уѣздный предводитель, помѣщикъ...

Генералъ (любезно). Очень радъ. Генералъ въ отставкѣ...

Помѣщикъ. Очень пріятно. А любопытный типъ этотъ Зайчиковъ: онъ мнѣ положительно нравится. Вретъ каналья, какъ артишоки ѣстъ, и хоть бы поморщился.

Генералъ (снова хмурясь). Не обратилъ вниманія. Но случай дѣйствительно курьезный, хотя мы можемъ утѣшаться, что общество въ концѣ концовъ весьма, весьма приличное. Правда, кое-кто подозрителенъ, но... Скажите, вонъ тотъ господинъ съ сигарой дѣйствительно баронъ?

Помѣщикъ. Не могу знать, ваше превосходительство, кто дѣйствительно, а кто недѣйствительно. Вонъ тамъ сидитъ Зайчиковъ мнѣ сказывалъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, но поручиться, что онъ дѣйствительно дѣйствительный или недѣйствительно дѣйствительный...

Оба смѣются.

Помѣщикъ. А вы, ваше превосходительство?

Генералъ. Что-съ?

Помѣщикъ. Нѣтъ... А какого вы вообще мнѣнія о семъ курьезномъ происшествіи?

Генералъ. Видите ли, иногда и я вполнѣ понимаю и одобряю эти чувства меня, какъ почтенное лицо, приглашаютъ на какую-нибудь, ну тамъ мѣщанскую, разночинскую свадьбу... Конечно имъ пріятно, да и самъ иногда входишь въ положеніе... молодые люди, бракъ, вся жизнь впереди... Но здѣсь– что то весьма странное, весьма странное. Здѣсь повидимому не только я одинъ...

Помѣщикъ. И я.

Генералъ. Но и всѣ остальные... Очень, очень курьезный случай. Я ничего не понимаю. Фантасмагорія какая-то. И я даже жалѣю, что пріѣхалъ.

Помѣщикъ. Что есть истина? -сказалъ одинъ мудрецъ.

Генералъ (со вздохомъ). Вы философъ, Иванъ, Иванъ...

Помѣщикъ. Николай Андреичъ, къ вашимъ услугамъ. Эхъ, ваше превосходительство, чѣмъ только не станешь

когда поживешь, какъ слѣдуетъ. Но кажется ѣдутъ. Простите, ваше превосходительство, я—посаженный отецъ!

Смѣясь, отходитъ. Почти одновременно вбѣгаютъ съ одной стороны два шафера также нанятые, но опытные молодые люди—и съ другой стороны, нѣсколько поблѣднѣвшій отъ волненія Зайчиковъ. Гости проявляютъ признаки нѣкотораго оживленія. Коммерціи совѣтникъ перемѣнилъ ногу, на которой онъ все время стоялъ въ невольной позѣ полководца.

Шафера кричатъ: «ѣдутъ, ѣдутъ! Гдѣ Иванъ Алексѣевичъ ѣдутъ».

Зайчиковъ (взволнованно). Я здѣсь, здѣсь. Господа приготовьтесь! Кто посаженный отецъ?.. Посаженаго отца!! Ахъ, виноватъ, Григорій Петровичъ, сюда, сюда. И вы, сударыня, рядышкомъ, такъ. А, Господи, Боже мой. А гдѣ же зерно, пшеница, какъ тамъ?

Шаферъ (также озабоченно). Вотъ, Иванъ Алексѣевичъ вотъ. Мальчикъ, ты здѣсь стань.

Разряженный мальчикъ съ блюдомъ зерна становится возлѣ посаженныхъ отца и матери.

Зайчиковъ. Да, да, пожалуйста. Господа: какъ только войдутъ молодые и станутъ на колѣни, вы ихъ осыпайте хмѣлемъ, то есть зерномъ или какъ тамъ!..

Шаферъ. Нѣтъ, Иванъ Алексѣевичъ, не такъ. Такъ не дѣлается. Раньше надо благословить, а потомъ уже зерномъ. Какъ же это возможно?

Зайчиковъ. Ну да, да, я и говорю. Господа посаженные отецъ и мать! Сперва благо... вотъ они.

Входятъ Василиса Петровна и князь. Она въ шелковомъ свѣтло-сѣромъ подвѣнечномъ платьѣ, въ фатѣ и съ цвѣтами на головѣ; онъ—въ очень изящномъ, новомъ фракѣ, сдержанъ, держится спокойно и просто. За молодыми еще троечетверо гостей и Яша—дворникъ съ Маргаритой. Яковъ—въ черной суконной поддевкѣ и красной шелковой рубахѣ, Мар-

гарита въ скромномъ бѣломъ платьѣ, на черныхъ волосахъ цвѣты. Лакеи открываютъ шампанское, шумъ; молодые становятся на колѣни, ихъ осыпаютъ зерномъ. Шафера кричатъ музыка! Невидимый оркестръ въ залѣ играетъ тушъ.

Зайчиковъ (со слезами). Дорогой мой, князюшка ты мой... Господа, поздравлять молодыхъ! Василиса Петровна—дорогая—княгиюшка-матушка...

Гости разбираютъ шампанское, выбирая бокалы, гдѣ больше налито; нѣкоторые тихо спорятъ съ лакеемъ. Поздравляютъ.

Зайчиковъ. (цѣлуетъ руку Василисы Петровны, она цѣлуетъ его въ лобъ) Дорогая моя, княгиюшка, дай вамъ Богъ многія лѣта, въ здоровьи и благополучіи. Дѣтокъ наживите намъ побольше, простите грубіяна! Князь!

Крѣпко и долго цѣлуетъ князя, утираетъ слезы.

Зайчиковъ. Милый! Ну что мнѣ тебѣ сказать?! Живи ты и украшай... да что, братъ, и словъ у меня нѣтъ. Шармаиочныя, братъ, у меня слова. Поцѣлуй меня еще!

Шаферъ. Музыка!

Снова тушъ. Поздравляютъ. Мущины сдержанно и серьезно цѣлуютъ у Василисы Петровны руку, дамы нѣжно цѣлуются. Одна почему то плачетъ. Вообще все очень серіозно и похоже на настоящее.

Яковъ. Дозвольте и намъ, Василиса Петровна...

Маргарита (тихо) Княгиня, Яша.

Яковъ. Княгиня...

Вас. Петр. Яшенька, голучикъ мой! (Цѣлуетъ его и утираетъ осторожно слезу). Голубчикикъ ты мой, дай Богъ и тебѣ всего всего хорошаго, самаго большого счастья, какого ты хочешь... Маргариточка, милая, спосибо, я такъ рада... (Барону) Мои протежэ...

Зайчиковъ (подсказываетъ) Баронъ.

Вас. Петр. Мои протежэ, баронъ. Покажись, Яша —вотъ видите какой. Онъ очень очень милый молодой человѣкъ.

баронъ! Я его такъ люблю... (треплетъ Якова по щекѣ). Ну иди себѣ, голубчикъ. Вы не находите, баронъ, что для человѣка... простого онъ очень мило держится... Ахъ, господа, фату пустите!

Шаферъ. Фату, фату!!

Снова музыка, снова тушъ. Поздравляютъ. Помѣщикъ, которому видимо понравилась Василиса Петровна, вышелъ изъ своей роли посаженаго отца и что то любезно говоритъ ей. Вмѣстѣ съ генераломъ, который также повеселѣлъ, уговариваетъ ее еще выпить шампанскаго, но она рѣшительно отказывается. Князь, отдыхая, стоитъ въ сторонѣ, вынимаетъ серебряный портсигаръ съ золотой монограммой, подарокъ Василисы Петровны, и закуриваетъ. Трудно понять, пьянъ ли онъ или совершенно трезвъ. Подходитъ Зайчиковъ и молитвенно смотритъ на него.

Зайчиковъ. Князь!

Князь. Что, дорогой?

Зайчиковъ. Князь! Ну доволенъ ли ты, скажи! Если ты недоволенъ, я руки на себя наложу, честное слово, орать руки на себя наложу. Милый ты мой, великодушнѣйшій другъ мой—я перетеръ передъ тобою, пыль, дрянь, но я доволенъ! Но ты молчишь, но ты улыбаешься, но ты раздираешь мое сердце...

Князь. Да, я доволенъ. И не суетись такъ, дорогой опять будешь задыхаться.

Зайчиковъ (восторженно). И задохнусь! Отъ радости задохнусь! (Умоляюще) Милый, благороднѣйшій ты мой человѣкъ, а что если намъ съ тобою—для такого великаго дня дать зарокъ, обѣтъ, такъ сказать, трезвости? Родители бы твои покойные да и я бы... никому я ненужный человѣкъ а все-жъ таки—человѣкъ я, князь!

Князь молчитъ, улыбаясь.

Зайчиковъ (упавшимъ голосомъ). Не можешь? Ну, ну, оставимъ. И правда, что это я—разнервничался, старая баба. (Тише) Ну, а какъ гости, хороши?

Князь. Недурны.

Зайчиковъ. Старался, братъ! По пятнадцати рублей съ рыла! А вотъ тому -видишь—разслабленный изъ Капернаума, чертъ его подери съ его міровой скорбью, даже и не знаю кто онъ, чортъ его подери—двадцать пять рублей. Конечно, можно было у насъ въ бюро набрать, и дешевле бы стоило, но зато, братъ, настоящіе! Изъ нашей актерской братіи только Дарья Степановна напросилась, старая лошадь... а музыка то? Эхъ, голубчикъ, есть въ этой музыкѣ что то разгагающее душу - ну что мнѣ Гекуба? А вотъ плачу, старый актеръ... дуракъ!

Шаферъ (подбѣгая). Иванъ Алексѣевичъ, я васъ везд ищу. Надо къ предварительной закускѣ просить. Помилуйте что же это такое... Ахъ виноватъ, князь!

Зайчиковъ. Сейчасъ, сейчасъ, голубчикъ. Дай отдохнуть. (Треплетъ его по плечу) Ну, какъ, доволенъ?

Шаферъ. Чудесная свадьба!

Зайчиковъ. А невѣста?

Шаферъ на лету цѣлуетъ кончики пальцевъ и исчезаетъ.

Зайчиковъ (мечтательно) Князь... а не можешь ты—вообразить? Ты скептикъ, я знаю -но вѣдь чортъ возьми!—воображаемъ же мы, актеры. Ну, вообрази. Вообрази, что это самое настоящее, какое только есть у Бога, и что ты, древній отпрыскъ, великодушнѣйшій изъ людей, наконецъ вступаешь рука объ руку съ очаровательнымъ бутономъ въ чертоги Мира и Красоты. Послушай, князь, какъ для тебя играетъ музыка, возвѣщая, такъ сказать, всю чистоту твоей души, какъ на крыльяхъ... (упавшимъ голосомъ) Не можешь? Ну ладно, не сердись—разстроился я, братъ. (Громко) Господа, прошу закусить! Господа шафера, прошу исполнять ваши обязанности!

Совмѣстно съ шаферами устраиваетъ кавалеровъ и дамъ суетится.

Князь (Кланяясь Василисѣ Петровнѣ и предлагая ей руку). Княгиня, позвольте васъ просить.

Вас. Петр. Ахъ нѣтъ, князь, я такъ устала, я потомъ, Закусывайте безъ меня, я приду...

Зайчиковъ. Княгинюшка матушка, да какъ же можно?— безъ васъ, какъ безъ солнца, вонъ и князь нашъ, какъ подсолнечникъ, головку повѣсилъ.

Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, Иванъ Алексѣевичъ, я здѣсь посижу. Я сейчасъ. Яша, а ты что же? Мои протежэ, князь. Ну посиди со мной Яшенька, поболтаемъ, посмѣемся. Маргариточка, ты что же не идешь закусывать иди, голубчикъ, иди. Я твоего Яшу не украду.

Маргарита. Мерси, ваше сіятельство.

Всѣ уходятъ. Въ гостиной остаются только Василиса Петровна и Яковъ.

Вас. Петр. (снисходительно) Ты что же стоишь, Яковъ? Садись голубчикикъ. Ты былъ сегодня въ церкви?

Яковъ. Былъ.

Вас. Петр. Такая масса народу, любопытныхъ, у меня такъ кружилась голова, что я никого не видала. Спасибо, голубчикъ, что не забылъ стараго друга. Помнишь еще?

Яковъ. Помню, Василиса Петровна. Какъ же можно забыть, я памятливый. Но конечно, если надо забыть, то и забыть могу—а вамъ какъ угодно, Василиса Петровна?

Вас. Петр. Да. Для другихъ княгиня, а для тебя, Яша, навсегда Василиса Петровна. Пожалуста такъ и зови меня. Нѣтъ, зачѣмъ же забывать—забывать не надо.

Яковъ. Да что только помнить?

Вас. Петр. Вотъ именно, Яша. Я знаю, что ты очень умный и деликатный человѣкъ и не можешь не понимать разницы, которая, къ сожалѣнію, между нами. Ты, Яша, человѣкъ низкаго званія, рабъ, а я—благороднорожденная княгиня. Ты обратилъ вниманіе, какое у меня общество, какіе достойные, всѣми уважаемые люди оказали мнѣ честь: ахъ, баронъ, онъ такой прекрасный человѣкъ!

Яковъ. Видалъ. Василиса Петровна, а князь то вашъ?..

Вас. Петр. Что? Да, да, къ несчастью, Яша, къ несчастью. Но я не стану тебя обманывать, дружокъ — князь сегодня же, прямо отъ стола, уѣзжаетъ путешествовать... въ Киссингенъ тамъ или Кисловодскъ, я не знаю. Не буду таиться, открою тебѣ мое сердце: князь, при его благородной

внѣшности, при его чудесныхъ манерахъ, при его, наконецъ удивительной скромности, произвелъ на меня съ перваго же раза неотразимое впечатлѣніе. И кто знаетъ, Яша, не здѣсь ли судьба готовила мнѣ счастье? Но... невозможно, Яковъ, онъ неизлѣчимъ къ несчастью. Бѣдный князь!

Яковъ. Вы еще молоды, Василиса Петровна, еще кого другого по сердцу встрѣтите. Мало ли на свѣтѣ людей: такъ еще полюбите, что и князя своего забудете. Вѣрно?

Вас. Петр. Ахъ, нѣтъ, Яковъ, что ты говоришь! (улыбаясь). Какъ это можно, голубчикъ! Нѣтъ, я скажу тебѣ откровенно, для меня всѣ радости кончены и смотрю я на свою жизнь, какъ на подвигъ. Мы, князья, нашей жизнью должны подавать примѣръ, а не унижаться до поступковъ; пусть люди низкаго званія поступаютъ, а мы должны быть горды и неприкосновенны.

Яковъ. Такъ. Что жъ, живите, а мы завидовать будемъ.

Вас. Петр. Завидовать, Яша, не надо, грѣхъ. И наконецъ, развѣ ты не можешь устроить себѣ вполнѣ приличную жизнь? Вспомни мой совѣтъ: купи себѣ кусочекъ земли подъ городомъ и стань огородникомъ, капустку сади, огурцы—это дѣло чистое, пріятное и людямъ и Богу. Ты былъ на родинѣ, Яковъ?

Яковъ. Да нѣтъ, все собираюсь. Маргарита вотъ по монастырямъ все меня таскаетъ, божьихъ людей ищетъ, да не находитъ. Она ищетъ—а мнѣ что? Василиса Петровна, а нехорошо это.

Вас. Петр. Что, голубчикъ, нехорошо?

Яковъ. Да все. Но только отчего я не могу, напримѣръ почувствовать? Другой какой человѣкъ, если трезвый не можетъ, такъ хоть пьяный напьется, до настоящей точки себя доведетъ, а я сколько напримѣръ, не пью — только на одинъ глазъ и пьянъ. На одинъ пьянъ, а другимъ все подозрѣваю, какъ сквозь стекло. И такъ отчетливо вижу — ахъ ты, да скажи ты, до чего отчетливо! Или напримѣръ случается мнѣ кашу заварить: и — и, чего тутъ только не бываетъ, только, только земля не содрагается!—и всѣ эту кашу хлѣбаютъ, а у меня ложку чортъ укралъ. Вотъ я какой!—удивительный!

Вас. Петр. (прислушиваясь). Какая чудная музыка. Ты музыку любишь, Яковъ?

Яковъ. Я и пѣсенки пою—отчего же? Люди плачутъ: стало быть хорошо пою. Пѣть то пою, да спѣться ни съ кѣмъ не могу: они въ плачъ, а я вскачь — ужъ какая тутъ спѣвка!

Вас. Петр. Ну пѣсенки, это... Нѣтъ, зачѣмъ же такъ. Такъ не надо.

Яковъ. Или души у меня нѣтъ? Бываетъ иной разъ: вотъ ужъ и къ сердцу подошло, вотъ сейчасъ прозрѣю, вотъ сейчасъ удивлю, вотъ... и что жъ такое? Куда все дѣвалось? Ничего. Заключился я въ себѣ, Василиса Петровна, а ключъ то видно потерявши. И былъ Яшка-дворникъ, а сталъ Яшка-затворникъ (смѣется).

Вас. Петр. Да — я этого не понимаю, голубчикъ. Но должна тебѣ замѣтить, что ты мнѣ не совсѣмъ нравишься. Зачѣмъ эта гордость, Яковъ, даже презрительность? Откуда? Почему, наконецъ? Люди, мой другъ...

Въ залѣ гремитъ тушь. Дверь распахивается и съ ококами въ рукахъ показываются Шаферъ, Зайчиковъ и еще двое — трое изъ гостей. Веселы.

Шаферъ. Горько! Княгиня, горько!

Зайчиковъ. Княгиня, матушка! Требуютъ! Горько! Всеобщій бунтъ и возстаніе рабовъ!

Шаферъ. Горько!

Вас. Петр. Хорошо, хорошо, скажите сейчасъ иду. Иванъ Алексѣевичъ, на одну минуту, простите господа, что лишаю васъ...

Гости уходятъ, Зайчиковъ прижимается съ блаженной улыбкой.

Зайчиковъ. Княгинюшка, какъ я безмѣрно счастливъ! Нынѣ отпущаеши...

Вас. Петр. Да? Послушайте, Иванъ Алексѣевичъ, вы очень милый, очень обязательный человѣкъ, и я отъ всей души... но что это такое? Послушайте, что это такое, гдѣ вы? Какое то «горько» — что это, мѣщанская свадьба, ширушка?

Зайчиковъ (опѣшивъ). Княгиня?!

Вас. Петр. Или вы никогда не видали, не знаете простой разницы между какой-то свадьбой въ избѣ и бракосочетаніемъ? Горько... Пора быть умнѣй, Иванъ Алексѣевичъ.

Зайчиковъ (хлопаетъ себя по лбу). Вѣрно! Умница! Тутъ княжеская свадьба, бонтонъ, а я: горько! Провалился! Пардонъ—и ручку, умница, виноватъ—княгиня!

Вас. Петр. Я не сержусь. Идите, идите, нечего, ручку. Я за вами.

Зайчиковъ уходитъ. Яковъ смѣется.

Яковъ. Какъ вы его щелкнули, даже вспотѣлъ баринъ.

Вас. Петр. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ допускать!. Ты что то говорилъ Яковъ, я забыла... Ахъ, да. Ты же помнишь, что у меня твои деньги?

Яковъ. Помню.

Вас. Петр. Тамъ накопились кое-какіе проценты, но я думаю, что ты еще не нуждаешься... А я, знаешь ли, свои въ банкѣ устроила и нѣкоторыя бумаги купила, но только вѣрныя: ахъ теперь такъ трудно съ деньгами!..

Въ залѣ оркестръ играетъ попурри изъ Травіаты.

Вас. Петр. Нѣтъ, это надо послушать: какая прелесть! Очаровательно!

Мечтательно слушаетъ. Яковъ внимательно и съ любопытствомъ разсматриваетъ ее.

Яковъ. Василиса Петровна, а какъ на счетъ?.. Да нѣтъ!

Вас. Петр. Что, голубчикъ? Замечталась я. Надо идти.

Встаетъ, Яковъ также.

Яковъ. Спросить хотѣлъ, да ничего. Пустяковый вопросъ, не стоитъ и спрашивать. Значитъ такъ, Василиса Петровна?

Вас. Петр. Да, Яша. Ну иди, голубчикъ, къ столу, а потомъ, а то вмѣстѣ пойдемъ. Ты, Яшенька, пожалуйста

безъ стѣсненія, кушай и пей, а иначе ты меня обидишь. Иди же.

Яковъ. Видалъ я нынче, руку они у васъ цѣловали. Какъ это они дѣлаютъ?

Вас. Петр. (улыбаясь). А что, можетъ быть и ты хочешь?

Яковъ. Нѣтъ, куда мнѣ, я не съумѣю. (Усмѣхаясь). Нѣтъ я такъ. Пошелъ я, значитъ.

Уходитъ; въ залѣ его встрѣчаютъ веселымъ, видимо, ужъ пьянымъ крикомъ. Тамъ весело. Василиса Петровна встаетъ, оправляется и медленно идетъ къ столовой на полдорогѣ останавливается, оборачивается и думаетъ. Глаза закрыты, какъ во снѣ.

Вас. Петр. Княгиня!..

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Постоялый дворъ на глухомъ заброшенномъ трактѣ, на окраинѣ небольшого бѣднаго села. Состоитъ домъ изъ двухъ половинъ, раздѣленныхъ холодными сѣнцами, — чистой и грязной. Осень. Ночь.

На сценѣ грязная половина дома — большая, темная, закопченая комната, съ русской, небѣленой, давно нетопленной печью. Простыя лавки, столъ, на которомъ остатки какой-то ѣды, два огурца, початая бутылка водки, стаканчикъ. Голо, бѣдно. Въ передней стѣнѣ два маленькихъ слѣпыхъ оконца, за ними—тьма осенней ночи. Надъ столомъ, на стѣнѣ, жестяная лампочка, съ отбитымъ краемъ стекла: свѣтитъ скудно, бросаетъ черныя тѣни и углы оставляетъ въ темнотѣ. На лавкѣ, въ тѣни, сидитъ Маргарита, думаетъ; на лобъ напущенъ край большого, чернаго, теплаго платка, въ который она кутается. Въ первую минуту, когда поднимается занавѣсъ, ее не замѣчаешь. Гдѣ-то,—потомъ оказывается на печкѣ — храпитъ спящій Феофанъ, дышетъ тяжело, какъ больной, постанываетъ.

А съ чистой половины, гдѣ съ дѣвками и мужиками пьянствуетъ Яковъ, глухо доносится визгъ нѣсколькихъ гармоникъ, отрывки пѣсенъ и непрерывный дробный стукъ каблуковъ. Повидимому, тамъ пляшутъ, но топотъ настолько непрерывенъ, непонятенъ въ своей непрерывности, что постепенно начинаетъ казаться чѣмъ-то угрожающимъ, зловѣщимъ, небезопаснымъ. Либо изба сейчасъ развалится, либо это не танцуютъ, а дѣлаютъ что-то другое — дурное и жуткое. Можетъ быть убиваютъ—или сейчасъ убьютъ—кого-то.

Отворяется дверь въ сѣнцы и входитъ Нюша,—востроносая дѣвка-подростокъ лѣтъ пятнадцати.

Нюша. Барышня, а барышня!

Маргарита (тихо) Чего тебѣ? Ступай.

Нюша. А вы тутъ, барышня? Идите къ намъ.

Маргарита. Зачѣмъ лѣзешь? Иди себѣ, иди.

Нюша. Сейчасъ. Сидитъ барышня на лавочкѣ въ пятточекъ закутамши. Это Митрофанъ храпитъ?

Маргарита. Феофанъ.

Нюша. Ишь, какъ дышетъ то, болѣнъ должно. Это онъ водку пилъ? Онъ, кому же больше. Одинъ стаканчикъ только и выпилъ. Огурцы.

Маргарита. Ну чего прилѣзла, говорю, иди.

Нюша. Сейчасъ. И какъ же вамъ тутъ не скучно, барышня? Ишли бы къ намъ, у насъ весело, что жъ вы тутъ сидите.

Маргарита. Нездорова.

Нюша. Нездорова?

Садится.

Маргарита. Нездорова.

Нюша. А то шли бы къ намъ, барышня, у насъ весело, мужики пляшутъ, весело. Пьяни всѣ, и дѣвки пьяни распьяни. А вы ничего и не пьете, барышня, наливочки бы выпили.

Маргарита. А ты пила?

Нюша. Ни ни единой капельки, и не притронулась даже, я молода еще. Меня Яковъ Иванычъ угощалъ, угощалъ, просилъ, просилъ, улещивалъ, улещивалъ, а я и не стала. Молода я ешще.

Маргарита. И не надо. Тебя какъ звать?

Нюша. Нюша. А васъ, барышня, я знаю какъ зовутъ, да не помню.

Маргарита. Я не барышня, такая жъ мужичка, какъ и ты.

Нюша. А ручки-то бѣленькія.

Маргарита. Не работаю, оттого и бѣленькія.

Нюша. А отчего же вы не работаете?

Маргарита. Любопытная ты.

Нюша. Любопытная я. Оттого должно быть и не работаете, что работы такой нѣтъ. А можетъ и не умѣете ничего и дѣлать то. Ахъ ты, угодники святители, какъ топочутъ то, всю избу завалютъ.

Маргарита. Это они пляшетъ? Какъ же это могутъ они безъ отдыха, я ужъ прислушиваюсь, прислушиваюсь. Не дерутся?

Нюша. Нѣтъ, пляшутъ. И какая вы барышня: отдыхать? Кто жъ отдыхаетъ, когда пляшетъ, и что вы такое говорите!

Маргарита. А ты плясала?

Нюша. Молода я ешше, затолкаютъ. А отчего Митрофанъ такъ храпитъ, мнѣ даже страшно слушать?

Маргарита. Боленъ онъ.

Нюша. Храпитъ, храпитъ, а потомъ и сдохнетъ. Это его домовой душитъ, зачѣмъ пришелъ, говоритъ, тутъ тебѣ, говоритъ, не мѣсто, говоритъ. Барышня, а много у Якова Иваныча денегъ?

Маргарита. Много.

Нюша. Теперь не много, онъ на родинѣ много роздалъ, родителямъ двѣ тысячи далъ, дѣвкамъ подарки сдѣлалъ, одной бабѣ такъ сразу полтораста рублей и отвалилъ, не поперхнулся. Ужъ такой онъ щедрый.

Маргарита. А откуда ты знаешь?

Нюша. Всѣ говорятъ. Барышня, а зачѣмъ урядникъ съ нимъ водку пьетъ, прохлаждается, и саблю снялъ?

Маргарита. Не знаю.

Нюша. Попьетъ, попьетъ, а потомъ и въ городъ поведетъ, ручки связамши.

Маргарита. Ну что ты мелешь, ну что ты мелешь! Иди-ка ты себѣ, иди.

Нюша. Сейчасъ. Барышня, а вы очень любите Якова Иваныча?

Маргарита. Очень. Иди, тебѣ говорю.

Нюша. Сейчасъ. Его и всѣ любятъ, такъ ужъ любятъ, и ума лишились, такъ ужъ любятъ. Полюбятъ, полюбятъ, а

потомъ и разлюбятъ... Барышня, а у насъ Митрей удавился въ банѣ, сняли, а онъ ужъ и закостенѣлъ.

Маргарита. Когда?

Нюша. Давно ужъ, лѣтомъ еще. Такъ я пойду. А то пошли бы и вы барышня, у насъ весело. — Барышня, а гдѣ жъ ваши платья, не вижу я что то?

Маргарита. Да пойдешь ты или нѣтъ? Иди, и Якову Иванычу скажи, чтобы пришелъ. Скажи, я зову.

Нюша. Скажу. Прощайте, барышня.

Маргарита. Прощай.

Нюша уходитъ, посматривая на печку, гдѣ храпитъ Феофанъ.

Минутная пауза. Топотъ пляшущихъ, пѣсни.

Феофанъ (во снѣ). Ммм... О Господи, Владыко жи... Мм... батюшки...

Быстро входитъ Яковъ, сильно навеселѣ.

Яковъ. Что надо? Звала?

Маргарита. Охъ, я больше не могу, Яковъ! Я разсудку лишусь. Что вы тамъ дѣлаете всѣ?

Яковъ. Пляшемъ, что жъ дѣлаемъ.

Маргарита. Пляшете? Охъ, а мнѣ все кажется, что тамъ убиваютъ кого-то. Даже стоны я слышала, такъ и кричитъ, такъ и заливается. Яша, я разсудку лишусь! Поѣдемъ, Христа ради.

Яковъ.. Куда жъ на ночь ѣхать? Завтра и поѣдемъ. Легла бы ты.

Маргарита. Не могу.

Яковъ. Такъ въ избу пойдемъ.

Маргарита. Не могу! Ничего не могу, землю подъ собой потеряла я. Скоро годъ мы съ тоою мыкаемся, и все мы идемъ, и все мы ѣдемъ...

Яковъ. А никуда не пріѣзжаемъ? Вѣрно.

Маргарита. И все мы ѣдемъ, и все мы кружимъ, петля на петлю нанизываемъ, слезу къ слезѣ причитаемъ. А кому мои слезы солоны? и не человѣкъ будто плачетъ, а

ручеекъ-рѣчечка шумитъ, и нѣтъ на этотъ шумъ вниманія. А ты все пляшешь, какъ изступленный — и что же это? И засыпаю — ты пляшешь, и проснулась я — а ты все пляшешь, каблучками постукиваешь...

Яковъ. Расплясался, значитъ.

Маргарита. А кругомъ оглянусь: Господи! — и стѣны пляшутъ, круги чертятъ. Сейчасъ легла я на лавку, платкомъ съ головой укрылась, забыться думала, — а полъ такъ весь и дырчитъ дыр-дыр-дыр. — Лишусь я разсудку, Яковъ, плохо тогда тебѣ будетъ.

Яковъ. Нѣтъ плохого, хуже хорошаго.

Маргарита. Не усмѣхайся, Яковъ!

Яковъ. А отчего бы и не усмѣхаться?

Маргарита. Наплачешься!

Яковъ. Кому слезы, а мнѣ все смѣхъ, Маргарита Ивановна. Эхъ, и посмотрю я на свои ноги: ну и что въ нихъ такого? Ноги, какъ ноги въ сапожкахъ. А вотъ пляшутъ поди ты! — будто чортъ ихъ ключемъ завелъ, такъ и скачутъ, такъ и перебираютъ. Отрубить бы ихъ, а?

Маргарита. Что жъ: будетъ конецъ?

Яковъ. Будетъ! Ты мнѣ начало покажешь, а тогда и я тебѣ конецъ покажу, за мной не пропадетъ. Эхъ, бабочка, милая, ты не скули, а плюнь да разотри! И развѣ я съ тобой не согласенъ?—во всемъ согласенъ. Скажешь завтра: Яковъ я желаю въ монастырь — пожалуйте, какъ скоро, такъ сейчасъ. Нашего Яшу хоть въ пирогъ, хоть въ кашу.

Феофанъ (ворочается). О, Господи, Владыко живота. Воды.

Маргарита. Сейчасъ проснется.

Яковъ. А что объ его чортъ! такъ я пойду, Маргарита.

Маргарита. Я его боюсь. Не ходи, Яковъ.

Яковъ. Пугала то огороднаго? Надоѣлъ онъ мнѣ. А скандалить будетъ—позови.

Феофанъ (хрипитъ). Воды. Испить бы мнѣ.

Яковъ. Чего тамъ бурлишь?

Феофанъ. Воды.

Яковъ. Гдѣ тамъ вода? Дай ему, Маргарита. Что хрипунъ, опился?

Маргарита подаетъ воду.

Феофанъ. Опился. (Пьетъ воду). Яшка!

Яковъ. Нѣту Яшки.

Выходитъ. Въ избѣ все тотъ же непрекращающійся тонотъ, гармоника.

Маргарита. Онъ ушелъ.

Феофанъ. Ушолъ. А кто жъ тутъ былъ?

Маргарита. Яковъ былъ. Ушолъ.

Феофанъ. А зачѣмъ ушолъ? Ну-ка, дай мнѣ водки.

Маргарита. Не дамъ. И такъ опился, несчастный!

Феофанъ. Дура! Воды дай. (Пьетъ). Желтая вода то. О, Господи, Владыко живота моего, и здоровъ же я пить, настоящій мученикъ. Водки дай!

Маргарита. Самъ возьмешь.

Феофанъ (кряхтя подымается). И возьму. Дура ты, ума у тебя нѣтъ. Какъ же ты можешь мнѣ отвѣчать, когда у меня запой? Ты мнѣ не дашь, а я тогда весь домъ разворочу. Мученикъ я!

Съ трудомъ слѣзаетъ съ печи, садится у стола, и долго не можетъ отдышаться. Смотритъ на водку.

Феофанъ. Вотъ она. А тронуть боюсь—рука не подымается. Смотрю — а рука то не подымается. Вотъ тебѣ и клюква. Можетъ быть я мертвый? — ну и царствіе небесное, со святыми вѣчный покой. Такъ я говорю? Такъ.

Наливаетъ одинъ за другимъ три стаканчика и пьетъ какъ воду. Беретъ огурецъ, разсматриваетъ и кладетъ обратно.

Феофанъ. Круглый. Ну и царствіе неоесное, вѣчный упокой (поетъ ровнымъ густымъ басомъ). Во пиру ль я была, во бесѣдушкѣ, я не медъ пила, не наливочку... Фухъ ты здорово! А который день я запилъ?

Маргарита. Пятый ужъ.

Феофанъ. А гдѣ мы?

Маргарита. Дворъ это постоялый. На тракту мы.

Феофанъ. Здорово. А куда трактъ идетъ?

Маргарита. Не знаю.

Феофанъ. И того здоровѣе! А отчего земля содрагается?

Маргарита. Пляшутъ.

Феофанъ. Кто?

Маргарита. Мужики пляшутъ. Яковъ народъ созвалъ, они и пляшутъ. Да и отвяжись же ты отъ меня, несчастный, не могу я тебя слышать.

Феофанъ. Здорово. А Яшка гдѣ? Яшку — каторжника позови!

Маргарита. Да, не ори же ты! Чего орешь?

Феофанъ. Яшку-каторжника позови, а то всю избу разворочу. Ну, зови! Пусть Яшка-каторжникъ попляшетъ, а я посмотрю.

Маргарита. Самъ попляши.

Феофанъ. И самъ попляшу (притоптываетъ ногой, сидя на мѣстѣ). Пруды бабка, пруды дѣдъ, хватился — хлѣба нѣтъ. ...Отчего мнѣ трудно дышать? Дыхну и нѣту, дыхну и нѣту.

Во время настоящаго разговора и дальнѣйшаго Феофанъ пьетъ не закусывая, постепенно хмѣлѣя.

Маргарита. Хоть бы ты, Феофанъ, бросилъ—ахъ, да измучили вы меня всѣ! Ахъ, да и мученица я! Ну, что ты пьешь? Вѣдь ты опухъ весь, какъ утопленникъ, вотъ-вотъ Богу душу отдашь.

Феофанъ. Какъ утопленникъ? Ишь ты, какой красавецъ. Ты не бойся, я не сдохну, я еще не все сказалъ. А вотъ какъ скажу, тогда и сдохну. Я ужъ скажу!

Маргарита. И отчего вы всѣ такіе—страшные вы всѣ, какъ звѣри лѣсные. Яшка пляшетъ, а ты — ну, что ты бурчишь? Ну, что ты мычишь, какъ заблудившійся? Вотъ я же слушаю—ну раскрой же ты ротъ по человѣчески, ну скажи ты мнѣ хоть какое-нибудь слово...

Феофанъ. Слово? Я тебѣ скажу!

Маргарита. Ну хоть словечушко одно! Вѣдь я царица передъ вами,—а кто чистоту мою почтилъ, хоть словечкомъ уважилъ? Грозитесь, зубы скалите, какъ свиньи, надъ головою моей плясы пляшете,—а кто невинностью моей прельстился, душенькѣ моей преклонился? Жестокіе!—Не человѣкъ я для васъ, а тварь ничтожная. Ну что ты? Ну какъ ты смотришь? Ну, ты же совсѣмъ какъ звѣрь.

Феофанъ. Нюхаю.

Маргарита. Что нюхаешь?

Феофанъ. Чѣмъ пахнетъ нюхаю. Дура, это у меня отъ водки глаза выперло, а я все понимаю. Видала?

Дѣлаетъ неопредѣленный жестъ надъ головой.

Маргарита. Что?

Феофанъ (таинственно). Небо опускается. Голова болитъ?

Маргарита. Болитъ.

Феофанъ. Ну то-то! Каменное оно. Ты можешь морду вверхъ поднять?

Маргарита. Могу.

Феофанъ (таинственно). А я нѣтъ. Кто тутъ былъ сейчасъ?

Маргарита. Никого. Яковъ.

Феофанъ. Ну, Яковъ. А еще кто?

Маргарита. Никого.

Феофанъ. (хитро) Никого? Хмъ, потѣха. А отчего жъ дышать не чѣмъ, если никого, ну ка, скажи-ка? А отчего-жъ ты трясешься, если тутъ никого не было? Былъ — былъ и опять придетъ.

Маргарита. Кто? Не пугай ты меня. Ну кто?

Феофанъ (таинственно). Называемый никто. Молчи! Яшку каторжника позови, пусть онъ намъ попляшетъ, а мы посмотримъ. Ну зови, зови же, а то изобу разворочу: силы у меня какъ у Самсона. Какъ двину—такъ сей храмъ филистимлянскій и набекрень.

Маргарита. Ну и пляшите съ нимъ.

Выходитъ. Феофанъ одинъ. Пьетъ и поетъ.

Феофанъ. Во ширу ль я была, во бесѣдушкѣ... А Яшка-каторжникъ! Встань передо мной, какъ листъ передъ травой.

Вошли Маргарита и Яковъ. Маргарита, закутавшись платкомъ садится въ уголъ.

Яковъ. Что тебѣ? Зачѣмъ зовешь?

Феофанъ. Пляши!

Яковъ. За этимъ?

Феофанъ. Пляши, Яшка каторжникъ! Вотъ тебѣ мой сказъ: и будешь ты отнынѣ и до вѣка плясать, какъ плясовица Иродова. Нѣтъ тебѣ, сквернавцу, моего прощенія,—лучше и не проси (кривитъ ротъ). Усмѣхаешься?

Яковъ. Усмѣхаюсь.

Маргарита (изъ угла). Наплачешься, Яковъ.

Феофанъ. Яшка! И вотъ тебѣ мой сказъ: и будешь ты усмѣхаться отнынѣ и до скончанія вѣка. Кто убилъ, говори?

Яковъ. Я.

Маргарита. Яковъ! Зачѣмъ болтаешь?

Яковъ. А что жъ онъ оретъ? Я убилъ. Слыхалъ? Чучело огородное.

Феофанъ (протяжно). Слыхалъ! Очень даже слыхалъ.

Яковъ. И еще убью, слыхалъ? Молчи, Маргаритка, — чего онъ разорался тутъ? Какую волю взялъ, подумаешь. А откуда ты ее взялъ? Ну и грѣшники, ну и адъ, ну и смола кипящая—ну, а еще что?

Феофанъ. Не боишься?

Яковъ. Тебя не боюсь и никого не боюсь, а себя боюсь. Да и себя не боюсь!—и кто я такой, Яшка дворникъ, что-бъ мнѣ себя ояться? Надоѣшь ты мнѣ окончательно — видишь ножъ (беретъ ножъ) — вотъ возьму и распорю тебѣ брюхо, духъ и выпущу. Что ты будешь безъ духа? Падаль!

Маргарита. Яша, я разсудка лишусь. Ножомъ грозишься! И что это, и гдѣ это я? Яшка, я головой биться начну.

Яковъ. Маргарита, не мѣшай — чего онъ тутъ оретъ, падаль! — Ты мнѣ, Яшкѣ дворнику, не указъ, падаль! — и никто мнѣ не указъ. Долженъ я тебѣ—такъ на—бери!

Выбрасываетъ изъ кармана поддевки смятыя бумажки, мелочь. Любуется собою.

Яковъ. Вотъ онъ я какой — видалъ?

Феофанъ. Душегубъ!

Яковъ. А гдѣ душа? А ты мнѣ ее показалъ? Гдѣ душа? Ты мнѣ ее покажи, ты мнѣ ее обнаружь, ты мнѣ ее на ладоночку положи—тогда можетъ быть я тебя и помилую, всѣхъ помилую. Нашего Яшу, хоть въ пирогъ, хоть въ кашу—а у нашего Яши изъ за васъ ноги отнялись, плясавши! Маргаритка, не мѣшай! Маргаритка, сиди тихо, пока я тебя не замѣтилъ! Охъ, кого замѣчу — да и плохо жъ тому будетъ. Вотъ я какой!

Маргарита. Охъ, голубчики, да гдѣ же свѣтъ? Темно мнѣ. Яшенька, милый, остановись—я сейчасъ головой биться начну!

Феофанъ. Яшка, стой не уходи!

Яковъ Я и стою—ослѣпъ? Вотъ онъ—я.

Въ дверь изъ сѣнецъ проскальзываетъ Нюша и въ истомѣ любопытства нестерпимаго замираетъ у порога. Въ началѣ ея не замѣчаютъ — только Яковъ мелькомъ взглядываетъ на нее и отводитъ глаза. Въ избѣ все тотъ же непрерывный и зловѣщій топотъ пляшущихъ, дикіе взвизги, отрывки пѣсенъ.

Феофанъ. Яшка, стой, не уходи. Дай сказать, Яшка! О, Господи смилуйся. Подаждь, Господи! Вразуми и наставь! Я слово то знаю. Я его такъ знаю, я тебѣ его такъ скажу... ну?

Яковъ. Ну? Не ты запрягалъ, чего нукаешь?

Феофанъ. Убилъ?

Яковъ. Убилъ.

Нюша. (быстро) Убилъ, говоритъ. Ну?

Маргарита. Ты опять, Яковъ?.. (Замѣтивъ Нюшу) А

ты зачѣмъ сюда? Кто тебя звалъ — опять прилѣзла. Пошла вонъ! Яша прогони ее.

Яковъ (равнодушно) Пускай ее.

Маргарита. Еще мало нахвасталъ, еще мало набалаговѣстилъ? Ну, хвастай, хвастунъ, не мнѣ отвѣчать! Самъ отвѣчать будешь.

Яковъ. Самъ и отвѣчу, вы не бозпокойтесь, Маргарита Ивановна.

Маргарита. Ступай вонъ, дѣвченка, слышишь?

Нюша. Сейчасъ. Деньги то по полу разсыпаны, это Яковъ Ивановичъ разсыпалъ. Онъ, кому же больше: такъ и сыпетъ денежки, такъ и сыпетъ.

Яковъ. (Феофану) Что жъ молчишь, долго мнѣ еще ждать? Поживѣй падаль, меня дѣвки зовутъ.

Феофанъ. Я сейчасъ!.. Ты подожди!..

Яковъ. Потерялъ слово то?

Феофанъ. Потерялъ, Яша.

Яковъ. Потерять, Яша! Ищи, падаль. Ты зачѣмъ меня тревожилъ? Ищи, а я папиросочку покурю.

Садится и закуриваетъ папиросу, сплевываетъ, съ небрежнымъ видомъ закладываетъ нога за ногу, разсматриваетъ отвернутую полу поддевки.

Яковъ. Дрянь сукнецо то, Маргарита, настоящаго цвѣту не имѣетъ, надо другое взять. Нюшка, хорошъ я?

Нюша. Ужъ и такъ хорошъ, ужъ и такъ хорошъ! Спрашиваетъ: Нюшка, хорошъ я?

Яковъ. Ну, то-то.

Феофанъ. Охъ, головушку мнѣ всю раздавило—нѣтъ во мнѣ воздыханія. О. Господи, Владыко!.. Океаны—моря, всѣ тверди земныя и небесныя—охъ, да и тяжело же мнѣ... Яковъ, ты что мнѣ сказалъ: и еще убью?

Яковъ. И еще убью. Ну?

Нюша (какъ эхо) Ну?

Феофанъ. Яшка! Не смѣй убивать!

Нюша (тихо и быстро). Яшка, не смѣй убивать.

Яковъ. А кто мнѣ запретитъ?—Ты?

Ф е о ф а н ъ. Я.

Н ю ш а. Я.

Я к о в ъ. А ты кто?

Н ю ш а. А ты кто?

Ф е о ф а н ъ. Да вѣдь нельзя же убивать—чудакъ! Не велѣно! Не велѣно, Яша, миленькай, голуочикъ!! Не велѣно!

Я к о в ъ. А кто не велѣлъ? Ты?

Ф е о ф а н ъ. И я не велѣлъ. Яшка, подлецъ, душегуобне смѣй убивать! Не смѣй, говорю! Смирись, Яшка!

Яковъ смѣется. Встаетъ, потягиваясь, бросаетъ папиросу и пригашаетъ ее ногой.

Я к о в ъ. А еще ничего не скажешь? А то мнѣ поплясать захотѣлось. Нюшка!

Н ю ш а. Что, Яковъ Иванычъ? Нюшка я.

Я к о в ъ. Нюшка, поди скажи, чтобы веселѣе играли: Яковъ Иванычъ идетъ.

Н ю ш а. Сейчасъ. Яковъ Иванычъ скажи идетъ. А деньги кто подберетъ, Яковъ Иванычъ?

Я к о в ъ. Подберутъ желающіе, не бойся. Пошла!

Ф е о ф а н ъ. Яшка!

Н ю ш а. Желающіе, говоритъ, подберутъ, не бойся, Нюшка! (Уходитъ).

Я к о в ъ. Такъ я иду, Маргарита.

М а р г а р и т а. Иди.

Ф е о ф а н ъ. Яшка!

Я к о в ъ. Борова этого постереги, какъ бы пожару не надѣлалъ съ пьяныхъ глазъ. А ты не пойдешь?

М а р г а р и т а. Нѣтъ.

Яковъ дѣлаетъ шагъ къ двери, но останавливается и черезъ плечо, презрительно смотритъ на Феофана, страдательно выпучившаго глаза, на закутавшуюся Маргариту.

Я к о в ъ. Какъ это говорится, вы не слыхали: за душу мою, на вѣки погибшую, дай ей, Господи, отпущеніе грѣха И кто это сказалъ — вотъ ужъ не помню, дай Богъ память?

Такъ, человѣчекъ одинъ. За душу, говоритъ, на вѣки погибшую, дай ей отпущеніе грѣха. — Молчите? — Ну и молчите, дьяволъ васъ побери — тля вы разнесчастная! Тьфу.

Выходитъ, гнѣвно распахнувъ не сразу поддавшуюся дверь.

Яковъ. Ты еще, проклятая!

Слышно въ отворенную дверь, какъ онъ еще въ сѣняхъ запѣваетъ: «Д-эхъ, погибъ я мальчишечка, да погибъ я навсегда»... затѣмъ хаосомъ звуковъ врывается топотъ, смѣхъ, взвизги и гаситъ еще разъ гдѣ то высоко взметнувшуюся пѣсню.

Маргарита встаетъ, закрываетъ дверь — послушавъ минуту — и снова садится въ уголъ; лица ея не видно.

Ѳеофанъ. Яшка!.. Ушелъ Яшка — каторжникъ, а кровь оставилъ. Кровь то оставилъ, а? Ну и водка вся, всю я выпилъ. Водки дай, слышь ты, а то всю избу разворочу. Звѣрь я теперь, а не человѣкъ! У-ухъ!

Съ силой ударяетъ кулакомъ по столу.

Ѳеофанъ. Мученикъ я!

Вторично, но уже слабѣе ударяетъ по столу. Тупо смотритъ на повалённую бутылку, пытается поставить ее, но бросаетъ, не можетъ.

Ѳеофанъ (плачущимъ голосомъ). Эхъ, граде святой Іерусалиме! Ангелы небесные! птички Божіи да возьмите вы меня на крылушки, да отнесите вы меня куда-нибудь... силушки во мнѣ не стало, ослабъ я, какъ робеночекъ махонькій. Какъ робеночекъ махонькій, безтѣлесный... (плачетъ, потомъ бьетъ кулакомъ по столу). Не хочу, чтобъ убивали! Нѣтъ моего приказа! Слышишь, Яшка!

Маргарита подходитъ, внимательно смотритъ въ лицо Феофана.

Маргарита. Феофанъ, голубчикъ!.. Ты понимаешь что нибудь—ну что ты такъ смотришь?

Феофанъ. Понимаю.

Маргарита. Слушай, я умереть хочу, ты можешь меня благословить? Благослови.

Феофанъ. А зачѣмъ благословить?

Маргарита. Отца у меня нѣтъ - ну? Страшно мнѣ умирать, голубчикъ.

Феофанъ. А когда умереть?

Маргарита. Сегодня.

Феофанъ. Могу. (Поетъ) Во пиру ль я была, во бесѣдушкѣ,—я не медъ пила...

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

На сценѣ будуаръ и опочивальня княгини де Бурбоньякъ. Обѣ комнаты представляютъ въ сущности одно цѣлое, отдѣлены другъ отъ друга только аркой и тяжелымъ бархатнымъ занавѣсомъ.

Будуаръ небольшая, но высокая съ лѣпнымъ потолкомъ, довольно просто и со вкусомъ обставленная комната. Мягкая мебель, ковры, на столикѣ живые цвѣты въ корзинѣ. Въ моментъ открытія занавѣса въ будуарѣ темно, и только на коверъ ложится мягкая полоса свѣта изъ спальни.

Въ спальнѣ горничная Мери—въ черномъ платьѣ, бѣломъ чепчикѣ и передникѣ, приличная дѣвушка—готовитъ постель для княгини. Постель пышная, высокая, торжественная, подъ балдахиномъ; на послѣднемъ вышитъ большой, бросающійся въ глаза гербъ князей де Бурбоньякъ. Горитъ только одна лампочка надъ постелью. Въ тѣни туалетный столъ; свѣтъ играетъ въ фацетахъ круглаго туалетнаго зеркала. Разноцвѣтными огнями красными и зелеными горятъ лампады у большого рѣзного кіота.

Въ будуаръ входитъ экономка княгини, Фанни Карловна.

Экономка. Мери! Княгиня идутъ. У васъ все готово?

Горничная. Все. Только питье еще не поставила. Я сейчасъ, Фанни Карловна.

Экономка. Ахъ, да какъ же такъ, княгиня будутъ сердиться.

Горничная. Я сейчасъ.

Экономка. Постойте! (быстро осматриваетъ все). Все на мѣстѣ? Такъ, такъ. А пеньюаръ?

Горничная. Вотъ онъ.

Экономка. Ну развѣ можно такъ класть, сколько я васъ учила, Мери! (Поправляетъ). Ну, ну, теперь некогда уже. Идите. Постойте: зажгите свѣтъ въ будуарѣ. Такъ.

Гаситъ свѣтъ въ спальнѣ; остаются только мерцающія лампады. Затѣмъ выходитъ въ будуаръ, гдѣ горничная уже дала полный свѣтъ.

Экономка. Идутъ! Мери, дверь...

Горничная открываетъ дверь: входитъ Василиса Петровна, опираясь на руку воспитанницы Лели, хорошенькой дѣвушки, бывшей институтки, дочери очень благородныхъ, но бѣдныхъ родителей.

Вас. Петр. Это вы, Фанни Карловна?

Экономка. Я, ваше сіятельство.

Вас. Петр. Лелечка, а мой платокъ?

Леля. Здѣсь, maman.

Вас. Петр. А флакончикъ? Забыла?

Леля. Ахъ, душечка, maman, забыла. Я сейчасъ. Онъ въ гостиной, на столикѣ.

Вас. Петр. Ну ужъ забыла, такъ нечего, Мери принесетъ. Мери, принесите флакончикъ—вы знаете?

Горничная. Знаю, ваше сіятельство.

Горничная выходитъ.

Экономка. Мнѣ можно идти, ваше сіятельство?

Вас. Петр. Нѣтъ, постойте. Впрочемъ... идите. Нѣтъ постойте. На завтрашній день я всѣ распоряженія сдѣлала? Ахъ, да: не забудьте же послать въ монастырь карету, за матерью Евгеніей. Скажите кучеру, чтобы къ концу обѣдни, да что-бъ лошадей не гналъ.

Экономка. Я ужъ сказала, ваше сіятельство. Кучеръ знаетъ.

Вас. Петр. Ну идите. Спокойной ночи, Фанни Карловна. Лелечка!

Экономка. Спокойной ночи, ваше сіятельство.

Вас. Петр. Лелечка!.. это вы, Мери? Поставьте на столикъ въ спальнѣ или нѣтъ, дайте лучше сюда. Ступайте.

Горничная уходитъ. Василиса Петровна садится въ кресло, закрываетъ глаза и нюхаетъ изъ флакончика.

Леля. Вы устали, maman?

Вас. Петр. Не знаю, милочка, такъ что то... (открывая глаза и утомленно обводя ими комнату). Ты не находишь милочка, что здѣсь больше шелъ бы цвѣтъ somon, нежели голубой?

Леля. Ахъ, нѣтъ, maman, ну что вы! Здѣсь хорошо, какъ въ раю, maman. А вы, maman, ангелочекъ, душечка, красавица! Ну что-жъ мы будемъ дѣлать, спать еще такъ рано... хотите я вамъ почитаю, maman?

Вас. Петр. Нѣтъ, я сегодня такъ много читала, даже глаза устали.

Леля. Ахъ, миленькіе глазки, ну зачѣмъ же вы мучились? Миленькіе глазки, хорошенькіе глазки, любимые глазки, зачѣмъ вы сами читаете? Не надо! Я не хочу, чтобы вамъ было больно.

Становится на колѣни, беретъ руки Василисы Петровны и съ восхищеніемъ смотритъ на нее.

Вас. Петр. Ну, ну, Лелечка, какая ты восторженная.

Леля. Maman, у васъ рѣшительно чудные глаза.

Вас. Петр. Развѣ?

Леля. И вы еще спрашиваете, maman! Ахъ, еслибы я была этотъ вашъ противный князь, я бы всю жизнь стояла передъ вами на колѣняхъ. Отчего онъ не стоитъ на колѣняхъ? У, какой противный!

Вас. Петр. Ты глупая дѣвочка, Леля. Встань! И нельзя быть такой наивной, ты уже не институтка.

Леля. Ну и встала. Вы на меня сердитесь, maman?

Вас. Петр. Нѣтъ, душечка, я не сержусь, но нельзя такъ некрасиво выражаться о князѣ. Князь не можетъ зани-

маться тѣмъ, чтобы стоять на колѣняхъ передъ дамой, глупая дѣвочка: у него и безъ насъ заботъ много. Я уже говорила тебѣ, что онъ заграницей при одномъ дворѣ и у него очень важная миссія. Я право не могу сказать тебѣ, какая миссія, мы женщины плохо разбираемся въ государственныхъ дѣлахъ, но очень, очень важная. Что то на счетъ войны.

Леля. Maman, я его боюсь. Онъ сѣдой, страшный! И онъ такъ на насъ смотритъ—какъ побѣдитель!

Вас. Петр. И опять глупости, Леля. И вовсе не сѣдой князь, а такой красавецъ, что ты бы, дурочка, ослѣпла.

Леля. А какіе у него глаза, maman?

Вас. Петр. Глаза? Карiе.

Леля. Ахъ, какая прелесть!

Вас. Петр. Конечно прелесть, но не въ этомъ дѣло, душечка. Намъ женщинамъ достаточно красивыхъ глазъ, а мужчина, князь совсѣмъ, совсѣмъ другое. Я иду въ спальню, дай свѣтъ, Леля.

Леля. Сейчасъ, maman.

Бѣжитъ въ спальню и зажигаетъ свѣтъ.

Вас. Петр. (идя). Князь долженъ быть мужественъ и гордъ, онъ даже не имѣетъ права спускаться до такихъ мелочей, какъ какіе-то красивые глаза... Закрой свѣтъ въ будуарѣ, Леля. (Садится у зеркала и продолжаетъ говорить, смотря на себя). Правда, есть и другіе люди, высокаго очень званія, которые ведутъ себя совсѣмъ иначе, но я этого не понимаю. Скажу хоть о себѣ—ты слушаешь, Лелечка?

Леля. Ахъ, maman, Бога ради говорите о себѣ! Я такъ люблю, когда вы говорите о себѣ, это такъ поэтично.

Вас. Петр. (продолжая глядѣть на себя). Ты знаешь, что я хоть и благороднаго дворянскаго рода, но княгиня я только по мужу. И что же, Лелечка—этому даже трудно повѣрить, это совсѣмъ какъ сказка! Я и никогда не унижала себя, избави Богъ, но когда моей головы коснулась княжеская корона, когда я такъ высоко поднялась надъ людьми—только тутъ поняла я себя, Лелечка, только тутъ я себя оцѣ-

нила. Мнѣ даже трудно представить и я совсѣмъ не помню какая я была раньше... какая то странная,.. не помню.

Леля. А я знаю какая: вы всегда были душечка, maman!

Снова въ прежней позѣ становится на колѣни, беретъ руки Василисы Петровны и снизу вверхъ съ обожаніемъ смотритъ на нее. Василиса Петровна продолжаетъ, не сводя глазъ съ своего отраженія въ зеркалѣ.

Вас. Петр. Да, странная какая-то, не помню. Вѣроятно тогда я очень рѣдко смотрѣлась въ зеркало: я и лица своего не помню... или я не такъ причесывалась?

Леля. Ахъ, maman, вы такая красавица, я вамъ завидую, maman. Ну говорите еще, говорите!

Вас. Петр. Да. И какъ будто солнце, Лелечка, взошло надъ моей головою: понимаешь, такіе ослѣпительные лучи...

Леля. Понимаю, maman, говорите!

Вас. Петр. И какъ будто я взошла на высокую, высокую гору: понимаешь Лелечка—я вверху, а вся жизнь и всѣ люди далеко, далеко внизу. И вдругъ я все увидѣла и поняла: и зачѣмъ люди, и зачѣмъ слезы, и зачѣмъ людямъ нужень Богъ—раньше я это не совсѣмъ понимала. Богъ нужень, чтобы творить чудеса, и чтобы не было слезъ, это такъ ясно!

Леля. Я плачу, maman!

Вас. Петр. Да. Вотъ когда-нибудь, къ концу моей жизни, я пойду въ монастырь, приму схиму—я уже сдѣлала вкладъ, Лелечка, и тогда мнѣ все станетъ еще яснѣе, еще понятнѣе. Какъ ни высока гора, Лелечка, на которой я сейчасъ по милости Божіей—а есть еще выше: и какой видъ оттуда, какія необозримыя дали!..

Леля. Я плачу, плачу, maman!

Вас. Петр. Да. И тогда со мной свершится второе чудо, Лелечка. Я еще не совсѣмъ покорилась сейчасъ, я еще слишкомъ горда моимъ званіемъ, моею благородною кровью, но тогда... Тогда, какъ пыль, стряхну я съ себя всю гордость владыкъ земныхъ—и покорюсь, ахъ, какъ сладостно я покорюсь! Что такое я, человѣкъ: вотъ иногда у меня болитъ

сердце... не знаю, почему, но иногда у меня болитъ сердце, а тогда...

Леля. Maman, вы плачете?

Вас. Петр. Я отъ счастья плачу.

Леля. И я тоже.

Обѣ плачутъ: Лелечка въ ногахъ у княгини, та—продолжая смотрѣть на себя въ зеркало.

Вас. Петр. Ну, ну, перестань, Лелечка. Обѣ мы съ тобой глупыя, посмотрѣлъ бы кто на насъ.

Леля. Я не могу перестать, maman! Я тоже пойду въ монастырь! А отчего вы всегда въ траурѣ, maman? Трауръ такъ не корреспондируетъ цвѣту вашего лица!

Вас. Петр. (вставая). Ну хорошо, хорошо, милочка. Въ траурѣ? Развѣ я тебѣ не говорила, что у меня умеръ родственникъ, очень, очень почтенный человѣкъ... (припоминаетъ) да, уже скоро годъ. Вотъ на дняхъ будетъ годъ, тогда и сниму, а сейчасъ... надо Богу молиться и спать. Гдѣ моій флакончикъ?

Въ дверь стучатъ.

Леля. Вотъ, maman. Тогда и въ театръ поѣдемъ?

Вас. Петр. (прислушиваясь). Да постой же, Леля, не тараторь. Что это, кажется, стучатъ?

Леля. Да, maman, стучатъ.

Вас. Петр. Постой, не тараторь... Да, странно. Кто тамъ? Войдите.

Но тамъ очевидно не слыхали: стукъ продолжается.

Вас. Петр. Да что они тамъ!.. Лелечка, открой и узнай.

Леля. Сію минуту, maman.

Открываетъ дверь, пропуская горничную Мери. Горничная что-то быстро шепчетъ.

Вас. Петр. (изъ спальни). Ну что же вы тамъ? Лелечка! Это вы, Мери? (Входитъ въ будуаръ).

Леля. Да, maman, тамъ...

Вас. Петр. Что тамъ? Какъ это глупо, Леля. Дай свѣтъ, пожалуйста, я ничего не вижу. Ну что вы, Мери, что вамъ надо?

Горничная. Тамъ, ваше сіятельство...

Вас. Петр. (перебивая). И сколько разъ я вамъ говорила, Мери, чтобы меня не безпокоить въ этотъ часъ. Если что-нибудь забыли или ваша Фанни Карловна напугала, то можете завтра, а не барабанить въ дверь.

Горничная. Тамъ двое пришли, ваше сіятельство. Просятъ принять ихъ.

Вас. Петр. Двое? Вы съ ума сошли, Мери. Какіе: двое? Когда докладываютъ, то надо говорить фамилію, а не двое.

Леля. Мамочка, я боюсь сумасшедшихъ! Это сумасшедшіе?

Вас. Петр. Оставь, Леля. Ну?

Горничная. Я имъ говорила, что поздно, а они просили записку передать. Вотъ.

Вас. Петр. Какую еще записку? Дайте сюда. Гдѣ мой лорнетъ, Леля, подай пожалуйста. Двое! Ну куда же вы, Мери, я вамъ еще ничего не отвѣтила... Спасибо, душечка.

Продолжая укоризненно смотрѣть на горничную, разрываетъ конвертъ и читаетъ. Но при первыхъ же словахъ, взволнованно откладываетъ лорнетъ и дальше читаетъ такъ. Напряженно обдумываетъ.

Вас. Петр. Что такое? Да, да, вотъ что. Право не знаю... Ихъ двое, Мери?

Горничная. Да, ваше сіятельство.

Вас. Петр. Вотъ ужъ и не знаю я... какіе странные люди. Постойте, Мери. Это, Лелечка, наши дальніе родственники, ты ихъ не знаешь, изъ боковой вѣтви. Я ихъ помню, очень, очень бѣдные люди, но скромные и меня удивляетъ, какъ это вдругъ ночью...

Леля. Днемъ имъ неловко maman.

Вас. Петр. Ты думаешь? (разсматриваетъ письмо). Да, да, они такъ и пишутъ, что днемъ они не рѣшаются... я...

Бѣдные люди! Но нельзя же ихъ принимать въ гостиной: они будутъ смущаться, и вообще... Лелечка, другъ мой, я думаю, что это будетъ вполнѣ прилично, если я приму ихъ въ будуарѣ?

Леля. Я думаю, maman!

Вас. Петр. Правда, мой будуаръ предназначенъ только для интимныхъ друзей, но... Вы здѣсь, Мери? Да, такъ будетъ лучше всего. Послушайте, Мери, проводите ихъ сюда... Да куда же вы? Сперва закройте свѣтъ въ спальнѣ и задерните занавѣсъ, а потомъ уже и идите. И ты, Лелечка, иди, а то они будутъ стѣсняться, мой другъ. Они такіе... забитые!

Леля. Но я боюсь, maman. Всѣ бѣдные такіе злые.

Вас. Петр. Пожалуйста безъ глупостей, Леля. Поцѣлуй меня и иди, душечка, они скоро уйдутъ. Иди.

Цѣлуетъ Лелю и та выходитъ вслѣдъ за горничной. Василиса Петровна одна. Тревожно, съ нескрываемымъ страхомъ смотритъ на дверь, затѣмъ—при входѣ неожиданныхъ гостей—снова принимаетъ выраженіе спокойствія и какъ бы нѣкоторой надменности. А входятъ Зайчиковъ и князь де-Бурбоньякъ. Оба одѣты плохо. Зайчиковъ видимо боленъ, опухъ, расползся и, войдя, безъ приглашеній садится. Князь—какъ всегда.

Князь. Бонсуаръ, madame.

Вас. Петр. Бонсуаръ, монъ пренсъ!

Зайчиковъ (отдышавшись). Княгинюшка, матушка, простите великодушно. И что сѣлъ безъ разрѣшенія, и что ночью, такъ сказать, во мракѣ осмѣлился... Но жребій брошенъ, княгиня, и мы у вашихъ ногъ. Князь, дай мнѣ папиросу. Пермете?

Вас. Петр. Да, признаюсь я нѣсколько удивлена и вообще вы такъ странно выражаетесь: какой жребій? Князь, садитесь, прошу васъ. А вы, господинъ, господинъ...

Зайчиковъ. Бывшій антрепренеръ Иванъ Алексѣевичъ Зайчиковъ. Умираю, княгиня.

Вас. Петр. (подозрительно). Вы больны?

Зайчиковъ. Умираю. Такъ сегодня схватило, знаете, что вотъ осмѣлился ночью, во мракѣ, такъ сказать и при-

ть. Возьмите, княгиня!.. Князь, молчи мой другъ, не смѣешь, князь! Возьмите его, а то — пропадетъ!

Вас. Петр. Я не совсѣмъ понимаю васъ. Вы были за границей?

Зайчиковъ, За какой за-границей?

Вас. Петр. (настойчиво). Ну да: вы были съ княземъ за-границей!

Зайчиковъ (уныло). Ну за-границей, такъ за-границей. Не въ томъ суть, дорогая, а въ томъ, что занавѣсъ пора спускать. Умираю! Вотъ сейчасъ отдышался, а то... Да, княгиня, ваше сіятельство, такъ проходитъ слава міра сего. Былъ антрепренеръ Зайчиковъ, актеришка скверный, вралъ, лицемѣрилъ, подкопы дѣлалъ, водку пикулями закусывалъ, а теперь и нѣтъ его. Роскошь, забавы, свѣтлость коронъ, счастье и слава — все только сонъ! Эхъ, глупо! И это глупо. Наоврался я какъ старая лошадь и даже умереть прилично не умѣю. Глупо какъ.

Князь. Не волнуйся, дорогой.

Зайчиковъ. И это все глупо. Князь, достойнѣйшій другъ мой, отойди на минуту! Не мѣшай, я требую, наконецъ! Ну оглохни, ослѣпни, засни, наконецъ — и не мѣшай.

Князь. Хорошо, мой дорогой.

Въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ смотритъ на княгиню, затѣмъ садится у дальняго столика съ альбомомъ.

Вас. Петр. Вы меня поразили, Иванъ Алексѣевичъ. Правда, я совсѣмъ кажется забыла, и вдругъ ваше неожиданное появленіе...—но вѣдь вы же собирались за-границу, помню?

Зайчиковъ. Да, и за-границу собирались.

Вас. Петр. Такъ почему же вы здѣсь, Боже мой — какъ это дико! И ночью: я уже собиралась спать, какъ вдругъ стучатъ, какая-то записка... (Тихо). Но гдѣ же деньги, Иванъ Алексѣевичъ, гдѣ же деньги?

Зайчиковъ (громко). Деньги? Раздали, пропили, потеряли, слона покупали — почемъ я знаю, куда дѣвались эти деньги! Вначалѣ я еще помню, что-то такое выходило, я ужъ

начать труппу сбивать. Лѣтній театрикъ присмотрѣлъ, но — заскакалъ штандартъ! Фантастика, феерія, сонъ въ лѣтнюю ночь, восторгъ и упоеніе, но — мертвые сраму не имутъ! Что и вотъ моя заботушка, вотъ горе мое: вѣдь пропадетъ, княгиня! Заклюютъ, сожрутъ, унизятъ!

Вас. Петр. Кого унизятъ? Честное слово я не понимаю, что вы говорите: кого унизятъ?

Зайчиковъ. И не боюсь я смерти. Ну, какой можетъ быть судъ надъ антрепренеромъ Зайчиковымъ? Ступай, скажутъ, дуракъ, и больше не грѣши: ты много возлюбила, старая блудница. Но онъ — невиннѣйшій изъ людей, древній отпрыскъ! Смотрю на эту роскошь, на этотъ великолѣпнѣйшій бонтонъ, на васъ, княгиня, очаровательный цвѣтокъ — и гдѣ же, наконецъ, граница? Я васъ спрашиваю, княгиня: гдѣ же, наконецъ, граница?

Плачетъ.

Вас. Петр. Какая граница? Наконецъ я просто не могу этого позволить, господинъ Зайчиковъ. И я не виновата, что вы хотите умирать и какое, наконецъ, мнѣ дѣло до вашей смерти? Это смѣшно! Я очень рада, что князь, и наконецъ вы оказали мнѣ честь своимъ посѣщеніемъ, но я не могу допустить такихъ странныхъ разговоровъ. Князь, прошу васъ, это виды Рима — неправда ли какъ прекрасно? Вы не были въ Римѣ, князь?

Зайчиковъ. Выгоняете, княгиня?

Вас. Петр. Опять! Нѣтъ вы дѣйствительно больны, дорогой Иванъ Алексѣевичъ, вы просто бредите. Нѣтъ, я прошу васъ, настойчиво прошу, умоляю, чтобы вы оставались: мы посидимъ, поболтаемъ... Князь, тутъ есть еще альбомъ. Не хотите ли чаю, князь?

Князь. Мерси, мадамъ.

Вас. Петр. Если вамъ нужно что-нибудь дѣловое, Иванъ Алексѣевичъ, то можно завтра, или вообще какъ-нибудь иначе, но здѣсь, въ моемъ будуарѣ, гдѣ я принимаю только интимнѣйшихъ друзей и право [illegible] позвольте... Какъ вамъ нравится [illegible] Иванъ Алексѣевичъ?..

Мы завтра обсудимъ, что надо и я все сдѣлаю для вашего протеже, но сейчасъ... Какъ вамъ нравится нынѣшній сезонъ, Иванъ Алексѣевичъ?

Зайчиковъ. Нынѣшній сезонъ? Да—чепуха, княгиня. Все какія-то, знаете, потуги, модернъ... Такъ завтра, ваше сіятельство?

Вас. Петр. Вотъ именно, вы совершенно правы: модернъ. Ахъ да,- какъ же я забыла! Князь, я вамъ и не говорила, что я взяла воспитанницу: очаровательная дѣвушка: Иванъ Алексѣевичъ!

Зайчиковъ. Доброе дѣло, ваше сіятельство. Изъ хорошей семьи?

Вас. Петр. Прекрасная семья, очень порядочные люди, но, знаете, бѣдность, отсутствіе средствъ. Конечно, это все не могло не отразиться на характерѣ милой дѣвочки...

За дверью какой-то шумъ, впрочемъ очень слабый, княгиня его не слышитъ.

Вас. Петр. . . . . но я увѣрена, что мое вліяніе... Здѣсь, главное... Что такое, на что вы смотрите, князь?

Вслѣдъ за княземъ переводитъ глаза на дверь. Дверь открывается и входитъ Яковъ: за нимъ испуганная и нѣсколько возмущенная горничная, пытающаяся удѣлить его.

Яковъ (горничной). Ничего, ничего, барышня, я въ отвѣтъ. (Закрываетъ за собою дверь). Здравствуйте, ваше сіятельство.

Вас. Петр. (пораженная). Яковъ! Что это значитъ? Это ты, Яковъ?

Яковъ. Я—сразу го не признали? Здравствуйте, ваше сіятельство.

Вас. Петр. Но какъ ты попалъ сюда?

Яковъ. Извините, не разсчиталъ, что у васъ гости. Но, какъ вы изволили говорить, Василиса Петровна, чтобъ я заходилъ когда, такъ вотъ осмѣлился побезпокоить—извините ужъ. Но конечно, могу и уйти, если прикажете.

Вас. Петр. Нѣтъ, оставайся, разъ ужъ пришелъ. Меня удивляетъ только, что ты такъ поздно, почти уже ночь... Князь, это мой протеже, Яковъ изъ деревни. Садись, Яковъ.

Яковъ (не садясь). Ночь — это справедливо. Да только я прямо съ желѣзной дороги и какъ не имѣю въ городѣ ночлега... Можетъ быть разрѣшите переночевать въ дворницкой, Василиса Петровна?

Вас. Петр. (нѣсколько успокаиваясь). Ну конечно, пожалуйста. Иванъ Алексѣевичъ, вы знаете Якова?

Зайчиковъ. Какъ же, имѣлъ честь. (Оживляясь). Помнишь, Яковъ, свадьбу, эхъ, и погуляли мы тогда! Умираю я, братъ.

Яковъ (вѣжливо). Зачѣмъ же, поживите.

Зайчиковъ. Умираю. Вотъ князя, друга покидаю, видалъ? Эхъ и погуляли мы тогда... Помнишь, Яша, ты подъ конецъ пѣсенку какую-то спѣлъ намъ, удивительная пѣсенка, ты не помнишь, какъ это?

Яковъ (усмѣхаясь). Это, какъ говорится: эхъ, погибъ я мальчишечка, погибъ я навсегда. Эта самая?

Зайчиковъ. Эта самая. Эхъ, и хорошо ты тогда пѣлъ! Разбойничьи пѣли! Рыдали всѣ! И я самъ рыдалъ. Вотъ, княгиня, талантъ! Какъ же какъ же помню, тогда еще тебѣ генералъ снялъ золотыя часы и подарилъ: на, говоритъ, Яковъ—носи.

Яковъ (усмѣхаясь). Нѣтъ, этого не было.

Зайчиковъ. Не было? Ну значитъ опять напугалъ, откуда-нибудь изъ другого мѣста. Все это ужъ было когда-то, но только не помню когда... Умираю я, Яковъ, князя—друга покидаю—видалъ?

Вас. Петр. (волнуясь). Извините, Иванъ Алексѣевичъ, вы его задерживаете... Ты уже уходишь, Яковъ? Ну спасибо, что навѣстилъ. А Маргариточка съ тобою, отчего она не пришла? Славная дѣвушка. До свиданія, Яковъ.

Яковъ. Маргарита Ивановна умерли.

Вас. Петр. (вздрогнувъ). Да? Ну царствіе ей небесное. Значитъ ты одинъ?

Яковъ. Одинъ. А у васъ хорошо, Василиса Петровна.

посмотрѣть я. Домъ большой, порядокъ и дворъ такой чи стый. Кто у васъ дворникомъ, Василиса Петровна?

Вас. Петр. Дворникомъ? право не помню. Кажется Ахметъ.

Яковъ. Татаринъ?

Вас. Петр. Татаринъ. Татаре очень честные люди.

Яковъ. Хорошъ дворикъ. (Тихо). Василиса Петровна нельзя этого барина убрать: настоятельно надо.

Вас. Петр. (однимъ вздохомъ). Что такое?

Яковъ. За мной полиція гонится, сейчасъ у васъ будетъ (громко). Хорошъ дворикъ, чистый.

Вас. Петр. Боже мой! Простите, господа, что я... Я сейчасъ... Ахъ, Яковъ, я тебѣ еще не показывала тамъ одно письмо... Я сейчасъ, поди сюда.

Хватаетъ Якова за рукавъ и тащитъ его въ спальню.

Въ будуарѣ:

Зайчиковъ сидитъ, положивъ голову на руки: на цыпочкахъ подходитъ князь, наклоняется.

Князь. Тебѣ не дать воды, дорогой?
Зайчиковъ. Нѣтъ. Сядь.
Князь. Намъ надо уходить.
Зайчиковъ. Сядь. Дай руку.

Оставаясь въ томъ же положеніи, береть руку князя и прижимаетъ къ щекѣ. И есть въ ихъ позѣ нѣчто такое, что смутно и трогательно напоминаетъ тоскующихъ въ клѣткѣ обнявшихся обезьянъ.

Нѣкоторое время спустя: оба, Зайчиковъ и князь испуганно прислушиваются къ происходящему въ спальнѣ. Зайчиковъ привсталъ, князь положилъ ему руку на плечо: тише!

Зайчиковъ. Что тамъ? Молчатъ.

Князь. Не знаю. Что это?

Въ спальнѣ горитъ только лампочка съ краснымъ абажуромъ на столикѣ у кровати. Войдя, княгиня дышетъ тяжело, пытается говорить, но глотаетъ слова. Продолжаетъ держать Якова за руку.

Яковъ. Куда это вы меня? А! Сейчасъ будутъ. Я къ вамъ ужъ черезъ заборъ перемахнулъ, за пятки хватали. Ну?

Вас. Петр. Что?

Яковъ. Ну, говорю. Гонятся! Черезъ заборъ я.

Вас. Петр. Кто гонится? Кто черезъ заборъ? Яша, ты что говоришь: гонятся—черезъ заборъ—кто?

Яковъ. Ошалѣла бабочка! Ну, ну, не дрожи: можетъ сейчасъ, а можетъ и срокъ дадутъ — народъ не быстрый. Эхъ! Ну, ну, не дрожи: деньги надо прибрать, деньги прибери. Да этихъ прогнать слѣдуетъ: разсѣлись не во-время, не до нихъ. Ну?

Вас. Петр. Какихъ этихъ? какая бабочка? Пусти мою руку!

Яковъ. Да это вы меня держите. Слушай: Маргаритка-то удавилась, а Феофанъ заблаговѣстилъ, теперь самъ сидитъ: подлецъ! Ну, ну, поживѣй, говорю, чего киснешь. Суда бояться нечего, а деньги сохрани. Охрипъ я что-то, отъ водки должно быть. Постель-то какая, я не видалъ такихъ. Ваша?

Вас. Петр. Я не убивала.

Яковъ. Я и говорю — я убилъ. Теперь нечего размазывать, и безъ насъ размажутъ. — Такъ-то накрасютъ, что и себя не узнаешь — мазилы ничтожные! Ну?

Вас. Петр. Кто идутъ? (Падаетъ на колѣни и жадно цѣлуетъ Яшину руку, быстро шепчетъ). Яшенька, голубчикъ, милый, спрячь меня, спрячь меня...

Яковъ. Эхъ руки-то не надо, нечистыя онѣ. Оставь.

Вас. Петр. Нѣтъ, надо, надо, надо. Руки, ноги тебѣ поцѣлую — рабой твоей буду — эхъ, спрячь меня, спрячь меня...

Яковъ (слегка гладитъ ее по головѣ, наклонившись). Да, милая ты моя, да не малодушествуй такъ! Ну и постра-

дашь такъ что изъ этого, пострадай, молчачь, утѣшься. Мнѣ трудно, страдать я не умѣю, а тебѣ что! Ну? И Бога не бойся, передъ Богомъ я за тебя заступникъ а людей что! Ну? Чтожъ ты молчишь?

Слегка отстраняется отъ Василисы Петровны и та безчувственно и вяло, какъ трупъ, валится на коверъ.

Яковъ. Василиса Петровна!

Молчаніе.

Яковъ. Послушайте меня: Василиса Петровна!.. Такъ. Что жъ мнѣ съ ней дѣлать?

Молчаніе. Яковъ быстро оглядываетъ комнату, мебель, зеркало. Глядитъ на лежащую у его ногъ Василису Петровну и снова съ нѣкоторымъ любопытствомъ озирается. Какъ будто слегка задумывается или сдѣлать такое лицо. Дѣлаетъ шагъ къ занавѣсу.

Яковъ (негромко). Эй! Князь! Баринъ! —поди-ка сюда.
Зайчиковъ. Слышишь?

Оба входятъ въ спальню, сразу ничего не понимаютъ.

Зайчиковъ. Гдѣ княгиня? Что такое?
Яковъ. Вотъ она—лежитъ.
Зайчиковъ. Умерла? Скончалась?
Яковъ. Да нѣтъ. Такъ. Сами посмотрите.

Василиса Петровна тихо стонетъ и приподымается на рукахъ, садится на полу и молча съ удивленіемъ оглядывается.

Яковъ. Жива.
Зайчиковъ. Вамъ дурно, княгиня? Позвольте, я... Князь, помоги. Дай же руку. Княгинюшка, что съ вами? Яковъ, ты не знаешь, что съ ней?

Князь хочетъ подать руку, но Василиса Петровна вдругъ отталкиваетъ ее, встаетъ быстро, кричитъ.

Вас. Петр. Яковъ! Зачѣмъ онъ пришелъ? Не надо! Яковъ! Это вы, князь, дайте мнѣ руку. Нѣтъ, не надо, не надо руку! Ахъ. Боже мой, что я такое хотѣла? (какъ слѣпая суется по комнатѣ, на мгновеніе задерживается у кіота). Боже мой, что я такое хотѣла. Я не убивала, я не убивала. Что я такое?...

Зайчиковъ (взволнованно). Надо же позвать людей! Князь!

Вас. Петр. (кричитъ). Не надо!! (Громко). Зажечь, надо зажечь—ахъ, какъ же вы не понимаете: это... чтобы былъ свѣтъ. Это! Это!

Князь зажигаетъ верхнюю лампочку, свѣтло.

Яковъ. Василиса Петровна, мнѣ надо идти. Я пойду.

Вас. Петр. (кричитъ). Нѣтъ!! (Обычно). Я не убивала.

Яковъ. Кто говоритъ.

Вас. Петр. Я не убивала. Князь! Иванъ Алексѣевичъ! Какъ я рада, что вы здѣсь. Я не убивала, онъ лжетъ. Онъ пришелъ, вы видѣли, и онъ говоритъ, что я убила...

Зайчиковъ. Ахъ, ты!..

Вас. Петр. Иванъ Алексѣевичъ, послушайте, Иванъ Алексѣевичъ! Онъ схватилъ меня за руку, вотъ здѣсь, и говоритъ, что я убила. Кого? (кричитъ). Я никого не убивала! Это онъ убилъ. Я никого не держала. Онъ — онъ хочетъ съ меня денегъ!

Зайчиковъ. А! Ты это что-же, разбойникъ? Ты это что?

Яковъ. А ты что? Уходили бы вы по добру по здорову, да и князя друга прихватили бы (оскаливаясь, въ позѣ). Тутъ, баринъ, не свадьба.

Зайчиковъ. А! Князь — звони! Надо людей! Звони!

Вас. Петр. Да! Онъ хочетъ съ меня денегъ! Онъ пришелъ и схватилъ меня за руку, вотъ здѣсь...

Яковъ. Она такъ не звони, слышишь? Эхъ! Раззвонились.

Вас. Петр. Князь! Вы помните, Иванъ Алексѣевичъ, вы помните? Вотъ это моя спальня. Вотъ это мои иконы, князь! Я никогда не позволяла себѣ неприличія — зачѣмъ же онъ говоритъ? Зачѣмъ онъ пришелъ?!

На продолжительный звонокъ князя вбѣгаютъ Лелечка, за ней экономка и горничная. Восклицаютъ безсвязно.

Вас. Петр. Лелечка!

Леля. Maman!

Вас. Петр. Лелечка (обнимаетъ ее и плачетъ). Онъ хотѣлъ съ меня денегъ. Это онъ убилъ!

Лелечка. Кого, maman? Я боюсь.

Зайчиковъ (горничной). Дворника, дворника! Ахъ ты! Нѣтъ, вы скажите: ворваться ночью... Каторжникъ!

Вас. Петр. Да, ночью. Пошелъ вонъ! Ты убилъ! Убійца!

Леля. Надо полицію.

Яковъ (оскаливаясь). Будетъ полиція, барышня, не хлопочите. А вы, Василиса Петровна, васъ не спрашиваютъ, вы бы ротикъ не открывали: ужъ очень вы его на Яшку разинули!

Зайчиковъ. Молчать, наглецъ! Князь!

Яковъ. А вы, баринъ, подальше: около меня горячо, пальчики можете обжечь, ваше сіятельство. Васъ не трогаютъ.

Вас. Петр. Нѣтъ, что онъ говоритъ. Онъ сумасшедшій! Кто идутъ — я спрашиваю, кто можетъ идти, а онъ говоритъ: идутъ. Кто смѣетъ идти, кто смѣетъ переступить этотъ порогъ: я здѣсь — княгиня. (Якову) Безумный, что ты говоришь! Зачѣмъ ты меня пугаешь, рабъ — мы, князья, даемъ отвѣтъ только Богу! Да какъ ты осмѣлился не только войти, холопъ! — а только взглянуть на меня! Холопъ! Холопъ!

Яковъ. Такъ. Ну вы тутъ Петрушку представляйте, а мнѣ пора. (Подмигиваетъ Зайчикову). Вѣрно, баринъ? Позвольте-ка пройти.

Входятъ горничная и дворникъ; экономка и Зайчиковъ радостно восклицаютъ: дворникъ!

Зайчиковъ. Дворникъ, бери его! Вяжи!

Яковъ. Дорогу. Эй, Ахметка, поросячье ухо ты это видалъ?

Вынимаетъ револьверъ; всѣ кромѣ князя и Василисы Петровны шарахаются въ сторону; горничная съ крикомъ выбѣгаетъ. Яковъ прячетъ револьверъ и безпечнятственно доходитъ до двери. Останавливается.

Яковъ. Такъ то лучше! А въ случаѣ чего, какъ это говорится, васъ тутъ свидѣтелей много: я убилъ Кулабухова старичка. Яшка дворникъ меня зовутъ. Одинъ убилъ ну? Эхъ, чтобъ васъ,—и проститься то не съ кѣмъ. Эй, Ахметка поросячье ухо: прощай, братъ! Да дворъ почище мети— эй Ахметка!..

Выходитъ.

Зайчиковъ. Дворникъ, держи! Каторжникъ!

Вас. Петр. Ушелъ? (громко) Яша, вернись!

Горничная (вбѣгая). Барыня... барыня... Тамъ...

Задохнувшись, валится на стулъ. Въ дальнихъ комнатахъ многочисленные глухіе выстрѣлы. Одинъ выстрѣлъ громче другихъ. Всѣ молча и съ ужасомъ смотрятъ въ открытую черную дверь.

Вас. Петр. (ползая на колѣняхъ и цѣлуя руки то князя, то дворника Ахмета, вскрикивая при выстрѣлахъ). Ай, спрячьте меня. Идутъ! Ну миленькіе, ну куда-нибудь, ну миленькіе... ай! Я убила, я убила. Спрячьте меня, я виновата, я не буду, я убила... ай! Идутъ! Ай!

ЗАНАВѢСЪ.

К. ЧУКОВСКІЙ.

ЭГО-ФУТУРИСТЫ

И

КУБО-ФУТУРИСТЫ.

I.

Какъ много у поэта экипажей! Кабріолеты, фаэтоны, ландо! И какіе великолѣпные, пышные! Ужъ не Герцогъ ли онъ Арлекинскій? Мы съ завистью читаемъ въ его книгѣ:

– Я приказалъ немедля подать кабріолетъ...

— Я въ комфортабельной каретѣ на эллипсическихъ рессорахъ...

— Элегантная коляска въ электрическомъ біенін эластично шелестѣла по шоссейному песку...

И мелькаютъ въ его книгѣ слова:

«Моторное ландо»... «Моторный лимузинъ»... «Графининъ фаэтонъ»... «Каретка куртизанки»...

И даже когда онъ умретъ, его на кладбище свезутъ въ автомобилѣ,—такъ увѣряетъ онъ самъ,—другого катафалка онъ не хочетъ для своихъ шикарныхъ похоронъ! И какіе ландо, ландолетты потянутся за его фарфоровымъ гробомъ!

II.

Это будутъ фешенебельныя похороны. За фарфоровымъ гробомъ поэта потекутъ въ сиреневомъ траурѣ баронессы, дюшессы, виконтессы, и Мадлена со страусовымъ вѣеромъ, и сиыьора Za изъ «Акваріума». О, воскресни, нашъ милый поэтъ! Кто, если не ты, воспоетъ наши будуары, журфиксы, муаровыя платья, экипажи? Кто прошепелявитъ намъ, какъ ты, галантный и галантерейный комплиментъ?

— Вы такая эстетная, вы такая бутончатая!—шепталъ ты каждой изъ насъ.—Властелинша планеты голубыхъ антилопъ!

И даже когда мы въ гостиной

въ желтой гостиной изъ сѣраго клена съ обивкою шелковой—

угощали визитеровъ кэксомъ, у тебя, какъ у Данте, въ душѣ возникали сонеты. Ты одинъ былъ нашимъ министрелемъ, и какъ граціозно-капризны бывали твои паркетныя шалости! Какъ мы жемчужно смѣялись, когда однажды ты заказалъ въ ресторанѣ мороженое изъ сирени (мороженое изъ сирени!) и въ лилію налилъ шампанскаго. Или вдругъ подарилъ намъ боа изъ кудрявыхъ цвѣтовъ хризантемъ! Забавникъ, ты любилъ увѣрять, что у тебя, въ твоей родной Арлекиніи, есть собственный придворный гаремъ:

У меня дворецъ пятнадцатиэтажный,
У меня принцесса въ каждомъ этажѣ!

и странно: тебѣ это шло, тебѣ это было къ лицу, какъ будто ты и вправду инкогнито-принцъ, и всѣ женщины твои одалиски, и это ничего, что у рябой мѣщанки ты снималъ въ Козьей Балкѣ дачу: эту дачу ты звалъ котэджемъ, а ея хозяйку сіятельствомъ; дворникъ у тебя превращался въ дворецкаго, дѣвка Маланья—въ субретку, и даже мы, бѣлошвейки, оказались у тебя принцессами:

— Я каждую женщину хочу опринцессить! -таковъ былъ твой гордый девизъ. Но что же дѣлать принцессамъ безъ принца? О, воскресни, нашъ милый принцъ!

III.

Тутъ непремѣнно случится великое чудо. Изъ гроба послышится голосъ, жуткій, мистическій голосъ того, кого мы такъ горько оплакиваемъ:

Гарсонъ, съимпровизируй блестящій файвъ о клокъ!

И шикарный дэнди-поэтъ, жеманно и кокетливо потягиваясь выпрыгнетъ изъ фешенебельнаго гроба:

Шампанскаго въ лилію! Шампанскаго въ лилію!

И закричитъ шоферу-похоронщику:

За чѣмъ же дѣло стало? Къ буфету, черный кучеръ!
Какъ хорошо въ буфетѣ пить кремъ де мандаринъ!

IV.

Многіе, конечно, догадались, что герой этой странной повѣсти нашъ фешенебельный, галантный поэтъ, левъ сезона, Игорь Сѣверянинъ.

Я только вчера прочиталъ его книгу, и теперь въ душѣ осколки его строфъ:

Ножки плэдомъ закутайте, дорогимъ, ягуаровымъ...
Виконтъ сомнѣвался въ своей виконтессѣ...
Вы прислали съ субреткою мнѣ вчера хризантэмы...
— Дворецкій вашъ... на мраморной террасѣ...
— Mignon съ Escamillio! Mignon съ Escamillio! Шампанское въ лиліи святое вино.

О, лакированная, парфюмерная, будуарно-элегантная душа! Онъ глядитъ на міръ сквозь лорнетъ, и его эстетика есть эстетика сноба. О чемъ бы онъ ни говорилъ: о Мадоннѣ, о звѣздахъ, о смерти, я читаю у него между строкъ:

— Гарсонъ! съимпровизируй блестящій файвъ о клокъ!

Его любимыя слова: фешенебельный, комфортабельный, пикантный. Не только темы и образы, но и всѣ его вкусы, пріемы, самый методъ его мышленія, самый стиль его творчества опредѣляется вѣерами, шампанскимъ, ресторанами, брилліантами. Его стихъ, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь какъ бы пропитанъ этимъ воздухомъ бара, журфикса, кабарэ, скэтингъ-ринка. Характерно, что онъ ввелъ въ нашу поэзію паркетное французское сюсюканье и стрѣлку называетъ пуантомъ,стулъ - піліантомъ, молнію -эклеромъ и даже разухабистую плясовую chanson russe. «Фіоль», «шалэ», «бушэ», «офлёрить», «эксцессёрка», «грезёрка», «сюрпризёрка» на такомъ жаргонѣ онъ пишетъ стихи, совсѣмъ какъ (помните?) madame de-Курдюковъ:

Вамъ понравится Европа.
Право, мѣшкать *иль не фо па.*
Отправляйтесь-ка въ Кронштадтъ.
А то будете *маладъ*...
Же не ве па, эсе нире па,
Же не манэсъ па де ла рѣпа.

И не странно ли, не изумительно ли, что все же, не смотря ни на что, его стихъ такъ магнетиченъ, магиченъ,

пьянящe-волнующe-сладостенъ! Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ, и вотъ подъ вульгарной личиною сноба царственный и властный поэтъ. О, почему я не дѣвушка? я тотчасъ же влюбился бы въ него. Дѣвушки, полюбите поэта! Богъ далъ ему, ни съ того, ни съ сего, такую нѣжучую силу, которая, словно рѣка, подхватитъ тебя и несетъ, какъ бумажку, барахтайся, сколько хочешь: величайшій музыкально-лирическій даръ. У него словно не сердце, а флейта, словно не кровь, а шампанское! Онъ праздничный, улыбчивый, дразнящій. Сколько бъ ему ни было лѣтъ, ему вѣчно будетъ восемнадцать. Все, что увидитъ, почувствуетъ, у него претворяется въ музыку, и даже эти коляски, кареты, вѣдь каждая въ его стихѣ звучитъ по своему, имѣетъ свой собственный ритмъ, свой темпъ, и мнѣ кажется, если-бъ иностранецъ, не знающій ни слова по-русски, услышалъ, напримѣръ, эти томные звуки:

Я въ комфортабельной каретѣ на эллипсическихъ рессорахъ
Люблю заѣхать въ златополдень на чашку чаю въ жено-клубъ,—

онъ въ самомъ каденсѣ стиха почувствовалъ бы лѣнивое баюканіе эластичныхъ резиновыхъ шинъ. И какой сумасшедшей музыкой, въ стихотвореніи Фіолетовый Трансъ отпечатлѣнъ ураганный лётъ бѣшено-ревущаго автомобиля. Какъ виртуозно онъ умѣетъ передать и бѣгъ аэроплана, и качаніе качелей, и мгновенно-мелькнувшій экспрессъ, и танцы, особенно танцы:

И пѣла луна, танцовавшая въ морѣ!

Даже свои поэзы онъ означаетъ, какъ ноты: соната, интермеццо, berceuse. Про какую-то женщину онъ говоритъ:

— Она передернулась, какъ въ оркестрѣ мотивъ!

Конечно, онъ нисколько не Вагнеръ, скорѣе всего онъ Массене, салоннѣйшій изъ композиторовъ, коего благоговѣйно воспѣваетъ. Одинъ критикъ даже разсердился: можно-ль воспѣвать такую дрянь?—но кого же и воспѣть поэту снобу! Онъ вѣренъ себѣ во всемъ; это-то въ немъ и драгоцѣнно. Снобизмъ, пшютизмъ, какъ и все остальное, имѣетъ право излиться въ искусствѣ, и отъ художника намъ нужно

одно: пусть онъ полнѣе, пышнѣе, рельефнѣе выявитъ предъ нами свою душу, не все ли равно какую. Мелодекламація дамски-альбомныхъ романсовъ нашего галантнаго поэта, и какіе-нибудь гимны Ра, псалмы Ксочиквецали—передъ лицомъ Аполлона равны.

V.

Но эта салонность поэзіи какъ будто и неумѣстна теперь. Свѣтозарный Игорь Сѣверянинъ, милый принцъ, онъ явился не во-время. Вѣдь нынче въ модѣ, напротивъ, пещерность, звѣриность, дикарство; поэты изъ силъ выбиваются, какъ бы позвѣрнѣе рявкнуть. Кто же пойметъ и полюбитъ теперь—

Его волшебные сюрпризы,
Его ажурные стихи!

Нынче даже тонкіе эстеты, парнасцы, какъ напримѣръ Гумилевъ, вдругъ записались въ Адамы: основали секту адамистовъ, первобытныхъ, первозданныхъ людей.

— Какъ адамисты, мы немного лѣсные звѣри!—увѣряютъ эти господа.—Сбросимъ же съ себя наслоенія тысячелѣтнихъ культуръ!

А московскимъ кубо-футуристамъ нечего больше и сбрасывать. Они уже все съ себя сбросили: букву ять, грамматику Кирпичникова, логику, психологію, эстетику, членораздѣльную рѣчь,—визжатъ, верещатъ по звѣриному:

— Сорча, кроча, буга на вихроль!
— Зю цю э спрум!
— Бельматокіяй!

«Это было и у дикихъ племенъ»,—поясняетъ нхъ апостолъ Крученыхъ [1]). Вотъ, воистину, модное мотто для всѣхъ современныхъ художествъ: «*это было и у дикихъ племенъ*». Тяга къ дикарю, къ лѣсному звѣрю, къ самой первобытной первобытности есть ярчайшая черта нашей эпохи; сказать про твореніе искусства: «*это было и у дикихъ племенъ*» нынче значитъ оправдать его, возвысить, окружить какимъ-то ореоломъ. Пусть Игорь Сѣверянинъ, какъ хочетъ жеманничаетъ

[1]) „Помада“, соч. А. Крученыхъ, изд. Г. Л. Кузьмина (стр. 5)

со своими кокотессами-принцессами въ желтой гостиной изъ сѣраго клена съ обивкою шелковой,—на него со всѣхъ сторонъ накинутся съ бумерангами, дубинами, скальпами кубисты, футуристы, бурлюкисты: сорча, кроча, бура на вихроль!—и, не внемля его французскому лепету, затопчутъ бѣднаго поэта, какъ фіалку. Долой финтифлюшки, и въ той же гостиной на всѣхъ шифоньеркахъ разставятъ яванскихъ, малайскихъ, нубійскихъ кривоногихъ, пузатыхъ идоловъ и по-шамански завопятъ передъ ними: зю цю э спрумъ! Бельматокіяй! [2]).

«Сбросимъ съ себя наслоенія тысячелѣтнихъ культуръ!»—таковъ безсознательный лозунгъ всей современной культуры: новѣйшихъ романовъ, поэмъ, философій, статуй, танцевъ, картинъ. Гогену нужно было жить подъ бананами среди мѣднокожихъ маори, чтобы побѣдить и прельстить парижанъ. И развѣ не за «прелестное варварство» полюбили они нашего Мусогорскаго? Когда Александръ Бенуа захотѣлъ уразумѣть Пикассо, вождя современныхъ кубистовъ, ему указали на какого-то древняго идола африканскихъ людоѣдовъ-дикарей [3]). «О, большіе черные боги Нубіи!» взываетъ одинъ кубо-футуристъ, и, свергая Аполлона Бельведерскаго, славитъ «криво-черняваго идола»!

— Вашему Аполлону пора умереть,—пишетъ онъ въ московскомъ альманахѣ.—У вашего Аполлона подагра, рахитъ. Мы раздробимъ ему черепъ. Вотъ вамъ другой Аполлонъ, криво-черявый уродъ! [4])

Даже Венеру Милоскую они обратили въ дикарку, сослали ее въ тундру, въ Сибирь, и бѣдная неутѣшно рыдаетъ въ поэмѣ у знаменитаго Хлѣбникова: «Ты вѣришь, видишь: снѣгъ и вьюга, а я, владычица царей, ищу покрова и досуга среди сибирскихъ *дикарей*!» [5])

Игорь Сѣверянинъ явился не во-время, бонбоньерочный,

---

[2]) Въ Мюнхенѣ вышла при участіи Н. И. Кульбина, Д. Бурлюка, В. Кандинскаго спеціальная книга Der Blaue Reiter, гдѣ малайскіе, новокаледонскіе идолы призваны оттѣнять и комментировать творенія нашихъ новаторовъ.

[3]) См. интересную статью А. Е. Рѣдько, Русск. Бог. (1913, VII)

[4]) Союзъ молодежи. III (стр. 11 и 24).

[5]) Садокъ Судей. II стр. 29.

фарфоровый, ажурный. Добро-бы къ такому дикарству влеклись одни футуристы, Богъ бы съ ними! но нѣтъ, рѣшительно всѣ. Джекъ Лондонъ отнюдь не футуристъ, а вѣдь вся Европа влюбилась въ него, конечно же, не за его дарованіе, заурядное и пошловатое, а именно за эти призывы къ звѣриности, пещериости, стихійности. Стихійность! что же и славятъ теперь нынѣшніе модные философы, властители современныхъ думъ! Бергсоновскій антиинтеллектуализмъ господствуетъ нынче всюду. Rattio, Logos, интеллектъ нынче у насъ не въ фаворѣ, дорогу слѣпымъ, но вѣщимъ озареніямъ стихійной души. Интуитивное постиженіе міра, темный звѣриный нюхъ, шаманскій экстатическій бредъ мудрѣе вашей бѣдной разсудочности. «Сбросимъ же съ себя наслоенія тысячелѣтнихъ культуръ»!...

И вѣдь дошло до того, что даже онъ, даже Игорь Сѣверянинъ, отъ кокотокъ, кушетокъ, файвъ о'клокэвъ, гарсоновъ тоже вмѣстѣ со всѣми устремляется въ тундры, въ лѣса. А ужъ если его потянуло, значитъ, тяга и вправду огромная. Сидитъ со своими грезерками гдѣ-нибудь въ отдѣльномъ кабинетѣ или—

Въ будуарѣ тоскующей нарумяненной Нелли,
Гдѣ подъ пудрой молитвенникъ, а на ней Поль де Кокъ, —

и вдругъ заявитъ ни съ того, ни съ сего:

- «Иду въ природу, какъ въ обитель»... «По природѣ я взалкалъ»... «Бѣгу оленемъ къ дебрямъ финскимъ»... «И тамъ въ глуши, въ краю олонца, моя душа взойдетъ, какъ солнце».

Повторяю, теперь это мода, и, право, прелестна его виконтесса, которая прямо изъ оперы угодила на сѣверный полюсъ:

Я остановила у эскимосской юрты
Пѣгаго оленя,—онъ поглядѣлъ умно,
А я достала фрукты
И стала пить вино.
И въ тундрѣ, вы понимаете, стало южно...
Въ щелчкахъ мороза—дробь кастаньетъ.
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнетъ.

Тундры, юрты, олени дѣлаютъ особенно пикантнымъ гривуазно-кокоточный тонъ этой очаровательной пьески. Шампанское—въ тундрѣ! Эскимосъ и—лорнетъ! О, виконтесса осталась въ восторгѣ отъ дикихъ экзотическихъ странъ,—тамъ такіе пылкіе любовники:

— Задушите меня, зацарапайте,—предпочтенье отдамъ дикарю.

Вотъ въ какія неожиданныя формы вылилась эта жажда стихійности, чуть только она докатилась до желтой гостиной изъ сѣраго клена съ обивкою шелковой, хотя дѣло, конечно, не въ формахъ; пусть и въ пещеры и въ тундры нашъ милый поэтъ уноситъ съ собою все ту-же будуарно-парфюмерную душу, знаменательно, что и будуарныя души вздыхаютъ нынче по пещерамъ и тундрамъ.

– Гнила культура, какъ рокфоръ! – восклицаетъ Игорь Сѣверянинъ.

– Я съ первобытнымъ неразлученъ... Душа влечется въ Примитивъ.

VI.

Трогательно наблюдать Игоря Сѣверянина на лонѣ того Примитива, къ которому онъ такъ страстно влечется. Онъ и въ поля и въ лѣса вноситъ тѣ-же паркетные вкусы. Вотъ пролетѣла предъ нимъ стрекоза. «Граціозная кокетка!» кричитъ онъ ей вслѣдъ. Сирену онъ называетъ водяной балериной, а деревья ему кажутся маркизами. Онъ требуетъ, чтобы на берегъ моря, на дикій прибрежный песокъ, ему принесли клавесины, онъ сыграетъ попурри изъ Амбруаза Тома, а его адъютантка покуда защититъ его зонтомъ отъ солнца. Таково его сліяніе съ природой! Полосы спѣлаго хлѣба для него *золотые залупы*, въ весеннемъ шелестѣ листьевъ онъ слышитъ зеленые *вальсы*, и даже въ тундрѣ оленій бѣгъ кажется ему бальными *па*...

Нынѣшняя жажда первобытнаго привела современныхъ людей къ дѣтямъ, къ дѣтской душѣ. Художники, особливо футуристы, изучаютъ дѣтскіе рисунки, пробуютъ имъ подражать: поэты благочестиво печатаютъ образчики дѣтскихъ

стиховъ [6]). И. Кульбинъ въ своихъ лекціяхъ о грядущемъ искусствѣ читаетъ стихи семилѣтокъ. Игорь Сѣверянинъ тоже льнетъ и влечется къ малюткамъ, но опять-таки какъ-то по своему:

Ласковая дѣвонька! Крошечная грѣшница!
Ты еще пикантнѣе отъ людскихъ помой,—

говоритъ онъ какой-то крошкѣ, очевидно съ Невскаго Проспекта.

Котикъ милый, дѣточка! встань скорѣй на цыпочки,
Алогубы-цвѣтики жарко протяни..
Въ грязной репутаціи хорошенько выпачкай
Имя свѣтозарное генія въ тѣни.

И здѣсь онъ вѣренъ себѣ. Но если-бы эти стихи какъ-нибудь удручили читателя, затемнили осіянный ликъ поэта, право, мнѣ очень легко вернуть къ нему снова сердца. Стоитъ только мнѣ переписать иныя его нѣвучія строфы, напримѣръ, плясовую, камаринскую, такую утреннюю, молодую, заразительную, что, конечно, года черезъ два ее до противности затаскаютъ на всѣхъ эстрадахъ, во всѣхъ хрестоматіяхъ, или эту его милую диссону, въ которой многихъ, я увѣренъ, прельститъ такая острая пряность игривыхъ и пикантныхъ ассонансовъ:

Ваше Сіятельство къ тридцатилѣтнему—модному—возрасту
Тѣло имѣете универсальное... какъ барельефъ...
Душу душистую, тщательно скрытую въ шелковомъ шелестѣ.
Очень удобную для проститутокъ и для королевъ...
Впрочемъ, простите мнѣ Ваше Сіятельство, злыя шалости...

Ироніа, претворенная въ лирику,—здѣсь Игорь Сѣверянинъ настоящій маэстро, и я думаю, самъ Обри Бердсли удостоилъ бы его диссону гротескомъ.

---

[6]) Въ *Сэдэкъ Судей II* есть прелестная пѣсенка 13-лѣтней дѣвочки: «Хочу умереть». Въ одной изъ книжекъ Александра Крученыхъ есть разсказъ 11-лѣтней Зины и т. д. Въ *Пощечинѣ Общественному Вкусу* Д. Бурлюкъ восхищается дѣтскими рисунками, а въ *Синемъ Рыцарѣ* дѣтскіе рисунки печатаются въ видѣ образцовъ и т. д.

VII.

Здѣсь я, въ сущности, могъ бы и кончить. И правда, не пора ли разстаться съ этой исчерпанной книгой? Но въ самомъ ея концѣ, на одной изъ послѣднихъ страничекъ, я внезапно съ удивленіемъ увидѣлъ неожиданное слово: футуризмъ.

Странно. Неужели и онъ футуристъ? Вотъ бы никогда не подумалъ. Въ чемъ же его футуризмъ? Можетъ быть, въ этихъ кэксахъ, журфиксахъ? Или въ русско-французскомъ жаргонѣ? Но тогда вѣдь и m-me Курдюкова, которой восьмой десятокъ, такая же футуристка, какъ онъ. Однако, madame Курдюкова никогда не говорила о себѣ: «я литературный Мессія... Моя интуитивная школа вселенскій эго-футуризмъ»; это говорилъ о себѣ г. Сѣверянинъ. Въ его книгѣ мы безпрестанно читаемъ, что онъ тріумфаторъ, новаторъ—

Я геній, Игорь Сѣверянинъ.
Своей побѣдой упоенъ—

и когда любимая женщина усумнилась въ его побѣдѣ, онъ чуть не задушилъ ее за это:

— Нѣмѣю въ бѣшенствѣ,—затѣмъ, чтобъ не убить!

Издѣвайтесь надъ нимъ, хохочите, —вы скоро всѣ поклонитесь ему, такъ увѣряетъ онъ самъ. «Новаторъ въ глазахъ современниковъ—клоунъ, въ глазахъ-же потомковъ святой!» У него есть ученики и апостолы, есть даже, какъ увидимъ, Іуда, и въ разныхъ газетахъ, журналахъ они возглашаютъ о немъ: «Отецъ Россійской Эго-Поэзіи! Ядро Отечественнаго Футуризма! Нашъ Верховный Жрецъ, Первосвященникъ!»[7])

А мы перелистали его книгу, и гдѣ-же были наши глаза?—ничего такого не увидѣли. Въ ней откровенія грядущихъ вѣковъ, а намъ мерещились какіе-то романсы! Предъ нами пророкъ, а мы думали: оперный теноръ. Мы думали, что онъ шантеклеръ, а онъ, смотрите, стоитъ на Синаѣ съ какими-то скрижалями въ рукахъ. И на этихъ скрижаляхъ начертано:

— Вселенскій Эго-Футуризмъ... Грядущее осознаніе

---

[7]) Газета «Петербургскій Глашатай» № 2.

жизни... Интуиція... Теософія... Призма стиля - реставрація спектра мысли... Признаніе Эго-Бога... Обрѣтъ вселенской души, —и такъ дальше, въ такомъ же родѣ, а мы, перечтя его книгу и разъ и другой и третій, такъ-таки ни въ одной запятой никакого футуризма не нашли! О критики, слѣпые кроты! футуристы отвергаютъ насъ не даромъ. «Нечистоплотная дрянь, стоящая у кормила оцѣнки!» — иначе они насъ и не зовутъ: — «вурдалаки, паразиты, душители!» Вникнемъ же какъ можно почтительнѣе въ эти ихъ катехизисы, заповѣди, деклараціи, манифесты, доктрины, скрижали, постараемся безъ желчи, безъ хихиканія понять эту загадочную секту. Я готовъ даже попробовать и самъ сдѣлаться на время футуристомъ, на недѣлю, на двѣ, не больше, чтобъ точнѣе, доскональнѣе узнать и потомъ повѣдать всему міру, что же это, въ сущности, такое. Критикъ такъ и долженъ поступать, иначе къ чему же и критика!—и если онъ самъ, напримѣръ, хоть на часъ не становился Толстымъ или Чеховымъ, что же онъ знаетъ о нихъ! Клянусь, я уже былъ въ свое время и Сологубомъ, и Блокомъ, и даже Семеномъ Юшкевичемъ. Нужно претвориться въ того, о комъ пишешь, нужно заразиться его лирикой, его душой, итакъ, съ настоящей минуты я—уже не я, а Бурлюкъ. Или нѣтъ, Александръ Крученыхъ!

— Сорча, кроча, буга на вихроль!

Но лучше подожду еще минуту и постараюсь хоть въ нѣсколькихъ строчкахъ побыстрѣе досказать о Сѣверянинѣ.

VIII.

Есть два стана русскихъ футуристовъ: петербургскіе и московскіе. Петербургскіе не просто футуристы, а съ прибавкою слова э г о. Сѣверянинъ — эго-футуристъ. Не оттого ли въ его стихахъ такъ выпячено надменное *я*:

Я даровалъ толпѣ холоповъ
Значенье собственнаго я.

«Я изнемогъ отъ льстивой свиты»... «Я геній, Игорь Сѣверянинъ»... «Я коронуюсь утромъ мая»... «Мнѣ скученъ королевскій титулъ, которымъ Богъ меня вѣнчалъ»,—не от-

того ли онъ вѣчно чувствуетъ свою коронованность, избранность, единственность? И всѣ его адъютанты за нимъ. Даже какой-то Олимповъ и тотъ говоритъ: я геній. Даже Павелъ Широковъ лепечетъ:

— Я себя выше всѣхъ превознесъ [8]).

Иначе нельзя, помилуйте, на то они эго-поэты. Вѣдь и Богъ у нихъ не Богъ, а Эго-Богъ: если Онъ сотворилъ человѣка по образу своему и подобію, значитъ Онъ такой-же эгоистъ, какъ и мы, — разсуждаютъ эти господа, и зовутъ насъ поклониться Эго-Богу [9]).

Но къ чему же сочинять стихи, ежели я—Эго-Богъ? И къ чему вообще слова, если я во всемъ мірѣ одинъ? — разсуждаетъ эго-футуристъ Василискъ Гнѣдовъ.—Слова нужны лишь «коллективцамъ», «общежителямъ». И онъ создаетъ знаменитую поэму безъ словъ: бѣлый, какъ снѣгъ, листъ бумаги, на которомъ ничего не написано [10]). Эта безсловесная поэма озаглавлена Поэма Конца, и какъ хорошо, что Гомеръ держался иныхъ убѣжденій.

Эго-футуристы мечтаютъ о такомъ же Эго-Театрѣ, гдѣ не будетъ ни актеровъ, ни зрителей, а только мое или ваше единое *я* [11]). Это у нихъ называется Эговой Анархизмъ, и я могъ бы легко доказать, что отсюда логически слѣдуетъ то всеосвященіе, всеоправданіе міра, о которомъ возвѣщаетъ ихъ мессія:

— Виновныхъ нѣтъ, всѣ люди правы... Не знаю скверныхъ, не знаю подлыхъ... Я славлю восторженно Христа и Антихриста! Голубку и ястреба!.. Кокотку и схимника!..

Но гдѣ же здѣсь, ради Бога, футуризмъ? Это старый отжитой, запыленный Календарь Модерниста за 1890 или 91-й годъ. Тамъ гдѣ-нибудь на дырявой страничкѣ, замызганной тысячами пальцевъ, вы найдете всю эго-поэзію отъ первой строки до послѣдней. «Люблю я себя, какъ Бога,» писала тамъ З. Н. Гиппіусъ... «И Господа и Дьявола равно

---

[8]) П. Широковъ «Розы въ Винѣ» стр. 7.
[9]) Мих. Фофановъ «Эгоизмъ».
[10]) Василискъ Гнѣдовъ «Смерть Искусству».
[11]) «Всегдай». Театръ Будущаго. Статья Коротова.

прославлю я», писалъ тамъ Валерій Брюсовъ, и даже этотъ соллипсическій эго-театръ выкроенъ по старой статьѣ Сологуба. Право, не стоило всходить на Синай — для такой отрыжки вчерашняго.

Впрочемъ, есть у нихъ и новыя скрижали. На послѣдней, напримѣръ, страницѣ въ альманахѣ Стеклянныя Цѣпи я съ восторгомъ прочиталъ такое:

— Константинъ Олимповъ носитъ воротнички Тореадоръ. Размѣръ 39 сантиметровъ.

И дальше:

Въ имѣніи И. В. Игнатьева состоялся оживленный стерляжій раутъ.

И дальше:

— И. В. Игнатьевъ изволилъ одобрить американскія горы въ Луна-Паркѣ [12]).

Тамъ же Игорь Сѣверянинъ сообщаетъ: я уѣзжаю на мызу княгини Л. А. Оболенской.

Это у нихъ самобытное. Рауты, мызы, княгини и, главное, воротнички Тореадоръ, — здѣсь единственная ихъ подоплека, сколько бы они не лепетали объ Эго-Богѣ или Эго-Поэзіи. Розовая пудра! голубые флакончики! золотые духи! «Ахъ, хотѣлъ бы я быть элегантнымъ маркизомъ и изящно играть при дворѣ съ королями въ фаро!»—вздыхаетъ одинъ изъ нихъ, должно быть, на Пескахъ или на Подъяческой. «Луна просвѣчивала сквозь облако, словно женская ножка сквозь модный ажуръ»,—пишетъ эго-футуристъ Шершеневичъ и доходитъ до такой галантерейности, что даже могильныхъ червей, торопящихся къ свѣжему трупу, величаетъ франтами во фракахъ, съ гвоздикой въ петлицахъ, спѣшащими на званый обѣдъ [13]).

Изъ гостиной или изъ Гостинаго Двора вышли эти господа въ литературу? Этакіе оскары уайльды, они словно состязались другъ съ другомъ,—особенно въ первые годы—кто-же кого пережеманничаетъ, кто-же кого переманернича-ется, кто покартавѣе крикнетъ: гарсонъ, съимпровизируй

---

[12]) Все вышеприведенное напечатано въ альманахѣ Стеклянныя Цѣпи

[13]) «Всегдай». Эго-Футуристы, VII, стр. 26.

блестящій файвъ о'клокъ. Всѣхъ перекартавилъ Сѣверянинъ, но и остальные не ударили въ грязь. Я никогда, напримѣръ, не забуду ихъ Эго-Концертъ Футуризма, съ гондолами, принцессами, ликерами, въ паркѣ, у мраморныхъ урнъ, при Охотничьемъ Дворцѣ Павла Перваго. Я тоже получилъ приглашеніе. Правда, все оказалось мечтой, и не было ни принцессъ, ни ликеровъ, ни мраморныхъ урнъ, не было даже концерта, но какъ характерна такая мечта для эго-футуризма съ Подъяческой. Форели, свирѣли, вина князя Юсупова!—въ этой милой утопіи такъ ясно сказалась та среда, гдѣ сформировался талантъ Сѣверянина, гдѣ возникли наши Маринетти, и хотя теперь Сѣверянинъ отъ нихъ отошелъ, а всѣ они межъ собой перессорились, хотя будуарно-парфюмерный періодъ петербургскаго эго-футуризма закончился, драгоцѣнно отмѣтить для будущаго С. А. Венгерова, что именно въ этой средѣ эго-футуризмъ зародился впервые...

IX.

Но, ради Бога, что это такое?!

— Въ женоклубѣ бальзаковскій передунчикъ эстетно орозилъ вазы. Птенцы желторотятъ рощу. У зеркалозера бѣгаютъ кролы. Въ олуненномъ озерзамкѣ лѣсофеи каблучками молоточатъ паркетъ.

На такомъ арго изъясняются между собой футуристы. Эго-футуристы, петербургскіе. Здѣсь они, дѣйствительно, новаторы. «Осупружиться», «окалошиться», «офрачиться», «онездѣшиться», «поверхноскользіе», «дерзобезуміе»— такихъ словъ еще не слыхало великороссійское ухо. Многіе даже испугались, когда Игорь Сѣверянинъ написалъ:

Я повсеградно оэкраненъ,
Я повсесердно утвержденъ.

Лишь одинъ не испугался Юра Брейтерманъ. Онъ и самъ такой же футуристъ. Озерзамками его не удивишь. «Отскорлунай мнѣ яйцо», – проситъ онъ. – «Лошадь меня лошадиула». «Козликъ рогается». «Елка обсвѣчкана». И если вы его спросите, что же такое кроль, онъ отвѣтитъ: кроль это кроликъ, но не маленькій, а большой.

Этому эго-футуристу въ минувшемъ іюлѣ исполнилось уже четыре года, и я увѣренъ, что для Сѣверянина онъ незамѣнимый собесѣдникъ. Пусть только поэтъ поторопится, пока Юрѣ не исполнилось пять; тогда въ немъ словотворчество изсякнетъ. Милыя дѣтскія слова, такія граціозныя и мудрыя, я до того ихъ люблю, что въ разныхъ газетахъ и журналахъ умолялъ когда-то читателей сообщать мнѣ о каждомъ словѣ, которое имъ удастся подслушать. Многіе читатели откликнулись, посыпалась тысяча писемъ, и въ каждомъ письмѣ—футуристъ. Что ни трехлѣтка, то Игорь Сѣверянинъ. Правда, Сѣверянинъ не назоветъ почтальона *почтапикомъ*, но развѣ онъ не могъ бы сказать: поѣздъ чихчахнулъ, я уже наваренился, приложи мнѣ холодный мокресъ?

Это я говорю не въ укоръ Сѣверянину, а въ большую ему похвалу. Я уже доказывалъ не разъ, что гдѣ-то въ подсознательныхъ нѣдрахъ души у малолѣтнихъ дѣтей таится столь изощренная чуткость ко всѣмъ законамъ и формамъ родной (и даже народной!) рѣчи, что если бы къ пяти-шести годамъ, по минованіи біологической надобности, эта чуткость въ нихъ не притуплялась, то въ десять лѣтъ всѣ были бы Флоберы. Замѣчательно, что нашъ знаменитый лингвистъ, проф. Бодуэнъ де-Куртенэ, уже около четверти вѣка назадъ объявилъ дѣтскій лепетъ—футуризмомъ. «Ребенокъ», - писалъ де-Куртенэ,- - захватываетъ будущее, предсказывая особенностями своей рѣчи будущее состояніе племенного языка и только впослѣдствіи пятится, такъ сказать, назадъ, все болѣе и болѣе приноравливаясь къ «нормальному» языку окружающихъ».

Значитъ, Сѣверянина по праву можно называть поэтомъ-будущникомъ, ибо говорила же трехлѣтняя Ася, еще не прочитавъ его поэзъ:

- Окалошь мои ножки. Замолоточь этотъ гвоздикъ. Бумага откнопкалась. Я вся такая *пахлая*, я вся такая *духлая*.

И вотъ точно такія же слова я нахожу въ эго-футуристической книгѣ. Эго именно тотъ языкъ, на какомъ мы будемъ изъясняться черезъ тридцать или сорокъ лѣтъ. Хочется намъ или нѣтъ, такія слова неизбѣжно нагрянутъ.

ворвутся въ нашу закоснѣвшую рѣчь. Намъ, въ сутолокѣ городовъ, будетъ некогда изъясняться длительно-многорѣчиво, тратить десятки словъ, гдѣ нужны только два или три. Слова сожмутся, сократятся, сгустятся. Это будутъ слова-молніи, слова-экспрессы. Кто знаетъ, что сдѣлала Америка съ англійской рѣчью за послѣднія два десятилѣтія, тотъ поймётъ, о чемъ я говорю: что янки разскажетъ въ минуту, по-русски нужно разсказывать вчетверо. Трата словесной энергіи страшная, а намъ необходима экономія: «некогда»—это нынче всесвѣтный девизъ; онъ то и преобразитъ нашъ лѣнивый, медлительный, захолустно-обломовскій языкъ, въ быструю, «телеграфную» рѣчь. Тогда то такія слова, какъ *окалошится*, *осупружится*, *наварится*, *женоклубъ*, *златополдень*, *экстазить*, *миражить*, станутъ полноправны и цѣнны. Русская рѣчь, убыстренная,всегда рождала такія слова. Читали-ли вы письма Герцена, особенно послѣдней эпохи,—спѣшныя, стремглавныя, быстрыя? Въ нихъ мы ежеминутно встрѣчаемъ:

мясопись,
гнѣвобѣсіе,
наянтаривать,
бого-мокрица,
магдалиниться,

и даже отъ фамиліи К е л ь с і е в ъ образованъ глаголъ: п р и к е л ь с и т ь. Чѣмъ стремительнѣе бывало письмо, тѣмъ больше въ немъ футуристическихъ словъ. Здѣсь именно дѣло въ стремительности: хочется, напримѣръ, побыстрѣе сказать, что нѣкто, обливаясь слезами, подобно грѣшницѣ Маріи Магдалинѣ, кается и молитъ о прощеніи—и вотъ единственное слово: м а г д а л и н и т с я.

Такая американизація рѣчи исторически законна и необходима. Вѣдь когда мы автомобиль называемъ а в т о, а метрополитэнъ—м е т р о, когда вмѣсто утомительныхъ словъ: «конституціонно - демократическая партія», мы двусложно говоримъ: к. - д., а вмѣсто «Южно - Русское Общество Торговли Аптекарскими Товарами» говоримъ инціально Ю р о т а т, здѣсь именно различные методы такого сгуще-

нія, убыстренія рѣчи, и заслуга эго-футуристовъ именно въ томъ, что они пріобщили къ красотѣ и поэзіи подобныя городскія реченія, доселѣ презираемыя, какъ вульгарность. Здѣсь, но и только здѣсь, подлинный ихъ футуризмъ. И нечего хныкать, что такія слова чужды, будто бы, русскому духу. Уже близость ихъ къ языку малолѣтокъ показываетъ, какъ они органически-жизненны. И развѣ у нашихъ великихъ не было подобныхъ же словъ? Вѣдь выдумалъ же, напр., Достоевскій картиннѣйшее слово: с т у ш е в а т ь с я, а Жуковскій говорилъ же: о б е з м ы ш и т ь:

И надолго нашъ край былъ обезмышенъ.

Записалъ же Короленко: в о л г а р и т ь.

— «И что ты, говорю, предо мною л и м о н н и ч а е ш ь, чего ты, говорю, предо мной а п е л ь с и н н и ч а е ш ь»? — вѣдь это не изъ Сѣверянина,—отнюдь!

— «Н а а ѳ о н и л ъ я на своемъ вѣку немало», — это вѣдь изъ Братьевъ Карамазовыхъ, а совсѣмъ не изъ какихъ-нибудь поэзъ, и кто послѣ этого посмѣетъ сказать, что всѣ такія реченія несвойственны русской народной стихіи. Отъ слова Аѳонъ аѳонить, отъ слова Волга—волгарить, почему же намъ нельзя супружиться, калошиться, фрачиться? У Сѣверянина меня восхитило его прехлесткое слово б е з д а р ь. Оно такое бьющее, клеймящее, звучитъ, какъ затрещина, и куда энергичнѣе вялаго реченія б е з - д а р - н о с т ь:

Вокругъ талантливые трусы
И обнаглѣвшая бездары!—

Право, нужно было вдохновеніе, чтобы создать это слово: оно сразу окрылило всю строфу. Оно не склеенное, не мертворожденное: оно все насыщено эмоціей, въ немъ бьется живая кровь. И даже странно, какъ это мы до сихъ поръ могли безъ него обойтись.

X.

А Крученыхъ говоритъ: наплевать!
— То-есть позвольте: на что наплевать?
— На все!

То-есть какъ это: на все?

— Да такъ!

Ужасно какой безпардонный. Это не то, что Игорь. Тотъ такой субтильный, тонконогій, все расшаркивается, да все по-французски, а этотъ въ сапожищахъ, стоеросовый, и не говоритъ, а словно буркаетъ:

Дыр бул шыл
Ха ра ба у.

И къ дамамъ безо всякой галантности. Петербургскіе-тъ комплиментщики, экстазятся передъ каждой принцессой:

— Вы такая эстетная, вы такая бутончатая.

— Я цѣлую впервые замшу вашихъ перчаттъ.

А этотъ московскій, Крученыхъ, пикнетъ, рыгнетъ, да и бухнетъ:

У женщинъ лица надушены, какъ будто навозомъ!

И почешетъ спину объ заборъ. Такая у него парфюмерія. Этотъ ужъ не станетъ грацiозиться. Вѣдь сказалъ же ему Маринетти, что нѣтъ никакихъ различій между женщиной и хорошимъ матрацомъ. «Изъ неумолимаго презрѣнія къ женщинѣ и дѣтямъ въ нашемъ языкѣ будетъ только мужской родъ».

Эго-футуристы романтики: для нихъ какой-нибудь локончикъ или мизинчикъ, кружевце, шуршащая юбочка—есть магія, сердцебіеніе, трепетъ: «груди женскія—не груди, а дюшессъ», слюнявятся они въ своихъ поэзахъ, а Крученыхъ только фыркнетъ презрительно:

— Эхъ вы, волдыри, эго-блудисты!

И про этотъ самый дюшессъ выражается:

Никто не хочетъ бить собакъ,
Запуганныхъ и старыхъ,
Но норовитъ извѣдать всякъ
Сосковъ дѣвичьихъ алыхъ.

Если эго-футуристы въ мечтахъ видятъ себя юными принцами на какихъ-то орiлiановыхъ тропахъ, то Крученыхъ о себѣ отзывается:

«Какъ ослы на травѣ я скотина!»

И если эго-футуристамъ мерещится, что среди виконтесс-кокотесс на ландышевыхъ какихъ-то коврахъ они возлежатъ въ озерзамкѣ, то у Крученыхъ другія мечтанія:

Лежу и грѣюсь близъ свиньи.
На теплой глинѣ
Испарь свинины
И запахъ псины.
Лежу, добрѣю на аршины.

Свиньи, рвота, навозъ, ослы такова его жестокая эстетика. Онъ и книжечку свою озаглавилъ: Поросята; не то, что у Игоря Колье Принцессы, Элегантныя Модели да Лазоревыя Дали. Когда онъ хочетъ прославить Россію, онъ пишетъ въ своихъ «Поросятахъ»:

«Въ трудѣ и свинствѣ погрязая, взростешь ты сильная, родная, какъ та дѣва, что спаслась, по поясъ закопавшись въ грязь».

И даже заповѣдуетъ ей, чтобъ она и впредь. Свинья-Матушка, не вылѣзала изъ своей свято-спасительной грязи, этакій, ей-Богу, свинофилъ!

Всякая грація, нѣжность, всякая душевная нарядность отвратительна ему до тошноты. Если бы у него невзначай сорвалось какое-нибудь поэтично-изящное слово, онъ покраснѣлъ бы до слезъ, словно сказалъ непристойность. Такіе они всѣ, эти московскіе: Рафаэли навыворотъ, эстеты наизнанку. Срывы, диссонансы, угловатости, хаотическая грубость и мерзость только здѣсь почерпаютъ они красоту. Оттого то для нихъ такъ прельстителенъ дикарскій истукань-раскоряка, черный, какъ французская вакса, и такъ гадокъ всемірный красавецъ, снѣжно-мраморный богъ Аполлонъ. Я вѣрю: это не поза, не блажь, а коренное, подлинное чувство. Дисгармонія, диссимметрія, диспропорція, и вправду, обаятельна для нихъ. Въ знаменитой своей Декларации Слова они не даромъ воспѣваютъ какофонію [1]). Нужно,

11) О дисгармоніи и диссонансѣ см. Н. Бурлюкъ „Кубизмъ", (Пощечина Общественному Вкусу. стр. 101); о какофоніи, о неправильномъ и непріятномъ для слуха см. Кульбинъ и Крученыхъ „Декларація слова, какъ такового", а также „Трое", стр. 29—32.

чтобъ читалось туго, неудобнѣе смазныхъ сапогъ, занозисто и шероховато!—пишутъ они снова и снова. Какъ же имъ не гнать изъ чертоговъ поэзіи женщину, Прекрасную Даму, любовь? Мы видѣли: они даже Венеру Милосскую сослали куда-то въ тайгу. Эротика, этотъ неизсякающе-вѣчный источникъ поэзіи—отъ Пѣсни Пѣсенъ до шансонетъ Сѣверянина,— въ корнѣ отвергается ими, и если Сѣверянинъ поетъ, какъ пажъ полюбилъ королеву, а королева полюбила пажа, то Крученыхъ эту королеву поведетъ на загаженное гнойще и заставитъ отдаваться полумертвецу-прокаженному среди блевотины, смрада и струпьевъ! [15]). Къ чорту обольстительницъ-прелестницъ, всѣ эти ножки, лапиты да перси, и вотъ красавица изъ альбома Крученыхъ:

Посмотри, какое рыло:
Просто грусть:

Все это, конечно, называется бунтомъ противъ каноновъ и заповѣдей былой, отжитой красоты, и, какъ мы ниже увидимъ, нѣтъ ни единаго пунктика въ нашей вѣками сложившейся жизни, противъ коего не бунтовалъ бы Крученыхъ, но странно: бунтовщикъ, анархистъ, взорвалистъ, а скученъ, какъ голенище, какъ тумба. Нащелкаетъ еще десятка два такихъ ошеломительныхъ книжекъ, а потомъ и откроетъ лабазъ, съ дегтемъ, хомутами, тараканами –все такое пыльное, унылое. (Игорь Сѣверянинъ открылъ бы кондитерскую!). Вѣдь бываютъ же несчастно-рожденные: онъ и форситъ, и подмигиваетъ, а скука, какъ пыль, налегла на его зайндевѣлую душу. Совершеннѣйшій, право, Фердыщенко. Беретъ, напримѣръ, страницу, пишетъ на ней слово ш и ш ъ, только одно это слово! –и увѣряетъ, что это стихи, но и шишъ выходитъ невеселый. Хоть бы голову себѣ откусилъ, такъ и то никому не смѣшно. Только, кажется, Россія рождаетъ такихъ коричнево-скучныхъ людей,—подстать своимъ заборамъ, осинамъ. Вотъ ужъ, подлинно, россійскій Маринетти! У другого вышло бы такъ забубенно и молодо, ежели-бы онъ завопилъ на языкѣ Пушкина, Тютчева:

[15]) А. Крученыхъ. „Бухъ Лѣсиный", 41.

— Белляматокіяй!

— Сержемелепета!

А у этого -даже скандала не вышло: въ скандалисты вѣдь тоже не всякій годится, это вѣдь тоже призваніе! Онъ, конечно, очень старается: беретъ, напримѣръ, страницу— зеленую или даже оранжевую, и выводитъ на ней съ закорючками:

— Читатель не лови воронъ!

— Фрот фрон ыт. Алик, алев, амах.

Но и самъ деревянѣетъ отъ скуки. Какъ будто его подрядили, чтобы онъ за малую плату выдѣлывалъ эти тусклые фокусы, и вотъ теперь по контракту онъ цѣдитъ сквозь зубы унылое:

— Маль си куно дравд бер на те ге не рю ри ле лю бе хо мо ло ре рюк крюд итрп би пу...

А самъ вздыхаетъ и думаетъ: «хорошо бы карасей половить! и когда это кончится, Господи!» но нѣтъ, бунтуй и бунтуй, выжимай изъ себя безъ конца эту несмѣшную канитель.

Право, мнѣ его по человѣчеству жалко. Предо мною почти всѣ его книжки: «Взорваль», «Помада», «Возропщемъ», «Міръ съ конца», «Бухъ лѣсиный», «Игра въ аду», «Поросята», и мнѣ кажется, что у меня на столѣ какая то квинтъ-эссенція скуки, тройной жестокій экстрактъ, какъ будто со всей Россіи, изъ Крыжополя, Уфы и Перми, собрали всю эту зѣвотную нуду, и всю сосредоточили здѣсь. Уже одни ихъ заглавія наводятъ на меня ипохондрію, а казалось бы, книжки пестрыя,—желтыя, зеленыя, пунцовыя!—но, Боже мой, какъ печальна Россія, если въ роли піонера, новатора, дерзителя и провозвѣстника будущаго она только и умѣла выдвинуть вотъ такую безпросвѣтную фигуру, которая мигаетъ глазами и безнадежно бормочетъ:

— Те ге не рю ри ле лю бе...

Хорошо, если онъ добормочется до такого, напр., анекдота:

- «27 апрѣля въ 3 часа пополудни я мгновенно овладѣлъ въ совершенствѣ всѣми языками. Таковъ поэтъ современности. Помѣщаю свои стихи на японскомъ, испанскомъ и еврейскомъ языкахъ». («Взорваль»).

Но это рѣдко, разъ въ годъ, а обычное его состояніе — ге ге не, и я боюсь, какъ бы отъ нуды, отъ зѣвоты онъ чего-нибудь надъ собою не сдѣлалъ. Этакъ вѣдь и удавиться не долго... Впрочемъ не будемъ хихикать надъ нимъ, это черезчуръ ужъ легко: если бы я захотѣлъ фельетонничать, я сравнилъ бы его, напримѣръ, съ тѣмъ убого-унылымъ шутомъ-приживальщикомъ изъ Тургеневскихъ Записокъ Охотника, который, помните, сдѣлалъ карьеру такими же тарабарскими выкриками:

— Кескесе жемса!
— Невугорячепа!
— Рррокалліо-о-онъ! [16]).

Но пусть другіе смѣются надъ нимъ, для меня въ немъ пророчество, апокалипсисъ, перстъ, для меня онъ такъ грандіозенъ и грозенъ, что всю нашу эпоху я готовъ назвать эпохой Крученыхъ! Если бы провалились мы всѣ, а остался одинъ только онъ, вся наша эра до ниточки сберегласъ бы для грядущихъ вѣковъ. Ничего, что самъ по себѣ онъ пустякъ, мелкая и темная фигурка, но какъ симптомъ, какъ символъ, онъ огроменъ. Вѣдь и вибріоны холерныя мелочь, да сама то холера не мелочь. Какъ къ концу шестнадцатаго вѣка въ Елисаветинской Англіи не могъ не возникнуть Шекспиръ, такъ въ Москвѣ въ началѣ двадцатаго не могъ не появиться Крученыхъ. А съ нимъ и другіе, такіе же: Маяковскій, Викторъ Хлѣбниковъ, три или четыре Бурлюка, Спандиковъ, Лившицъ, Бальеръ, Антонъ Лотовъ, Константинъ Большаковъ, ежедневно рождаются новые, и всѣ они кричатъ о себѣ:

— Только мы лицо нашего времени!
— Мы новые люди новой жизни!

И правы, непререкаемо правы: пусть вопіюще-чудовищны эти ихъ невозможныя книжки, онѣ не ими одними написаны, а и мною, и каждымъ изъ насъ. Когда мы смѣемся надъ ними, не смѣемся-ли и сами надъ собой? «Дохлая Луна», «Ослиный хвостъ», «Поросята», «Пощечина», Требникъ

---

[16]) Недаромъ же Крученыхъ похваляется, что Тургеневъ, какъ маг и кудесникъ, предвидѣлъ его появленіе („Возропщемъ" стр. 9).

Трохъ», «Мірсконца», «Бухъ Лѣсный», «Садокъ Судей», тѣдь понадобились же онѣ именно намъ, а не другимъ поколѣніямъ, вѣдь задѣли же въ нашихъ сердцахъ что-то самое живое и кровное, вѣдь не можетъ же быть, чтобы здѣсь былъ только скандалъ, только бредъ, чтобы вся эта огромная секта зиждилась на одномъ хулиганствѣ! Секты хулиганствомъ не создашь, вообще ничего не создашь безъ вѣры, вдохновенія и трепета. А если бы и одно хулиганство, то вѣдь хулиганство бывало и прежде, откуда же его внезапный союзъ съ русской литературой и живописью, съ русской передовой молодежью, съ русской, наконецъ, интеллигенціей? Сказавъ: безуміе, бредъ, вы еще ничего не сказали, ибо что ни вѣкъ, то и бредъ, и въ любомъ общественномъ безуміи есть своя огромная доля ума. Гдѣ же смыслъ этого безсмыслія, гдѣ же логика этого бреда? Почему не вчера и не третьяго дня, а именно нынче, сейчасъ, какая-то исчелозѣческая сила заставила современныхъ художниковъ, выразителей нашихъ-же душъ, нашего же міроощущенія, завопить сплошной ррроkаліонъ, сплошное зю щю э спрум, возлюбить уродство, какофонію, какіе-то шиши и пощечины, какіе-то ослиные хвосты, сочинить стихи изъ однѣхъ занятыхъ, а картины изъ однихъ только кубиковъ, гдѣ же, ради Бога, разгадка этой странной и страшной загадки?

Здѣсь я говорю исключительно о кубо-футуристахъ московскихъ. Милые эго-поэты, Игорь Сѣверянинъ, Дмитрій Крючковъ, Вадимъ Шершеневичъ, Павелъ Широковъ, Рюрикъ Ивневъ, Константинъ Олимповъ, конечно же, здѣсь не при чемъ. Они очень пріятные писатели, но футуристами лишь притворяются. Божьи дѣти, принцы-королевичи,—здѣсь мы съ ними должны распрощаться. Для всякаго ясно, надѣюсь, что эго просто модернисты-эклектики, развѣ что немного подсахарившіе нашъ пріѣвшійся, прѣсный модернъ. Они и сами не скрываютъ этого и любятъ игриво указывать, кто изъ нихъ подражаетъ Бальмонту, кто — Гиппіусъ, а кто Александру Блоку [17]). Скоро они сами признаются, что футуризмъ былъ ихъ игра, ихъ бильбокэ, ихъ спортъ, —и почему

[17] См. И. В. Игнатьевъ. «Эго-Футуризмъ» стр. 9.

же въ восемнадцать лѣтъ не кокетничать, не сочинять манифестовъ, не пройтись порой на головѣ! Игра оказалась воблаго; мы видѣли, сколь плодотворны были ихъ словесныя салтомортале. Но теперь они всѣ разбѣжались, да и будуариться, кажется, бросили; эго-футуризмъ уже кончился, и теперь въ покинутыхъ руинахъ озерзамка хозяйничаетъ Василискъ Гнѣдовъ, личность хмурая и безнадежная, нисколько не эго-поэтъ, въ сущности переодѣтый Крученыхъ, тайный кубо-футуристъ, бурлюкистъ, ничѣмъ и никакъ не связанный съ традиціями эго-поэзіи.

Это очень показательно и важно, что, чуть эго-футуризмъ исчерпался, его пожралъ, проглотилъ цѣликомъ кубофутуризмъ, бурлюкизмъ. Иначе и быть не могло. Бурлюкисты органичны и жизненны, а Петербургскіе такъ эфемерны и хрупки. Странно, что русскіе критики, даже столь глубокосерьезные, какъ Львовъ-Рогачевскій, Рѣдько, могли эти два направленія смѣшать и, посвятивъ имъ большія статьи, такъ-таки до конца не замѣтили, что эго-футуристы одно, а кубофутуристы другое. У эго-футуристовъ во всемъ, въ структурѣ стиха, въ языкѣ и въ сюжетахъ, пусть и смѣшная! утонченность, перезысканность, перекультурность, а кубофутуристы противъ, чего же и ратуютъ! Эти два направленія полярны. Одни сжигаютъ именно то, чему поклоняются другіе. А если случайно встрѣчаются въ нихъ какія нибудь общія черты, то лишь оттого, что по-началу оба эти заклятыхъ врага нарядились въ одинакіе мундиры, сшитые однимъ и тѣмъ же портнымъ, изъ Парижа и Рима, Маринетти; казалось, что они рядовые одного и того же полка.

Снять бы съ нихъ эти чужіе мундиры; каковы они окажутся безъ нихъ? Объ этомъ я теперь и хлопочу. Попытаюсь хоть отчасти вскрыть ту подлинную внутреннюю сущность, что скрывается въ русскомъ футуризмѣ подъ его показными девизами.

XI.

Начнемъ раньше всего съ ихъ языка. Попробуемъ, напримѣръ, вчитаться хотя бы въ такія реченія: фолдырь,

анфей, фолдырь, мефи царимей, царьмафами цаларей! Вы думаете, это Крученыхъ? Нисколько. Это гимнъ, религіозный псаломъ карскихъ, кажется, сектантовъ, прыгуновъ. Бѣгаютъ по радѣльной избѣ и кричатъ до послѣдней усталости: фенте ренте финитифунтъ, фенте ренте финитифунтъ, фенте ренте финитифунтъ, пока не упадутъ, какъ полу-мертвые. Какая-нибудь корявая д у х н я Матренка подберетъ повыше подолъ, закатитъ глаза и, кружась въ экстатическомъ плясѣ, вопитъ свою ритмическую чушь; вотъ именно о такомъ языкѣ, экстазномъ, оргійно-бредовомъ и мечтаютъ москвичи футуристы. Всякую осмысленную рѣчь они считаютъ лживой и безсильной, ею все равно не передашь, что ощущаетъ поэтъ, давайте же со звякомъ зубовъ прыгать, какъ скопцы, шелапутницы, и въ трансѣ, въ священномъ безуміи выкрикивать финитифунтъ. Только такими словами ты по-настоящему выразишь свою творчески-мятущуюся душу. Этотъ языкъ футуристы именуютъ вселенскимъ, свободнымъ, заумнымъ, т. е. перешедшимъ за грани ума, и въ минуты высшихъ своихъ вдохновеній, отвергнувъ всякую привычную рѣчь, сложившуюся въ тысячелѣтней культурѣ, прибѣгаютъ только къ нему. Крученыхъ благоговѣйно цитируетъ сектанта хлыста Шишкова:

Насонтосъ лесонтосъ
Футръ лисъ натруфунтру [17]).

и будь его воля, онъ, кажется, сжегъ бы всѣ словари, лексиконы, уничтожилъ бы всѣ эти вѣщія, мѣткія, насыщенныя мыслью слова, которыя за вѣка и вѣка накопила мудрость человѣчества, и остался бы при одномъ н а с о н т о с ъ. Что же! быть можетъ поэзія и вправду нуждается только въ такихъ экстатическихъ выкрикахъ. Развѣ они лишены выразительности? Развѣ ими невластенъ поэтъ передать свои афекты, эмоціи? Вѣдь и ревъ тоскующей коровы и вой неврастеника-пса суть такія же заумныя рѣчи, а какъ проникаютъ онѣ въ душу, - лучше всякихъ лириз и поэзъ. О, если-бъ безъ слова сказаться душой было мож-

[17]) Взорваль, стр. 43; Трое, стр. 27.

во!» вздыхалъ когда-то величайшій изъ лириковъ, и вотъ, наконецъ, совершилось; мы, дѣйствительно, можемъ безъ слова, одними лишь заумными воплями излить свою душу въ поэзіи!

Проф. А. Л. Погодинъ въ своей нововышедшей книгѣ о психологическихъ и соціальныхъ основахъ творчества рѣчи указываетъ, что есть такая, низшая, ступень экстатическаго возбужденія, когда наблюдается страсть къ сочинительству новыхъ неслыханныхъ словъ, и что эти слова у дикарскихъ шамановъ, идіотовъ, слабоумныхъ, маньяковъ, скопцовъ, бѣгуновъ, прыгуновъ почти всегда одинаковы: отмѣчаются общими признаками, какъ и всякая заумная рѣчь. Жаль, что при этой оказіи профессоръ обонелъ футуристовъ [18]).

Но вотъ что главнѣе всего: этотъ заумный языкъ, вѣдь въ сущности и совсѣмъ не языкъ; это тотъ до-языкъ, до-культурный, доисторическій, когда слово еще не было «словомъ», а человѣкъ Homo-Sapiens'омъ, когда не было еще бесѣдъ, разговоровъ, были только вопли и взвизги, и не странно ли, что наши будущники, столь страстно влюбленные въ будущее, избрали для своей футуръ-поэзіи самый древній изъ древнѣйшихъ языковъ? Даже въ языкѣ у нихъ тоже влеченіе сбросить съ себя всю культуру, освободиться отъ тысячелѣтней исторіи.

Да и темы у нихъ, какъ нарочно, такія же древнія, ветхія, есть даже изъ старо-кіевской жизни: ахъ, ты гой еси Владиміръ-Красно-Солнышко! — хотя пристало-ли поэзіи будущаго пятиться за сюжетами къ скиѳамъ, на пятнадцать столѣтій назадъ? Не зазорно-ли, что подъ ярлыкомъ футуризма эти будущники печатаютъ повѣсть изъ эпохи каменнаго вѣка —объ урочищахъ первобытныхъ племенъ, объ ихъ идолахъ, шестоперахъ, жрецахъ. Даже эго-поэты подсмѣиваются: «московская фракція Будущаго есть фракція Давнопрошедшаго», ихъ Futurum есть Plusquamperfectum.

И это фатально, имъ иначе нельзя. Здѣсь для нихъ не-

[18]) „Языкъ, какъ творчество". Харьковъ. 1913. Гл. VIII. Роль языка въ состояніи экстаза, 125—149.

устанный магнитъ. Сколько-бы они ни въщали, что взи-раютъ на наше ничтожество съ высоты какихъ-то небоскребовъ, сколько-бы они ни притворялись пѣвцами машинъ, городовъ, афишъ, аэроплановъ, трамваевъ, дрэдноутовъ, всей новой грядущей фабрично-площадной цивилизаціи, сколько-бы они ни пѣли о Шустовскихъ коньячныхъ заводахъ, о витринахъ магазиновъ Аванцо, объ автомобильныхъ гаражахъ и о газетныхъ кіоскахъ, все это такъ, для блезиру, только по долгу службы, потому что иначе нельзя, а дай имъ настоящую волю, такъ они въ тотъ же мигъ ого всѣхъ небоскребовъ, кіосковъ, моторовъ, ого всякихъ залоговъ будущаго, побѣгутъ въ свои пещеры на корточкахъ къ скиѳскимъ бабамъ, къ каменному вѣку: сбросимъ же съ себя наслоенія тысячелѣтнихъ культуръ!

Для футуристовъ итало-французскихъ фабрикъ, небоскребы, вокзалы главный нервъ, главная суть. Они каждымъ атомомъ чувствуютъ, что настало новое, неслыханное, что, обмотавъ, какъ клубокъ, всю планету стальными нитками рельсовъ, одолѣвъ притяженіе земли аэропланнымъ пропеллеромъ, побѣдивъ пространство и время экспрессами, кинематографами, кабелями, мы нынѣ должны воспѣвать, конечно же, не звѣздную твердь, не Розу Эдема, не Лауру, не Беатриче, а керосино-калильную лампу, бензинный моторъ, тунели, ночное дрожаніе арсеналовъ и верфей; мосты, перешагнувшіе чрезъ рѣки, подобно гимнастамъ-гигантамъ; фабрики, привѣшенныя къ тучамъ на скрученныхъ лентахъ своихъ дымовъ; автомобили съ цилиндрическими ящиками, и все это, конечно, превосходно, но нашимъ суздальскимъ, вицдаво-рыбинскимъ, московскимъ, гдѣ же имъ въ Шуѣ, въ Мѣ достать хоть одинъ небоскребъ? Зарядили, бѣдные, одно: монопланы, аэропланы, бипланы, но какъ равнодушно, формально, словно чужое, заученное. Явно: паѳосъ ихъ жизни не здѣсь. Пусть они твердятъ безъ конца;—

О, мы желаемъ лучшихъ совершеній,
Затѣмъ что есть теперь аэропланъ!—

пусть даже самыя поэзы свои нарекутъ они аэропланными, это, повторяю, въ нихъ не главное, это даже не

третьестепенное: ихъ корень ихъ основа не здѣсь. Отнимите отъ Маринетти аэропланы, моторы, авто, — и отъ Маринетти ничего не останется. А Крученыхъ и безъ мотора — Крученыхъ. Изо всѣхъ россійскихъ футуристовъ еле-еле нашелся одинъ урбанистъ, да и то косноязычный, заика, хотя далеко не бездарь. Я, конечно, говорю о Маяковскомъ. И, конечно, я люблю Маяковскаго, эти его конвульсіи, судороги, сумасшедше-пьяные всхлипы о лысыхъ куполахъ, о злобныхъ крышахъ, о букетѣ изъ бульварныхъ проститутокъ, о городскихъ миражахъ и бредахъ, но вѣдь, шепну по секрету, Маяковскій иллюзіонистъ, визіонеръ, Маяковскій импрессіонистъ, онъ имъ чужой совершенно, онъ среди нихъ случайно, и самъ же Крученыхъ не прочь порою похихикать надъ нимъ [19]). Къ тому же городъ для него не восторгъ, не пьянящая радость, а распятіе, Голгоѳа, терновый вѣнецъ, и каждое городское видѣніе — для него словно гвоздь, забиваемый въ самое сердце. Онъ плачетъ онъ бьется въ истерикѣ:

Я кричу
Кирпичу,
Слезъ изступленныхъ вонзая кинжалъ
Въ неба распухшаго
Мякоть! —

и хочется взять его за руку и, какъ ребенка, увести отсюда, изъ этого кирпичнаго плѣна, куда-нибудь къ василькамъ и ромашкамъ. Хорошъ урбанистъ, пѣвецъ города, — если городъ для него застѣнокъ, палачество! Онъ даже съ толпами города не умѣетъ, бѣдняга, слиться, и отъ этого еще горше рыдаетъ:

Я одинокъ, какъ послѣдній глазъ
У идущаго къ слѣпымъ человѣка!

Уйти бы ему отсюда — подъ сѣнь струй, на поляны, въ лѣса! гдѣ же ему нѣтъ небоскребы, автомобили, тротуары, кафэ, лифты, водосточныя трубы! Вѣдь онъ и самъ кричитъ среди рыданій:

[19]) См. очень злую замѣтку А. Крученыхъ въ книгѣ «Трое», стр. 41.

— Бросьте города, глупые люди! Идите голые на солнцепекъ!

Словомъ, ежели и служитъ футуризму, то лишь принуждаемый жестокими пытками, а самъ, какъ и всѣ остальные, влечется куда-то прочь. Куда? — мы скоро увидимъ, теперь же подчеркнемъ и рельефнѣе выдвинемъ, что для нихъ, для всѣхъ, футуризмъ почему-то постылая роль, которую сыграть бы поскорѣе, чтобъ заняться любимымъ, своимъ. Футуризмъ для нихъ — чужое: они служатъ ему кое-какъ, безъ азарту, спустя рукава, лишь-бы отмахнуться, отвязаться, больше на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. Вотъ въ «Ослиномъ Хвостѣ» въ декларацiи, только что лучисты и будущники, Ларіоновъ, Гончарова и другiе, въ милліонный разъ, какъ по командѣ, отбарабанили все ту же хвалу все тѣмъ же трамваямъ, экспрессамъ, всей грядущей городской газетно-афишно-машинно-аэропланной культурѣ, всѣмъ этимъ знаменьямъ будущаго, какъ внезапно прорвались, не выдержали и, словно забывшись, воскликнули:

— Долой Западъ! Да здравствуетъ прекрасный Востокъ!

Почему же Востокъ? -погодите... Какой же футуризмъ на Востокѣ? И какiе вамъ аэропланы, если вы отказались отъ Запада? Въ томъ-то и дѣло, что аэропланы у нихъ - показное, а сами они такъ и глядятъ, какъ бы юркнуть куда-то прочь. Ларіоновъ пробормочетъ про бипланы, да и побѣжитъ къ малярамъ, къ какимъ-то солдатскимъ портретамъ, къ вывѣскамъ, къ трактирнымъ подносамъ, къ русскому простонародному пряннику, къ глинянымъ свистулькамъ, къ лубкамъ, къ самой захолустной азiатчинѣ, за тысячу верстъ отъ той новой грядущей культуры, которую только-что такъ прославлялъ.

А въ другомъ альманахѣ, «Союзъ молодежи», откровенно проклинаютъ Европу, весь ея «научный аппаратъ» и зовутъ насъ въ Азiю, въ Китай, къ желтолицымъ, «не знающимъ нашей научной разсудочности», и предлагаютъ индiйскую, персидскую живопись, древне-китайскую лирику. Это въ первой книжкѣ, а въ третьей насъ уже позвали въ Нубiю, къ корявымъ раскорякамъ чернокожихъ. Странный, согласитесь, футуризмъ вотяко-персидскiй, башкиро-китай-

скій, ассиро-вавилоно-египетскій. Похоже, что и этотъ футуризмъ только притворился футуризмомъ, а на дѣлѣ онъ что-то другое. Что? мы сейчасъ увидимъ. Тамъ, на днѣ, въ глубинѣ, пробивается какое-то другое теченіе, коренное, нутряное, нѣдренное, очень русское, очень національное, но столь мало себя осознавшее, что даже клички себѣ не нашло настоящей, носитъ покуда чужую, пробавляется чужими лозунгами и само еще не вполнѣ догадалось, въ чемъ его главная суть. Это чужое напяленное рвется, раздирается по швамъ и оттуда, извнутри, исподспуда, все чаще выглядываетъ нѣчто подлинное, столь неожиданное, не похожее ни на какой футуризмъ, что, я думаю, самъ Маринетти ахнулъ-бы, если-бъ увидѣлъ.

XII.

Забудемъ-же о всякомъ футуризмѣ. Ясно, что нашъ футуризмъ, въ сущности, есть анти-футуризмъ. Онъ не только не стремится вмѣстѣ съ ними на верхнюю послѣднюю ступень какого-то неотвратимаго будущаго, но радъ бы сломать и всю лѣстницу. Все сломать, все уничтожить, разрушить, и самому погибнуть подъ осколками такова его, повидимому, миссія.

Но я долженъ разсказать по порядку.

Русскому футуризму три года. Онъ начался очень мило, какъ-то даже застѣнчиво, даже, пожалуй, съ улыбочкой, хоть и съ вызовомъ, но съ такимъ учтивымъ, что всѣмъ было весело и никому не обидно. Въ 1910 году, въ несуразномъ альманахѣ Студія, нѣкто, никому неизвѣстный, напечаталъ такіе стихи:

О, разсмѣйтесь, смѣхачи!
О засмѣйтесь, смѣхачи!
Что смѣются смѣхамн, что смѣянствуютъ смѣяльно,
О, засмѣйтесь усмѣяльно!
О, разсмѣшищъ надсмѣяльныхъ смѣхъ усмѣйныхъ смѣхачей!
О, изсмѣйся разсмѣяльно смѣхъ надсмѣйныхъ смѣячей!
Смѣйево! Смѣйево!

Усмѣй, осмѣй, смѣшики, смѣшики
Смѣюнчики, смѣюнчики!
О, разсмѣйтесь, смѣхачи!
О, засмѣйтесь, смѣхачи! [20])

Смѣхачи, дѣйствительно, смѣялись, но, помню, я читалъ и хвалилъ. И вѣдь, дѣйствительно, прелесть. Какъ щедра и чарующе-сладостна наша славянская рѣчь! Только тупица-педантъ можетъ, прочитавъ эти строки, допытываться, какое-же въ нихъ содержаніе, что-же онѣ, въ сущности, значатъ. Тѣмъ-то онѣ и прельстительны, что онѣ не значатъ ничего. А что, по вашему, значитъ изумрудно-золотой узоръ на изумительномъ павлиньемъ хвостѣ? Или звенѣнье лѣсного ручья? И вѣдь сколько разъ наши поэтики изъ себя выходили, божились, что смыслъ въ поэзіи будто—ничто, а главное будто-бы — словесная магія, обаяніе напѣвовъ и звуковъ, однако, вѣдь никто не додумался да вотъ такихъ смѣхачей и смѣхунчиковъ! О, изсмѣйся разсмѣяльно смѣхъ надсмѣйныхъ смѣячей,—вѣдь это революція, хартія вольности, вѣдь за одну за эту строку, за единственную, я бы автору сейчасъ поставилъ памятникъ и на памятникѣ приказалъ бы начертать:

Виктору Хлѣбникову.
Первому Освободителю Стиха

Въ самомъ дѣлѣ, вы только подумайте, сколько лѣтъ, сколько вѣковъ, тысячелѣтій поэзія была въ плѣну у разума, у психологіи, у логики, слово была въ рабствѣ у мысли, и вотъ явился рыцарь, меченосецъ, герой, и безъ всякаго Крестоваго Похода мирно и даже съ улыбочкой, разрушилъ эти вѣковые оковы, прогналъ отъ красавицы-Поэзіи ея плѣнителя, Кащея,—Разумъ. О разсмѣйтесь надсмѣянно смѣхомъ смѣйныхъ смѣхачей! вѣдь слово отнынѣ свободно: можете съ нимъ дѣлать, что хотите, хоть вѣники изъ него сплетайте, словесные гирлянды, букеты, о комъ упивался Викторъ Хлѣбниковъ этой новою свободой слова въ первые медовые дни послѣ тысячелѣтняго плѣна.

[20]) «Студія импрессіонистовъ». Треугольникъ. Книга I-я. Редакція Н. И. Кульбина, изд. Н. И. Бутковской, стр. 4.

какіе создавалъ онъ узоры, орнаменты изъ этихъ вольныхъ самоцвѣтныхъ словъ!—

Бобэóби пѣлись губы,
Вээóми пѣлись взоры,
Піээо пѣлись брови,
Ліэээй пѣлся обликъ...
(*Пощечина etc.* 7 стр.).

Слушаешь, бывало, упиваешься. И вправду, до чего граціозно. Если на клочкѣ полотна, въ какомъ-нибудь живописномъ этюдѣ для насъ такъ восхитительны краски, что мы и не замѣчаемъ сюжета, то почему-же мнѣ не восхищаться такою-же словесною живописью, хотя-бы и безъ-сюжетною, хотя-бы только орнаментальною. Да я и восхищался всегда. Смѣйтесь, смѣхачи, сколько хотите, а я часами могу съ новымъ и новымъ волненіемъ читать Свинберна, Блока, ранняго Бальмонта, Фета, почти не вникая въ ихъ мысли, услаждаясь внутренней жизнью стиха, самоцѣннымъ чарованіемъ поэзіи. Но смѣхунчики еще и тѣмъ хороши, что, не стѣсняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать ихъ въ какую хочу окраску. Я могу читать ихъ зловѣще, и тогда они внушаютъ мнѣ жуть, я могу читать ихъ лихо-весело, и тогда мнѣ чудится, что пасха, весна и что мнѣ четырнадцать лѣтъ. Тогда смѣхунчики, смѣшки-какъ весенніе воробушки, какъ бѣгущія малыя тучки. Нѣтъ, дѣйствительно, безъ logos'a легче, да здравствуетъ же заумный языкъ, автономное, свободное слово!

— Уничтожимъ-же устарѣвшее движеніе мысли по закону причинности, беззубый здравый смыслъ, симметричную логику! — такъ постановили футуристы на послѣднемъ своемъ съѣздѣ въ Финляндіи.

Разумъ свергнутъ, весь міръ безразуменъ, но, конечно, имъ и этого мало. Свобода, такъ свобода до конца! Рушить, такъ рушить! Неужели, свергнувъ иго Разума, мы останемся въ оковахъ Красоты? Не свергнуть ли и красоту за-одно? Довольно надъ нами владычествовали Петраркн, Бетховены, Рембрандты! Красота поработила весь міръ, и Крученыхъ первый поэтъ, спасшій насъ отъ ея вѣковѣчнаго гнета. Оттого-то корявость, шершавость, слюнявость, кривоножіе,

косноязычіе, смрадъ такъ для него притягательны, и въ послѣдней своей поэмѣ онъ поетъ соачью конуру, гдѣ грязный блохатый песъ давитъ губами клоповъ, именно въ видѣ протеста, противъ нашихъ эстетическихъ уставовъ! Ему и смѣхунчики гадки, вѣдь и въ нихъ еще осталась красота. *Смьхунчики* есть бунтъ лишь противъ разума, а *оыр бул щыл зю цю э сйрум* есть бунтъ и противъ разума, и противъ красоты! Здѣсь высшее освобожденіе искусства.

Прежніе поэты, напримѣръ, такъ любили воспѣвать луну и звѣзды, звѣзды ясныя, звѣзды прекрасныя, огненныя розы міроздания,—и что дѣлать бы Фетъ безъ звѣздъ! Бурлюки же именно поэтому: къ чорту звѣзды, къ чорту небеса!—

Небо—трупъ!! не больше!!
Небо смрадный трупъ!!
Звѣзды—черви, пьяные туманомъ...
Звѣзды—черви, гнойныя, живая сыпь!—

восклицаетъ Давидъ Бурлюкъ въ своей книгѣ Дохлая Луна, и огромная область эстетики тѣмъ самымъ уничтожена, зачеркнута.

Но изъявъ изъ всего міра разумъ, отнявъ у него красоту, они пошли по этой дорогѣ и дальше. Изгнали изъ поэзіи женщину, вырвали у поэтовъ языки, — но какъ-бы еще оголиться, что еще съ себя такое сбросить, чтобы уже ничего не осталось: только-бы на голой землѣ голые съ голыми душами! Какой-то желторотый было выкрикнулъ:

— Во имя свободы личнаго случая мы отрицаемъ правописаніе!

А другой подхватилъ нерѣшительно:

— Уничтожимъ знаки препинанія! (Садокъ Судей , II.

Но вѣдь знаки препинанія пустяки, тутъ только-что разбунтовались, разошлись, хочется еще и еще. Накинулись всей оравой на Пушкина:

— Пушкинъ непонятнѣе гіероглифовъ!
— Зачѣмъ Пушкинъ не сжегъ Онѣгина!
— Пушкинъ былъ ниже Третьяковскаго!
— Сбросимъ Пушкина съ Парохода Современности!

И даже Игорь Сѣверянинъ вмѣстѣ съ ними:

— Для насъ Державинымъ сталъ Пушкинъ!

Но у Сѣверянина это блажь, модный галстучекъ, да и какъ-же Сѣверянину безъ Пушкина: поминутно цитируетъ Пушкина, выбираетъ эпиграфы изъ Пушкина, и стихи даже пишетъ подъ Пушкина, а кубо-футуристы и вправду: сбросить, растоптать, уничтожить:

Сбросить Достоевскаго, Толстого, чтобъ они не портили намъ воздухъ!—выкрикнулъ недавно Крученыхъ.

— Я тоскую по большому костру изъ книгъ, пишетъ меланхолически Хлѣбниковъ.

И характерно: когда Василискъ Гнѣдовъ на минуту, по какому-то капризу, сталъ внезапно писать по-украински, онъ и тамъ закричалъ: долой!—

Перша эго-футурня пісня
На украіньский мові:
Усім набридли Тарас Шевченко
Та гопашникъ Кринівницкій.

то-есть всѣмъ надоѣлъ величайшій поэтъ и величайшій актеръ Украины. Какой ни коснутся культуры, всякую норовятъ уничтожить!

Тутъ бунтъ ради бунта, тутъ экстазъ, тутъ восторгъ разрушенія, и ужъ имъ не остановиться никакъ. Такъ и озираются по сторонамъ, что бы имъ еще ниспровергнуть. Всю культуру разсыпали въ пыль, всѣ наслоенія вѣковъ, и ужъ до того добунтовались, что, кажется, дальше и некуда,—до дыры, до пустоты, до нуля, до полнаго и абсолютнаго nihil, до той знаменитой поэмы знаменитаго Василиска Гнѣдова, гдѣ нѣтъ ни единой строки: бѣлоснѣжно-чистый листъ бумаги, на которомъ ничего не написано! Вотъ воистину послѣднее освобожденіе, послѣднее оголеніе души. Это бунтъ противъ всего безъ изъятія, вѣчный, исконной, коренной россійскій нигилистическій бунтъ, вѣчная наша нечаевщина, и это совершенная случайность, что теперь она прикрылась футуризмомъ. Не нужно намъ никакихъ Маринетти, у насъ и своихъ презбыточно,—сарынь на кичку, трабабахнемъ, сожжемъ! Маринетти еще не родился, а ужъ Савва Леонида Андреева на Волгѣ, на Уралѣ восклицалъ:

— «Я рѣшилъ уничтожить все... старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство, Третьяковскую галлерею и другія, поважнѣе которыя... Нужно, чтобы теперешній человѣкъ голый остался на голой землѣ. Нужно оголить землю, нужно уничтожить все... Мы сдѣлаемъ хорошій костерчикъ и польемъ его керосиномъ».

Вотъ гдѣ истинный духовный отецъ россійскаго квазифутуризма. Тутъ тотъ-же порывъ, тотъ-же паѳосъ!

Италіи какъ не кричать: къ чорту Данте, къ чорту Рафаэля! вѣдь изъ-за своихъ грандіозныхъ покойниковъ она вся превратилась въ мертвецкую, вѣдь этими тяжелыми трупами придавлено въ ней молодое растущее, вѣдь ей словно кто запретилъ жить настоящимъ и будущимъ, а дозволилъ только прошедшее. Она хочетъ быть юной невѣстой, а должна быть траурной вдовой. Какъ-же ей иной разъ не проклясть своихъ роковыхъ мертвецовъ! Но мы, новорожденные, безъ вчерашняго дня, безъ традиціи, почти безъ исторіи, безъ памятниковъ, когда же мы успѣли извѣдать эту тиранію прошедшаго, этотъ гнетъ преданій и предковъ? Вѣдь только-что начали робко завязываться слабенькіе узелочки культуры, какіе-то законы, каноны, уставы, какъ вотъ уже рявкнула азіатская глотка: сарынь на кичку, трабабахнемъ, сожжемъ!..

Но все-же хоть и голая, хоть нищая, а осталась-же у нихъ душа! Все-же хоть заумнымъ языкомъ, хоть харканіемъ, хоть хрюканіемъ, хоть храпомъ, а могутъ-же они ее излить предъ таки-жъ оголтѣлыми, какъ сами! Пусть они отказались отъ разума, пусть имъ не нужна красота, но эмоціи, хоть и пещерно-звѣриныя, все-жъ имъ, надѣюсь, доступны, слѣпыя безразумныя движенія слѣпой безразумной души!

Но къ тому-то я теперь и веду, о томъ-то я и хочу закричать, что въ своемъ зловѣщемъ порывѣ къ нулю, къ пустотѣ, къ дырѣ эти страшные поэты-взорвалисты не только задушевное, душевное, но и самую душу истребили, убили вконецъ. Психика, психея, психологія, то, что чуется сердцемъ въ каждой убогой царапинѣ на какой-нибудь свайной постройкѣ, впервые за милліоны вѣковъ уничтожена, отвергнута ими. Дыра, какъ уже дыра, прорва прорвой!

— Тайны души не для насъ, гордо похваляются они. Къ чорту человѣческую душу! Мы прогнали Психею прочь: она захватана, затаскана другими! Пусть она издохнетъ въ одиночествѣ, безъ Психеи намъ гораздо привольнѣе! (Слово какъ таковое, стр. 11).

И вотъ безъ души, оскопленные — безъ красоты, безъ мысли, безъ любви — съ однимъ только нулемъ, съ пустотой — сидятъ въ какой-то бездонной дырѣ и онанируютъ заумными словами:

— Кукси кум мук и скук!..

— Мороватень Широкань! Виноватень Великань!

Свободны, какъ никто во всемъ мірѣ, но, бѣдные, почему-же они плачутъ? А они до единаго плачутъ. Или и вправду такъ жутко жить дырою, нулемъ, пустотой? И вправду развѣ нельзя напитать человѣческій духъ нигилизмомъ? Будь хоть Смердяковъ, хоть Передоновъ, а минуточки, секундочки не проживешь однимъ лишь забубеннымъ: наплевать! Всмотритесь въ этихъ крикуновъ, бунтарей, взорвалистовъ, вѣдь какъ бы они не форсили, какая страшная, бездонная тоска слышится въ ихъ гиганьѣ и свистѣ. Жутко имъ нагишомъ, обездушеннымъ! Мы видѣли, какъ угрюмъ и коричнево-скученъ Крученыхъ. Я попробовалъ было читать Бурлюковъ: плакальщики, самоубійцы, могильщики. Такъ и зарябило въ глазахъ:

— «Мы изнеможенные, оцѣпенѣлые!»

— «Я вялый и ничтожный!»

«Отравленная скука»... «вялый, тусклый, скучный умъ»... «сѣрое, дождливое утро»... «чахлая гвоздика»... «завянувшій цвѣтокъ»... «увядающая зелень»...

Это сѣрое небо—
Кому оно нужно?
Осеннее небо
Старо и недужно!

таковы ежеминутные образцы у этихъ громилъ, разрушителей, образы увяданія, ущерба, усталости, умиранія, скуки, покорности, — о, съ какимъ ошеломительнымъ хохотомъ, взглянулъ-бы на нихъ Маринетти, истребитель Паралича и Подагры, поэтъ-фейерверкъ, поэтъ пулеметъ. Нигилизмъ отчаянной

удали—нигилизмъ отчаянной усталн, и прислушайтесь: за всѣми ихъ бунтарскими ревами вы услышите тихія, старыя, вѣчныя, русскія жалобы:

Затянулось небо парусиной.
Сѣетъ долгій дождикъ!
Пахнетъ мокрой псиной...
Нудно, охъ, какъ одиноко,
На другомъ окошкѣ дремлетъ
Одинокая, какъ я,
Сука старая моя:
Сука—скука!

Это напечатано въ первомъ же футуристическомъ сборникѣ, въ знаменитомъ Садкѣ Судей, и, неправда-ли, это—коренное, родное, рѣшительно ни у кого не заимствованное!

Съ какой то предсмертной тоской, съ безнадежной унылостью творятъ они свое страшное дѣло, и, конечно, только въ насмѣшку мы можемъ называть ихъ футуристами.

XIII.

Моя статья черезчуръ растрепалась, постараюсь ее сконцентрировать. Ея главная мысль такая: если позабыть о Сѣверянинѣ и вообще о всѣхъ эго-поэтахъ, которые съ этимъ новымъ теченіемъ связаны чисто-внѣшне, то въ россійской футуръ-поэзіи мы наблюдемъ три тенденціи.

Первая къ урбанизму, къ той могучей машинно-технической, американо-промышленной культурѣ, которая, измѣнивъ общечеловѣческій бытъ, захватываетъ понемногу всю вселенную. Это направленіе не новое: на Западѣ ему ужъ за семьдесятъ, да и у насъ модернисты, особливо Валерій Брюсовъ, такъ полно и богато отразили его въ своихъ незабываемыхъ твореніяхъ, издавна воспѣвая кэбы, трамваи, рестораны, авто, электричество.

Вторая тенденція для бѣглаго взгляда есть тенденція противоположная, несовмѣстимая съ первой: къ опрощенію, къ отказу отъ культуры, къ пещерности, троглодитству, звѣриности. Но, конечно, ихъ противорѣчіе иллюзія: онѣ обѣ лишь дополняютъ другъ-дружку, и одна безъ другой

невозможны: именно машинно-техническій бытъ, покоряя насъ все больше и больше, побуждаетъ насъ бѣжать отъ него. Чѣмъ больше человѣчество будетъ идти къ небоскребамъ, тѣмъ страстнѣе въ немъ будетъ мечта о пещерахъ. Значитъ, мы и вправду шагаемъ куда-то впередъ, если вотъ насъ зовутъ назадъ! Въ желѣзо-бетонный вѣкъ такъ естественны грезы о каменномъ.

Третья тенденція—самобытная, наша, и ее-то я стремился здѣсь выявить. Это воля къ анархіи и бунту, къ разрушенію всѣхъ каноновъ и цѣнностей воля слѣпая, стихійная, почти безсознательная, но тѣмъ-то наиболѣе могучая. Словно всѣ темно-бунтарскія силы, которыхъ такъ много въ Россіи, которыя есть въ каждомъ изъ насъ, долго искали исхода, и вотъ, наконецъ, прорвались въ невиннѣйшемъ литературномъ теченіи, которому органически чужды. Страна, гдѣ послѣдній забулдыжный проповѣдникъ, что лежитъ въ канавной кранивъ, и первый государственный мужъ исповѣдуютъ единое credo, единый девизъ: наплевать! не могла не породить Крученыхъ...

И всѣ эти три тенденціи осуществляются подъ знакомъ будущаго. Будущее, будущее, это у всѣхъ какъ психозъ: непремѣнно стать небывалыми, новыми, пусть и плохими, но будущими, словно будущее, само по себѣ, будущее, какъ самоцѣль, можетъ служить мѣриломъ нашихъ духовныхъ цѣнностей. Конечно, этотъ культъ новизны объясняется все тѣмъ-же обѣшеннымъ темпомъ тротуарной мелькающей жизни, но за исключеніемъ робкихъ куплетцевъ все о тѣхъ же моторахъ, аэропланахъ, витринахъ, что же истинно-новаго, будущаго таитъ въ себѣ русскій футуризмъ? Ничего, ни единой черты. Какъ они ни гнались за будущимъ, будущее ускользнуло отъ нихъ. И когда я всматриваюсь въ этихъ вершковыхъ новаторовъ, въ ихъ надрывную нервическую скачку за какой-то завтрашней секундой, хотя секунда есть только секунда: мелькнула, и вотъ ея нѣтъ! я вспоминаю другого поэта, библейски-величаваго барда, циклопическаго старца-пророка, который, много десятилѣтій назадъ, сподобился встать предъ міромъ какъ первый поэтъ-футуристъ, первый предвѣстникъ грядущаго, не грядущихъ се-

кунгъ, а вѣковъ! и отпечатлѣлъ въ своемъ творчествѣ молитвы и чаянія, страсти и вѣрованія будущей неотвратимой эпохи, вколотивъ ее всю въ изумительномъ единственномъ словѣ, о которомъ почему-то позабыли наши эго- и кубо-поэты –въ титаническомъ словѣ: демократія. Я конечно, говорю о Уотѣ Уитмэнѣ. Демократія! только въ ней нашъ удѣлъ, только въ ней наше неизбѣжное будущее, нашъ истинно-футуристическій бытъ. Я уже разсказалъ въ другомъ мѣстѣ о томъ нечеловѣческомъ экстазѣ, томъ широчайшемъ размахѣ безумной грандіозной фантазіи, съ которой нашъ великій футуристъ преобразилъ демократію будущаго ту, о которой мы только скудно мечтаемъ, въ какое-то новое солнце какихъ-то новыхъ небесъ и всю вселенную увидѣлъ по-новому глазами этихъ новыхъ грядущихъ людей!

Но, конечно, его футуризмъ возникъ не въ шелковой желтой гостиной, а въ сутолокѣ демократическихъ толпъ, гдѣ нѣтъ ни озерзамковъ, ни грезеровъ, ни виконтессъ-кокотессъ! [21]).

[1]) Объ этомъ см. мою новую книжку „Поэзія Грядущей Демократіи" гдѣ дана посильная характеристика этого перваго поэта футуриста и приведены образцы его творчества.

К. ЧУКОВСКІЙ.

ОБРАЗЦЫ ФУТУРИСТИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ.

Опытъ хрестоматіи.

Образцы футуристической литературы.

Подъ редакціей К. Чуковскаго.

«Эпатируйте буржуа!»

Въ эту хрестоматію избранныхъ твореній русскихъ поэтовъ-футуристовъ я, естественно, не включаю того, что вызвано единственной цѣлью эпатировать буржуа, ошарашить, ошеломить обывателя, ибо, сколь эта цѣль ни почтенна, она вѣдь искусству чужда.

Замѣчательно: еще ни одно направленіе въ искусствѣ не тратило на нее столько силъ: романтики французскіе, нѣмецкіе, тоже эпатировали буржуа, но умѣренно, какъ будто шутя; символисты гораздо больше, и вотъ у футуръ-поэтовъ чуть не вся ихъ энергія уходитъ на это постороннее дѣло: совсѣмъ какъ иная американская фирма, которая девяносто процентовъ тратитъ на рекламы, плакаты, афиши, и только десять—на самое созиданіе цѣнностей.

Такая эволюція естественна: чѣмъ больше въ демократической нашей культурѣ къ искусству привлекается лицъ, тѣмъ яростнѣе между ними конкурренція, тѣмъ громче, пронзительнѣе каждый долженъ прокричать о себѣ, чтобъ его замѣтилъ потребитель. Не внутренняя духовная сущность, а внѣшняя яркость, эффектность, разительность становятся мѣрилами искусства. Нужно навязчивѣе закричать о себѣ: это я! нужно вбить хоть молоткомъ свое имя въ черепъ равнодушнаго прохожаго, и вотъ изъ года въ годъ всѣ сюжеты и темы неслыханнѣе, заглавія все сногсшибательнѣе и, чтобы заявить о себѣ, даже даровитымъ художникамъ приходится, какъ мы недавно читали, размалевывать себѣ краскою лица и шествовать въ такомъ клоунскомъ видѣ по улицамъ. Поэтамъ, даже талантливымъ, (а ужъ бездарнымъ недавно), нужно называть свои книги «Засахаренная Крыса»,

«Дохлая Луна», «Бей», «Въ и Внѣ», и ежедневно, ежеминутно придумывать какой-нибудь новый фокусъ, чтобъ, ошеломивъ, привлечь къ себѣ толпу.

Здѣсь сказалась коренная перестройка той соціальной среды, гдѣ осуществляется отнынѣ художество, и, право, я не вижу здѣсь ужаснаго. Еще Бердслей, Оскаръ Уайльдъ вступили на этотъ неизбѣжнѣйшій путь. Нужно только, изучая творенія новоявленныхъ футуръ-писателей, тщательно отдѣлять отъ ихъ опусовъ тѣ черты и особенности, которыя исключительно вызваны такою эпатаціей буржуа.

Если въ «Ослиномъ Хвостѣ», напримѣръ, мы читаемъ такіе стихи изъ какой то миѳической книги «Рекордъ»:

ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ ъ
Оз з з з з з з о
Ха дур тан
Есп Есп

то ясно, что здѣсь лишь невиннѣйшій, безпомощно-простодушный скандалъ, съ которымъ намъ безполезно считаться. Сюда жѳ относятся стихи изъ однѣхъ только согласныхъ буквъ:

Счтрп трг ждвр
Смк чпр вчпц

и такія же поэмы изъ гласныхъ московскаго стихотворца Крученыхъ, и такіе, напр., вензеля изъ единаго слова: Повелика:

и к
к и
о л
лика ве по
л и о л
е о е
в в в
о е
л

и такія издѣвательскія строки:

Кеп
. . . . . ?
, , , , . . ?
?

И такъ дальше, и такъ дальше; см. Ослиный Хвостъ и Мишень». М. 1913 стр. 144, 145, 146.

Конечно, эго-футуристы петербургскіе къ подобнымъ пріемамъ не склонны, и лишь теперь, когда ихъ группа рас-

палась, а ихъ всѣхъ поглотили московскіе, мы можемъ увидѣть такое же у **И. В. Игнатьева** или у **Василиска Гнѣдова** Вотъ напримѣръ:

Opus 45 Ивана Игнатьева.

Н.
Величайшая
Ъ
Гъе.
умом Ас
е
б
ѣ

Съ такимъ примѣчаніемъ автора:

Opus 45 написанъ исключительно для взиранія, слушать и говорить его нельзя. (Эшафотъ". СПБ. 1914).

Этотъ авторъ порою составляетъ такіе узоры изъ буквъ, что объ иныхъ его опусахъ мы принуждены узнавать только изъ подобныхъ примѣчаній:

Въ виду технической импотенціи opus И. В. Игнатьева Лазоревый Логарифмъ не можетъ быть выполненъ типо-литографскимъ способомъ.

Много подобныхъ жестовъ, разсчитанныхъ (кажется, тщетно) на ошеломленіе читателя, наблюдаемъ у Василиска Гнѣдова. Вотъ его стихи изъ книги «Смерть искусству»:

Поэма 6. Робкотъ.

Сомъ!—а—ві—ка. Сомка!—а—віль—до.

Поэма 7. Смольга.

Кудренп—Выпилая Морааль.

Поэма 8. Грохлитъ.

Серебрай Нить.—Коромысля. Брови.

Повторяю: хотя Игнатьевъ и Гнѣдовъ зовутъ себя эго-футуристами, они даже по своей манерѣ эпатировать буржуа тяготѣютъ къ группѣ Московской. Какъ эпатируютъ буржуа истинные эго-футуристы, мы уже видѣли, а потому переходимъ къ тѣмъ произведеніямъ обѣихъ партій, гдѣ намѣчены иныя задачи.

Заумный языкъ.

Начнемъ съ заумнаго языка. Этотъ языкъ открываетъ поэту новую область: звукоподражаніе. Вы можете сочетаніемъ безсмысленныхъ звуковъ создать иллюзію того или иного нарѣчія.

Вотъ иллюзія грузино-армянскаго или арабскаго говора:

Хан хан да дап
Шу тур и дес
Виларь ягда
Суксан кардекп
Мак са Мак са

Яким ден зар
Вакс бар дан як
    Заза
Сю сеч базд и
Гар ё зда бе
    Мен хатт зайде
    Вин да чок ме

(*Антонъ Лотовъ.* „Мелодія Восточнаго Города").

Сюда же относится попытка Василиска Гнѣдова передать заумнымъ языкомъ мелодію украинской рѣчи:

Гриба будикъ цири чиніч—
Здвіна на хамъ дяки,
Коли за гичь будин цікавче
Тарасъ Шерченко будяче скавче—
Гуля ласкавъ стогма регота цвірка
Свитина ззіла санкэ.
Байдры шлига шкапікъ руко
На дьготі сила хмара
А я з зірокъ поів опару

При такомъ отношеніи къ поэтической рѣчи понятна похвальба стихотворца богатствомъ своего словаря:

Шекспиръ и Байронъ владѣли совмѣстно
80 тысячами словъ—
Геніальнѣйшій Поэтъ Будущаго Василискъ
Гнѣдовъ ежеминутно владѣетъ 80000000001
квадратныхъ словъ.

Кромѣ буквенныхъ узоровъ и звуковыхъ подражаній различнымъ нарѣчіямъ, заумный языкъ предоставляетъ поэту возможность комбинировать слоги заумныхъ словъ самымъ неожиданнымъ образомъ. Вотъ, напр., отрывокъ изъ длиннаго стихотворенія Виктора Хлѣбникова, гдѣ каждая строчка съ конца читается такъ-же, какъ и съ начала:

Перевертень.

(Кукси кум мук и скук).

Кони, топот, инок.
Но не речь, а черен он
Идем молод, долом меди
Чин званъ мечем навзничь.
Голод чѣм меч долог?
Пал а поров худ и дух ворона
    лан.
А что? я лов? Воля отча!
    Яд, яд, дядя!
    Иди, иди!

Морозъ въ узелъ, лѣзу взоромъ.
Соловъ, зовъ, возъ волосъ.
Колесо. Жалко поклажъ. Оселокъ.
Сани плотъ и возъ и зовъ и
толпъ и насъ
Гордъ дохъ, дохъ дрогъ.
И лежу ужели.

и т. д. (Садокъ Судей II).

У Виктора Хлѣбникова вообще такихъ опытовъ много, и онъ самъ называетъ ихъ вздоромъ. (Союзъ Молодежи II, 56). Иногда онъ ставитъ себѣ цѣлью, чтобы въ четырехъ строкахъ его стиховъ звуки к л р повторялись по пяти разъ каждый; иногда, пользуясь славянскими суффиксами, создаетъ изъ заумныхъ словъ подобіе древне-скифскаго говора:

Сумнотичей и грустистелеи
Зоветъ рыданственный жалель,

Конечно, надъ такой тарабаршиной очень легко издѣваться, но я попробую ее похвалить. Постараемся, хотя бы на минуту, стать адвокатами этого безнадежнаго вздора. Такъ какъ Хлѣбникову несомнѣнно дано острое чувство эмоціональной сущности слова, онъ виртуозно владѣетъ своимъ заумнымъ нарѣчіемъ и порою создаетъ на немъ такіе, напр., шедевры:

Я смѣярышпя смѣхочествъ
Смѣхистѣлинно беру
Нераскаянныхъ хохочествъ
Кинь злооку—глубирю.
Пусть гопочичь, пусть хохотчичь
Гопо гопъ гопопѣй
Словомъ дивнымъ застрекочетъ
Насъ сердцами закипѣй.

и т. д. (Дохлая Луна, Черный Любарь).

Нужно, дѣйствительно, носить въ душѣ самую стихію русской рѣчи, чтобы создать эти звуки, вихревые, плясовые, залихватскіе: пусть гопочичь, пусть хохотчичь, гопо гопъ гопопѣй! — здѣсь отличная словесная инструментовка въ глубоконаціональномъ духѣ; право, здѣсь есть что-то Малявинское. Не забудемъ также о граціозныхъ *смѣхучичкахъ*, гдѣ помимо проницательнаго постиженія славянскихъ флексій и суффиксовъ, есть какое-то настройство лирическое. То же хочется сказать о семистишіи:

Бобэбби пѣлись губы,
Вээбми пѣлись взоры

и т. д.

*) См. „Пощечина общественному вкусу“ и „Союзъ Молодежи“.

Вѣдь оно написано размѣромъ «Гайаваты», «Калевалы». Если намъ такъ сладко читать у Лонгфелло:

Шли Чоктосы и Команчи.
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мендэны.
Делавэры и Могоки —

(перев. Ив. Бунина).

то почему мы смѣемся надъ Бобэобами и Вээомами? Чѣмъ Чоктосы лучше Бобэобы? Вѣдь и тамъ и здѣсь гурманское смакованіе экзотическихъ, чужде-звучащихъ словъ. Для русскаго уха бобэобы такъ же «заумны», какъ и чоктосы: шошоны, какъ и гзи-гзи-гзэи! И когда Пушкинъ писалъ:

Отъ Рущука до старой Смирны,
Отъ Трапезунда до Тульчи,—

развѣ онъ не услаждался той же чарующей инструментовкой заумно-звучащихъ словъ?

— «Слово шире смысла», — читаемъ въ брошюрѣ *Трое*. — «Въ словѣ, въ его звукахъ, дана намъ не только логика, не только куцая мысль, но главнымъ образомъ намъ даны ирраціональные элементы, мистическіе, эстетическіе».

Кубо-футуристы.

Все это быть можетъ и прекрасно, но не странно ли, что столь ревностно ратуя за это самовитое, заумное слово, они сами имъ почти не пользуются, и даже **Хлѣбниковъ**, его изобрѣтатель, все чаще и чаще измѣняетъ ему ради такихъ суковатыхъ (отнюдь не заумныхъ) поэмъ:

... Замѣтимъ кратко: Ломоносовъ
Былъ посланъ моремъ Ледовитымъ,
Спасти рожденъ великороссовъ,
Быть родомъ разумомъ забытымъ.
Ну что жъ! Забывъ его вѣнокъ,
Кричимъ гурьбой: падамъ до ногъ!
И въ звукахъ имени Хвалынскаго,
Живетъ донынѣ смерть Волынскаго.

и т. д. и т. д. поэма предлинная и кончается весьма хорошо:

Водой тотъ городъ окруженъ
И въ немъ имѣютъ общихъ женъ.

Этихъ графоманскихъ поэмъ у Виктора Хлѣбникова множество, и онѣ быть можетъ геніальны, но ихъ языкъ, увы, не самовитый; слово здѣсь не самоцѣль, а только средство, скромное средство для выраженія мыслей и чувствованій, подвластное тому самому Logos'у, противъ коего они такъ пылко бунтуютъ.

Остальные собратья Хлѣбникова и совсѣмъ чужды заумной рѣчи и сколько-бъ, напр., **Давидъ Бурлюкъ** ни распинался на разныхъ эстрадахъ въ защиту автономнаго слова, самъ онъ въ своихъ стихахъ этой автономіи чуждъ совершенно.

Вотъ лучшее его стихотвореніе:

Каждый молодъ, молодъ, молодъ,
Въ животѣ чертовскій голодъ,
Такъ идите же за мной,
За моей спиной!
Я бросаю гордый кличъ,
Этотъ краткій спичъ!
Будемъ кушать камни, травы,
Сладость, горечь и отравы,
Будемъ лопать пустоту,
Глубину и высоту,
Птицъ, звѣрей, чудовищъ рыбъ,
Вѣтеръ, глины, соль и зыбь!
Каждый молодъ, молодъ, молодъ,
Въ животѣ чертовскій голодъ,
Все, что встрѣтимъ на пути
Можетъ въ пищу намъ идти!

(„Дохлая Луна". Ор. 75).

Это стихотвореніе мнѣ нравится. Оно не мертвое, въ немъ есть экспрессивность, динамика. Жаль только, что оно—переводное: вѣдь это переводъ изъ Рембо, изъ Жана Артюра Рембо,—хотя тѣмъ то оно и прекрасно.

Такъ же далека отъ всякой заумности покойная футуристка **Елена Гуро**, лирическое дарованіе которой вскорѣ будетъ признано всѣми. Ея тема: свѣтлая боль, радость увяданія, умиранія и нѣжность до восторженной муки. Ея стихи на смерть единственнаго сына, такіе простые и страшные, невозможно читать безъ участія:

Вотъ и легъ утихшій, хорошій —
Это ничего...
Нѣжный, смѣшной, вѣрный, преданный —
Это ничего...
Дитя мое, дитя хорошее,
Неумѣлое, вѣрное дитя!
Я жизни такъ не любила,
Какъ любила тебя...
И за нимъ жизнь уходитъ —
Это ничего.
Онъ лежитъ такой хорошій —
Это ничего.

(„Осенній сонъ". Спб. 1912).

Ея душа знала экстазы жалости, и въ нихъ обрѣтала себя. Даже ея дурашливый стиль, капризный, порой эксцент-

рическій, — пронзекаетъ изъ этихъ презмѣрныхъ приливовъ любви! такъ влюбленные, лаская другъ-друга, измышляютъ дикіе эпитеты, странныя, смѣшныя слова:

— Котикъ, пушатикъ, пушанчикъ, воркотикъ, дуратикъ.

Вотъ типичное стихотвореніе Е. Гуро—должно быть предсмертное:

... я думаю о тѣхъ,
Кто на свѣтѣ въ чудакахъ,
Кто за это въ обидѣ у людей,
Позасунуты въ уголкахъ — озябшіе безъ ласки,
Плетутъ неумѣлую жизнь, будто бредутъ
Длинной дорогой безъ тепла.
Заглядѣлись на чужіе цвѣтники,
Гдѣ насижены
Розовенькіе и лиловенькіе цвѣты
Для своихъ, для домашнихъ.—
А все же ихъ хоть дорога ведетъ
Идутъ куда глаза глядятъ,
Я—же и этого не смогла:
Я смертной чертой окружена.
Я не знаю, кто меня обвелъ.
Я только слабѣю и зябну здѣсь.
Какъ рано мнѣ приходится не спать,
Оттого, что я печалюсь.

(„Трое“. 1913).

Ясно, здѣсь г. Крученыхъ не причемъ. Здѣсь нечего дѣлать г. Василиску Гнѣдову. Озябшая душа искала крова, и рада была пріютиться среди чужихъ, постороннихъ.

Такой же постороній среди нихъ г. **Николай Бурлюкъ.** Онъ даже немного сродни трогательной Еленѣ Гуро. Въ своихъ краткихъ, скудныхъ, старинныхъ, блѣдноватыхъ, негромкихъ стихахъ онъ таитъ какую-то застѣнчивую жалобу, какое-то несмѣлое роптаніе:

О берегъ плещется вода,
А я усталъ и изнемогъ.
Вотъ, вотъ наступятъ холода,
А я отъ пламенъ не сберегъ!

И робкую какую-то мечту:

Что если я, заснувъ въ туманахъ,
Печально плещущей Невы,
Очнусь на солнечныхъ полянахъ,
Въ качаньи вѣтренной травы.

Онъ самый цѣломудренный изо всѣхъ футуристовъ: скажетъ четыре строки, и молчитъ, и въ этихъ умолчаніяхъ, въ паузахъ чувствуешь какую-то серьезную значительность:

Какъ станетъ все необычайно
И превратится въ міръ чудесъ,
Когда почувствую случайно,
Какъ безпредѣлепъ сводъ небесъ.

Грустно видѣть, какъ этотъ кротчайшій поэтъ напяливаетъ на себя футуризмъ, который только мѣшаетъ излиться его скромной, глубокой душѣ.

Точно также напрасно насилуетъ себя эстетъ и тайный парнасецъ г. **Бенедиктъ Лившицъ**, совершенно случайно примкнувшій къ этой группѣ. Шелъ бы къ г. Гумилеву! На что же ему, трудолюбцу, „принципъ разрушенной конструкціи“! Опьяненіе отличная вещь, но трезвый, притворившійся пьянымъ, оскорбляетъ и Аполлона и Бахуса! Какъ усыпительны его дерзобезумія:

„Долгіе о грусти ступаемъ стрѣлой. Желудѣютъ по канаусовымъ яблокамъ, въ пепелъ оливковыхъ занятыхъ, узкія совы. Черныхъ обоночившихъ поцѣлуяхъ медомъ пусть восьмигранныхъ и коричневыми газетныя астры. Но такія. Ахъ, милый поэтъ, здѣсь любятся не безвременьемъ, а къ развѣяннымъ облакамъ. Это правда: я уже сказалъ. И еще болѣе долгіе, опепленные былымъ гіацинтофоры декабря“.

Это напечатано въ Пощечинѣ. Но вѣдь это не пощечина, а бромъ!

Не то г. **Маяковскій**. Это кликуша, неврастеникъ, горластый, ему бы метаться по площади и кричать, рыдая: гниды вы! Его синтаксисъ безсвязенъ, его слова сумасшедшія, но въ нихъ ударность, надрывъ. И его косноязычіе только придаетъ ему мощь. Никогда не шепчетъ, не поетъ, всегда кричитъ изъ послѣдняго голоса, до хрипоты, до судорогъ и когда привыкнешь къ его надсадному крику, почувствуешь здѣсь подлинное. Къ заумному языку онъ также вполнѣ равнодушенъ.

I.

По мостовой моей души изъѣзженной
Шаги помѣшанныхъ
Вьютъ жесткихъ фразъ пяты;
Гдѣ
Города
Повѣшены
И въ петлѣ облака застыли
Башенъ кривыя
Выи—
Иду одинъ рыдать, что перекрестькомъ.
Распяты
Городо-
Вые.

II.

Нѣсколько словъ о моей женѣ.

Морей невѣдомыхъ далекимъ пляжемъ
Идетъ луна.
Жена моя.

Моя любовница рыжеволосая,
За экипажемъ
Крикливо тянется любовь созвѣздій
Пестрополосая,
Вѣнчается съ автомобильнымъ гаражемъ.
Цѣлуется съ газетными кіосками,
А шлейфа млечный путь моргающимъ пажемъ
Украшенъ мишурными блестками.

Его образы чисто-импрессіонистскіе:

III.

Полночь промокшими пальцами щупала
Меня и забитый заборъ,
И,—съ каплями ливня на лысинѣ купола,—
Скакалъ сумасшедше соборъ.
А Онъ изъ картины сквозь городъ бѣжалъ:
Хитона обвѣтренный край цѣловала плача слякоть.
Кричу
Кирпичу,
Словъ изступленныхъ вопзая кникалъ
Въ неба распухшаго
Мякоть:
— Солнце!
Отецъ мой, сжалься-жъ хоть ты и не мучай...
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней!
Это жъ душа моя клочьями порванной тучи
Въ выжженномъ небѣ на ржавомъ крестѣ колокольни.
Время,
Хоть ты, хромой богомазъ, ликъ намалюй мой
Въ божницѣ уродца вѣка.
Я-жъ одинокъ, какъ послѣдній глазъ
У идущаго къ слѣпымъ человѣка.

IV.

Вѣтеръ колючій трубѣ вырываетъ
Дымчатой шерсти клокъ;
Лысый фонарь сладострастно снимаетъ
Съ улицы спній чулокъ!

Рѣчетворчество. Націонализмъ.

Не довольствуясь заумнымъ языкомъ, футуристы пытаются усовершенствовать также и логическую рѣчь, обогатить ее, сдѣлать гибче и тоньше. Здѣсь опять таки преуспѣваетъ Хлѣбниковъ. Одаренный аналитическій умъ, онъ настойчиво изслѣдуетъ морфологію слова, и у него есть цѣлыя диссертаціи, очень солидныя, на двухъ и даже на трехъ страничкахъ, такого, напримѣръ, содержанія:

Летатель удобно для общаго обозначенія, но для сужденія о данномъ полетѣ лучше брать *полетчикъ* (переплетчикъ), а также другія, имѣющія свой каждое отдѣльный оттѣнокъ, напр., неудачный *летунъ* (бѣгунъ), *знаменитый летатай* (ходатай, оратай) и *летчій* (кравчій, гончій). Наконецъ, еще возможно *лтецъ*. *лтица*. по образу „чтецъ" (читатель).

Летское дѣло—воздухоплаваніе.

Въ смыслѣ удобнаго для полета прибора можно пользоваться *легкій* (мѣткій), напр., знаменитая по своей легкости снасть Блеріо.

Для женщинъ удобно сказать *летавица* (красавица, плясавица).

Отъ *легкій* сравнительная степень: *легче*, *легчайшій* въ мірѣ не-болетъ. *Первакъ воздухолетенія*—*легчайшина* или *легчьйшій* изъ русскихъ, *легчьйшина* г. Петербурга. Читать—чтеніе, *летать*—*лтеніе*.

Сидящіе въ воздухолетѣ люди (пассажиры) заслуживаютъ имени *летоки*: летоковъ быть 7 (ходоки , игроки). *Полетная* снасть, *взлетная* снасть—совокупность нужныхъ вещей при взлетѣ или полетѣ.

Самыя игры летанія слѣдуетъ обозначать «*лета*» (бѣга).

И такъ дальше, и такъ дальше. Конечно, диссертація нехитрая, вся основана на простыхъ аналогіяхъ, но есть среди сихъ аналогій - очень тонкія и остроумныя: напр., *летины* день полета («мы были на летинахъ»); *летава* —летательный флотъ («двѣ летавы встрѣтились, готовыя къ бою»); *летоба* авіація, какъ проявленіе жизни, и особенно *летьли*—авіаціонный снарядъ, («Блеріо перелетѣлъ на своихъ летѣляхъ Ламаншъ») Хорошъ также *летало*, («извѣстный за-границей летало»).

Вторая диссертація болѣе сложная: о склоненіяхъ словесныхъ корней, о томъ, что *внутри* русскихъ словъ наблюдаются падежныя измѣненія, что слова *лысъ* и *лысина*, *быкъ* и *бокъ*, *волъ* и *валъ* суть различные падежи однихъ и тѣхъ же словъ: лысина—родительный падежъ, а лѣсъ—дательный и т. д. (Союзъ молодежи, 3).

Замѣтны также стремленія очистить русскую рѣчь отъ наноснаго, чужого. Поэтическое слово, по Хлѣбникову, должно быть слово славяно-русское. Онъ крутой славянофилъ, нетерпимый:

Не увлекайтесь подражаніемъ иностранному!
Не употребляйте иностранныхъ словъ!

(*Трое*, 35).

Лермонтовъ, по мнѣнію Хлѣбникова. обезобразилъ русскую баячь (поэзію), внесши въ нее слово *гладіаторъ*; нужно было сказать: *мечарь*; моргъ нужно замѣнить *трупарней*; слово *университетъ* годится лишь для того, чтобы дразнить собакъ,—Хлѣбниковъ предпочитаетъ *всеучьбище*.

И Крученыхъ тутъ-же увѣряетъ, что въ его заумныхъ строкахъ:

дыр бул щыл
убѣщур
скум
вы со бу
р л эз,—

больше національнаго, русскаго, чѣмъ во всей поэзіи Пушкина. («Слово, какъ таковое» стр. 9).

Эти двое дошли до того, что одну изъ своихъ поэмъ «Игра въ Аду» начертали церковно-славянскими литерами и предпочитаютъ такія слова, какъ *злато, врата, власа, коровушка, мамонька, сердечушко.*

Но врядъ ли футуризмъ можетъ быть отвѣтственъ за эти ихъ случайныя прихоти.

Вотъ и все, что можно сказать о кубо-футуристахъ московскихъ. Вы видите: я радъ имъ аплодировать, я нѣженъ къ нимъ и ласковъ, какъ никто, я все время имъ киваю, поддакиваю, но чѣмъ больше я киваю и поддакиваю, тѣмъ для меня несомнѣннѣе, что предъ нами не скандалъ, не безуміе, а мелкое и скучное теченьице. О, если бъ были они скандалистами! Я бы, кажется, все имъ простилъ за хорошій настоящій скандалъ, ибо что же и нужно теперь — въ нынѣшнемъ нашемъ искусствѣ, какъ не катастрофа, не взрывъ, чтобы смести, истребить всѣ эти рюмочки, ритмочки, игрушечные фокусы-покусы мелкодушныхъ эпигоновъ-экклектиковъ, послѣдышей модерно-символизма! Потому-то всѣ такъ и кинулись къ этимъ Маяковскимъ, Бурлюкамъ, что возжаждали бури и костровъ. О, если бы и вправду это были безоглядно-безумные гунны. Но вотъ они прошли передъ нами: вотъ Николай Бурлюкъ, анемичный, застѣнчивый, кроткій, вотъ Маяковскій, симулянтъ сумасшествія, огненности, а на дѣлѣ (открыть ли секретъ?) кропотливый тщательный шлифовщикъ мозаическисклеенныхъ образовъ, такой же эпигонъ модернизма; вотъ Хлѣбниковъ, до дна себя исчерпавшій въ первомъ же своемъ стихотвореніи, и живущій одними процентами съ этого большого капитала; вотъ покойная Елена Гуро, святая душа, опрозраченная—имъ ли создавать катастрофы. Гуро вся—осанна, молитва,—гдѣ же ей шишки и пощечины? А больше и нѣтъ никого. Остальное—прорва, хулиганство, дыра. И вотъ пропадаетъ футуризмъ, пропадаетъ зря, неиспользованный. А жаль: онъ бы могъ пригодиться.

Такая имъ благодарная выпала миссія, а они къ ней и приступить не сумѣли.

Эго-футуристы.

Объ эго-футуристахъ буду кратокъ: я достаточно говорилъ о нихъ выше.

Повторяю, это тотъ же модэрнъ, только съ фикстуарно-одеколоннымъ душкомъ. Чрезмѣрный, почти карикатурный дэндизмъ есть его ярчайшая черта. Вотъ два-три случайныхъ примѣра этого столичнаго пшюто-искусства.

Даровитѣйшій его представитель, ученикъ г. Сѣверянина, **Вадимъ Шершеневичъ**, даже весенній пейзажъ рисуетъ парфюмерными красками:

Росою напудрены лютики сонные,
Анютины глазки глаза подвели,
Открылись всѣ вѣнчики, словно флаконы
Духовъ золотыхъ экзотичной земли.

и самую книжку свою озаглавливаетъ Романтическая Пудра.

Характеренъ его L'art poetique, демонстративно вскрывающій всю будуарную сущность его творчества:

Обращайтесь съ поэзами, какъ со свѣтскими дамами,
Въ нихъ влюбляйтесь, любите, преклоняйтесь съ мольбами,
Не смущайте ихъ души безнадежными драмами,
Но зажгите остротами въ глазахъ у нихъ пламя.
Нарумяньте имъ щеки, подводите мечтательно
Темносинія брови, замеревъ въ комплементѣ,
Увѣряйте ихъ страстно, что онѣ обаятельны
И, на балъ выѣзжая, ихъ въ шелка Вы одѣньте.
Разлучите съ обычною одеждою скучною
Въ jupe-culotte нарядите и какъ будто въ браслеты
Облеките ихъ руки пѣжно рюмой воздушною
И въ прическу искусную воткните эгреты.
Если скучно возиться Вамъ, друзья, съ ритмометрами,
Съ метрономами глупыми, съ корсетами всѣми—
На кокоткѣ оставивъ туфли съ бѣлыми гетрами,
Вы безчинствуйте съ нею среди залъ Академіи.

Къ женщинѣ у нихъ отношеніе сантиментальное, похотливое, приторное. Женщина всегда имъ рисуется, какъ изящно надушенная любовница, или пикантная, дорогая кокотка:

Играя перчатками и печенье разжевывая,
Вы будете болтать о веснѣ, о ненастьѣ,
А я, Ваши дѣтскія пальцы перепѣловывая,
Буду вѣрить, вѣрить, что возможно счастье. —

вотъ типичныя строки изъ стиховъ г. **Бориса Лавренева**, (сборникъ Вернисажъ); но, конечно, этой даровитой плеядѣ не удержаться на такомъ галантномъ сюсюканіи; скоро они начнутъ остро ненавидѣть свой стиль, свои сюжеты, пріемы и значитъ, самихъ себя. Уже и теперь Рюрикъ Ивневъ, недавній двойникъ Шершеневича, пишетъ въ своей книжечкѣ Самосожженіе:

Жгучій стыдъ, до боли, до униженья,
Крикъ сдавленный, ударъ и боль!

Мысли, плачи безъ звука, безъ движенія:
Я ненавижу свою роль.
Ужасная, убивающая середина!
Не очень хорошій и не очень плохой.
Съ сантиментальной душой арлекина
И съ игрушечной сохой.

Но стоитъ ли цитировать этихъ поэтовъ? Вѣдь и сами они перестали притязать на какую-нибудь близость къ футуризму. Давно миновало то время, когда **Игорь-Сѣверянинъ** возглашалъ свой игрушечный «Прологъ Эго-футуриста»:

Увы!—пустынно на опушкѣ
Олимпа грезовыхъ лѣсовъ...
Для насъ Державинымъ сталъ Пушкинъ,—
Намъ надо новыхъ голосовъ!
Теперь повсюду дирижабли
Летятъ, пропеллеромъ ворча,
И ассонансы, точно сабли,
Рубнули риѳму сгоряча.
Мы живы острымъ и мгновеннымъ,—
Нашъ избалованный капризъ:
Быть ледянымъ, но вдохновеннымъ,
И что ни слово, — то сюрпризъ.
Не терпимъ мы дешевыхъ копій,
Ихъ примелькавшихся тоновъ,
И потрясающихъ утопій
Мы ждемъ, какъ розовыхъ слоновъ...
Душа утонченно черствѣетъ,
Гнила культура, какъ рокфоръ..
Но вѣрю я: завѣетъ вѣеръ!
Какъ струны, брызнетъ сокъ амфоръ!
Придетъ поэтъ — онъ близокъ! близокъ!
Онъ запоетъ, онъ воспаритъ!
Всѣхъ музъ былого въ одалисокъ,
Въ своихъ любовницъ претворитъ.

И заканчивалъ сей манифестъ эпилогомъ:

Я геній Игорь Сѣверянинъ,
Своей побѣдой упоенъ
Я повсеградно оэкраненъ!
Я повсесердно утвержденъ!
Отъ Баязета къ Портъ-Артуру
Черту упорную провелъ,
Я покорилъ Литературу!
Взорлилъ, гремящій, на престолъ!
Я,—годъ назадъ,—сказалъ: „Я буду“!
Годъ отсверкалъ, и вотъ — я есть!
Среди друзей я зрѣлъ Іуду,
Но не его отвергъ, а — месть.
Я выполнилъ свою задачу,
Литературу покоривъ.
Бросаю сильнымъ на удачу
Завоевателя порывъ.

и т. д.

Все это въ прошломъ. Вотъ характерныя поэзы Сѣверянина, относящіяся къ той отдаленной порѣ:

Нелли.

Въ будуарѣ тоскующей нарумяненной Нелли,
Гдѣ подъ пудрой молитвенникъ, а на ней Поль де-Кокъ,
Гдѣ брюссельское кружево... на платкѣ изъ фланели!—
На кушеткѣ загрезился молодой педагогъ.
Познакомился въ оперѣ и влюбился, какъ юнкеръ.
Онъ готовъ осупружиться, онъ рѣшился на все,
Передъ нею онъ держится, точно мальчикъ, на струнѣ,
Съ нею въ паркѣ катается и играетъ въ серсо.
Онъ читаетъ ей Шницлера, посвящаетъ въ коктебли,
Восхваливъ авіацію, осуждаетъ Китаи
И, въ ревнивомъ невѣріи, тайно мѣтитъ въ констебли...
Нелли нехотя слушаетъ,—«лучше ты покатай».
«Философія похоти!»... Нелли думаетъ ѣдко:
«Я въ любви разувѣрилась, господинъ педагогъ...
О, когда бы на «Блеріо» помѣстилась кушетка!
Интродукція—Гауптманъ, а финалъ—Поль де-Кокъ!»

Сонаты въ штормъ.

На Вашихъ эфектныхъ нервахъ звучали всю ночь сонаты,
А Вы возлежали въ башнѣ на ландышевомъ коврѣ...
Трещала, палила буря, и якорные канаты,
Какъ будто титаны-струны, озвучили весь корветъ.
Но развѣ Вамъ было дѣло, что гдѣ-то рыдаютъ и стонутъ,
Что бѣшеный штормъ грохочетъ, бросая на скалы фрегатъ.
Вы пили вино мятежно, Вы брали монбланную ноту!
Сверкали агаты брошекъ, но ярче былъ взоровъ агатъ!
Трещала, палила буря. Стонала дворцовая пристань.
Кричали и гибли люди. Корабль набѣгалъ на корабль.
А Вы, сѣменя гранаты, смѣясь, цѣловали артиста...
Онъ сѣлъ за рояль, какъ геній,—окончилъ игру, какъ рабъ.

Здѣсь есть та динамика музыки, о которой я говорилъ въ своемъ очеркѣ, - странно, что эта поэза донынѣ не положена на ноты. Столь же динамично-музыкальна его знаменитая—

Русская.

Кружевѣетъ, розовѣетъ утромъ лѣсъ.
Паучекъ по паутинкѣ вверхъ полѣзъ.
Брилліантится веселая роса;
Что за воздухъ! Что за свѣтъ! Что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видѣть птичку, лягушенка и осу,
Слушать соннаго горлана-пѣтуха,
Обмѣняться съ дальнимъ эхо „ха-ха-ха!“
Ахъ, люблю безцѣльно утромъ покричать,
Ахъ, люблю въ березахъ дѣвку повстрѣчать,
Повстрѣчать и, опираясь на плетень,
Гнать съ лица ея предутреннюю тѣнь,
Пробудить ея невыспавшійся сонъ,

Ей повѣдать, какъ въ мечтахъ я вознесенъ,
Обхватить ея трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни какъ-нибудь.

(„Громокипящій Кубокъ“).

Первымъ ученикомъ Сѣверянина былъ Константинъ Олимповъ. Изъ его немногочисленныхъ поэзъ мнѣ показалась интересной лишь одна:

Шмели.

Шмели серебробросные крылять, ворча бурунами,
Смѣются броской солнечью надъ людными трибунами.
Пилаты смѣлоглазые, шмелей руководители,
Въ безвѣтріе стрекозятся въ эмалевой обители.
Небесная игуменья—симфонія влюбленія—
Молчитъ молчаньемъ траурнымъ въ друидномъ отдаленіи.
Бурлится шумъ пропеллеровъ. Глаза толпы овысены.
Восторгомъ осіянная сверкаетъ солнца лысина.
Ослабли нервы летные. Пилоты жутко ерзаютъ,
Летятъ къ землѣ. Встрѣчайте ихъ рукоплесканья борзыя!

(„Аэропланныя поэзы“).

ѲЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.

ЛЮБОВЬ НАДЪ БЕЗДНАМИ.

Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Онъ.
Она.
Человѣкъ земли.
Другая.
Слуга.
Журналистъ.
Дѣлецъ.
Банкиръ.
Желѣзнодорожникъ.
Торгашъ.
Адвокатъ.
Пьяный художникъ.
Пьяные { въ желтомъ. / въ голубомъ. / въ красномъ. / въ зеленомъ. / въ лиловомъ.
Лакей.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Тихій, лунный вечеръ. Площадка на высокой горѣ, обнесенная легкою изгородью, въ которой калитка. Отъ калитки внизъ идетъ тропинка. Слѣва небольшой домикъ.

Онъ и Она.

Она. Уже поздно, а нашъ слуга все еще не возвращается. Это меня безпокоитъ.

Онъ. Онъ придетъ.

Она. Мнѣ кажется, сегодня кто-то чужой придетъ къ намъ, и нарушитъ эту сладкую тишину... милую тишину.

Онъ. Кто же вздумаетъ къ намъ притти? Кто еще помнитъ о насъ?

Она. А помнишь,—другъ нашъ?

Онъ. Но когда же это было, припомни!

Она. Когда? Да, правда, это было еще въ прошломъ году, весною. Больше года прошло съ тѣхъ поръ.

Онъ. Вотъ здѣсь, наверху, высоко надъ моремъ и надъ селеніями, мы живемъ въ полномъ уединеніи,—я, вѣчно мечтающій и работающій, и ты, моя прекрасная, моя златокудрая, моя любовь. Я изучаю глубины вселенной, я думаю о томъ, что наша земля переродится въ планету болѣе утонченной природы, и съ нею вмѣстѣ перемѣнятся люди,—сила искусства и жизни превратитъ ихъ въ болѣе совершенныя существа, и у нихъ будетъ возвышенная душа и прекрасный строй жизни. Тамъ, на одной изъ этихъ далекихъ звѣздъ, быть можетъ, такая жизнь.

Она. Что же можемъ мы сдѣлать для этого?

Онъ. Очень многое. Все. Правда, дологъ и труденъ путь,—но что время? что жизнь одного человѣка? Задача

наша въ томъ и состоитъ, чтобы воспитать въ себѣ духовную силу и научить людей. Силою нашего духа мы преобразимъ міръ.

Она. Когда-нибудь... Когда я смотрю на звѣзды, такъ свѣтло горящія надъ нами, мнѣ кажется иногда, что онѣ говорятъ намъ что-то, о любви высокой и совершенной.

Онъ. Гдѣ-нибудь въ это время на планетѣ, болѣе совершенной, чѣмъ наша, кто-то смотритъ на далекую звѣзду, наше солнце.

Она. Онъ посылаетъ намъ привѣтъ, томящимся въ земной темницѣ.

Онъ. А мы его привѣта понять пока еще не умѣемъ. Ахъ, если бы мы умѣли! Какія бы тайны передъ нами раскрылись! Болѣе совершенные, чѣмъ мы, существа помогли бы намъ подняться на высокія ступени духовнаго могущества.

Она. Неужели теперь мы еще ничего не умѣемъ?

Онъ. Было время, когда на землѣ царили дикія, не сознавшія себя силы. Тогда земля наша была еще грубѣе и бѣднѣе, чѣмъ нынѣ. Но возникъ творящій духъ человѣка, и каждый прожившій на землѣ взлелѣялъ въ себѣ и отдалъ земному міру свою духовную силу. Шли годы за годами, тысячи лѣтъ смѣнялись. Изливаемая въ воздухъ земной жизни сила человѣческаго духа умножалась, и вотъ земля наша становится духовнѣе, и самый воздухъ нашъ способнѣе для передачи мыслей, чѣмъ въ отдаленныя времена. Настало время, когда духъ человѣка долженъ ускорить этотъ творческій процессъ, и пронизать нашу атмосферу голубыми молніями высокихъ мыслей.

Она. О, какъ мудры твои рѣчи, какъ мудры! Когда ты говоришь такъ, мнѣ кажется, что эти скалы внимательны къ твоимъ словамъ, и что самый воздухъ заслушался, и лунныя тѣни дрожатъ отъ восторга. Какъ я тогда люблю тебя! Люблю твой ясный взоръ, люблю твой глубокій голосъ, подобный голосу божества!

Онъ. То, что я познаю мыслью, ты постигаешь чувствомъ. Можетъ быть, въ тебѣ уже возникаетъ та высокая способность, интуиція, которая нашимъ потомкамъ замѣнитъ медленно ползущій разумъ. Она поможетъ имъ познавать

совершеннѣе и быстрѣе. Поэтому ты и ушла со мною изъ того міра, гдѣ люди думаютъ только о полезномъ.

Она. Я люблю тебя, и съ тобою буду всегда и вездѣ.

Онъ. Тамъ, внизу на землѣ, люди безъ конца умножаютъ богатства и практическія знанія, но жажда души остается безъ утоленія, и скоро людямъ нечѣмъ станетъ жить. Никто не насытитъ ихъ душевнаго голода, не утолитъ ихъ жажды.

Она. И тогда они придутъ къ намъ,—къ тебѣ.

Онъ, улыбаясь.—Ты думаешь, придутъ?

Она. Люди всегда приходятъ къ тому, кто умѣетъ ждать.

Онъ. Тогда надъ жизнью восторжествуетъ искусство.

Она. Искусство и красота.

Онъ. Да, искусство со всѣми его чарами. Музыка, живопись, театръ, пышно расцвѣтутъ и вновь очаруютъ и преобразятъ человѣка. Но, когда я жилъ среди людей, они издѣвались надъ моими словами, и слово мечтатель было равносильно слову глупецъ. Они меня ненавидѣли! Какъ странно! За что?

Она. Они тебя не понимали. Не могли понять!

Онъ. Имъ совсѣмъ не нужно было того, чему я ихъ пытался учить. Они не слушали меня, и запрещали мнѣ говорить, и не хотѣли дать мнѣ пріюта въ своей средѣ. Помнишь эту свирѣпую старуху, которая потребовала, чтобы мы оставили ея домъ?

Она. Она была злая и глупая.

Онъ. И я удалился отъ нихъ въ горы.

Она. Но рано или поздно они тебя все-таки поймутъ. Они пойдутъ за тобою.

Онъ. Поймутъ ли? А и поймутъ, такъ пойдутъ ли? Не разумомъ же направляется ихъ жизнь!

Она. Вѣдь я же пошла за тобою.

Онъ. Ты—единственная изъ женщинъ. Ты меня полюбила, а любовь дѣлаетъ чудеса.

Она (улыбаясь). Развѣ я одна пошла за тобою? А твой вѣрный слуга, и твоя вѣрная собака? Или ты о нихъ позабылъ.

Онъ. Нашъ старый слуга—вѣрнѣйшій изъ людей. Онъ хочетъ понять, но есть области, для него навсегда недоступныя. Ему остается только вѣрность, неизмѣнная, неподкупная, немного даже страшная, такая она желѣзная.

Она. Страшная? Почему?

Онъ. Изъ любви онъ ни передъ чѣмъ не остановится.

Она. Нѣтъ, вѣрность никогда не бываетъ страшною. Такъ сладко знать, что есть вѣрность, что нашъ союзъ ничѣмъ не будетъ нарушенъ. Ничѣмъ!

Онъ. И собака моя болѣе вѣрна, чѣмъ могутъ быть вѣрными люди, но не такъ, какъ люди. Вотъ почему я не называю ихъ, когда говорю, что ты одна пошла за мною. Тебя вела ко мнѣ не только вѣрность,—ты пришла сама, своею волею движимая, и только по волѣ своей останешься со мною.

Она. И всегда останусь съ тобою,—потому-что люблю, люблю, люблю!

Онъ. Милая, я знаю. Любовь за любовь, жизнь за жизнь,—можетъ ли быть иначе!

Она. Ты хочешь сдѣлать міръ инымъ,—но развѣ и въ этомъ мірѣ ты недостаточно счастливъ?

Онъ. Благодарю тебя, возлюбленная моя! Здѣсь, съ тобою, иного счастья мнѣ не надобно. Твоя любовь—какъ многозвѣздное, тихое небо надо мною. Ничто не нарушаетъ здѣсь мирнаго теченія моихъ трудовъ.

Она. Ты даже слишкомъ усердно погружаешься въ нихъ. Я хотѣла бы больше видѣть тебя.

Онъ. Но, и работая, я всегда чувствую твое присутствіе. Когда я одинъ тамъ, на-верху, я знаю, что любовь моя со мною, здѣсь, близко. И мнѣ хорошо. Уединеніе, красота и небо окружаютъ меня, и въ душѣ моей великій покой.

Она. А тебѣ никогда не хочется сойти на землю?

Онъ. Нѣтъ. Зачѣмъ же?

Она. Земля—родная. Она глупая, но все же милая. Къ ней тянетъ.

Онъ. Ты скучаешь здѣсь?

Она. Скучаю? О, нѣтъ! Какъ ты могъ подумать это! Когда я съ тобою, мнѣ хорошо. Когда ты уходишь, я думаю о твоихъ словахъ, душа моя хочетъ проникнуть въ сокровен-

ный смыслъ ихъ. И душа моя полна, такъ полна... Мнѣ иногда кажется, что мысли и мечты твои стремятся слишкомъ бурнымъ потокомъ и переливаются черезъ берега моей души. Эти мечты, болѣе высокія, чѣмъ я! О, какая женщина тамъ, на землѣ, была такъ насыщена высокими мечтами! Тамъ, на землѣ, гдѣ весело, шумно и почти совсѣмъ некогда думать.

Онъ. Да, вспоминай иногда о землѣ.

Она. Когда птица устаетъ парить въ небесной лазури, она опускается внизъ. Душа знаетъ минуты паденія, а падаемъ всѣ мы на родную землю.

Онъ. Я бы хотѣлъ упасть на далекую звѣзду!

Она. Какъ тихо, о, какъ тихо все вокругъ! Неужели гдѣ-то есть люди, есть иная, шумная, человѣческая жизнь! Порою мнѣ кажется, что всѣ умерли, что мы одни уцѣлѣли отъ какой-то охватившей всѣхъ болѣзни... отъ какой-нибудь ужасной чумы... Что, если бы я теперь вошла въ театръ или въ кафе? Мнѣ стало бы страшно, и люди сказали бы: «Какая дикарка!»

Онъ (привлекая ее къ себѣ). Жизнь наша останется въ памяти людей. Имя единой моей возлюбленной неразрывно сольется съ моимъ именемъ.

Она (задумчиво). Вѣка должны признать тебя. Вѣки-такъ много, такъ долго! Утѣшаетъ ли тебя слово вѣчность: Могъ бы ты любить вѣчно?

Онъ. Развѣ я не полюбилъ тебя на вѣки?

Она. Ничто не можетъ разлучить насъ. Забрались мы сюда одни, живемъ подъ облаками, и безпечно смѣемся надъ житейскими невзгодами.

Онъ. Развѣ не училъ я тебя,—еще тамъ, на землѣ, что человѣкъ—верховный властелинъ, вершитель своей судьбы и жизни? Вотъ мы устроили жизнь нашу по волѣ нашей. И развѣ не райскій садъ насадили намъ любовь, творчество и красота?

Входитъ Слуга.

Она. Наконецъ-то! Ужъ я боялась, не случилось ли съ тобою чего-нибудь!

Слуга. Я обошелъ внизу всѣ селенія,—нигдѣ не уда-

лось достать пищи. Люди убираютъ хлѣбъ, и въ ихъ домахъ даже дѣтей нѣтъ.

Она. Какъ же мы обойдемся?

Слуга. Только двухъ дикихъ голубей подстрѣлилъ я на горѣ.

Она. Ну, и довольно! Тамъ, внизу, въ городѣ, я боялась бы голода, а здѣсь не хочется и думать о завтрашнемъ днѣ.

Слуга. Вслѣдъ за мною шелъ какой-то человѣкъ, не здѣшній. Должно быть изъ большого города. Не знаю, чего онъ здѣсь ищетъ. Можетъ быть, заблудился въ горахъ. Да вотъ и онъ.

На площадку входитъ Человѣкъ земли, и останавливается у калитки.

Человѣкъ земли. Ужъ и не думалъ я добраться до жилья. Надѣюсь, здѣсь обитаютъ добрые люди, и не прогонятъ меня опять на эти мрачныя тропы надъ безднами.

Она. Войдите, милости просимъ. Мы рады гостю.

Онъ. Войдите, будьте здѣсь, какъ дома.

Человѣкъ земли. Простите, моя одежда въ пыли, и я самъ...

Онъ. Сейчасъ васъ проводятъ.

Дѣлаетъ знакъ Слугѣ, который уводитъ Человѣка земли въ домъ. Собака выражаетъ безпокойство.

Она. Пришелъ зачѣмъ-то. Какъ досадно! Надо говорить съ нимъ,—не быть только съ тобою.

Онъ. У него энергичное лицо охотника или дѣльца. Тамъ, въ городѣ, мы нерѣдко встрѣчали такихъ людей, какъ онъ. Странно, что онъ пришелъ къ намъ. Что ему здѣсь можетъ быть надобно?

Она. Онъ, должно быть, проголодался. Но у насъ нѣтъ ничего, кромѣ этой пары голубей. Пойду, посмотрю, что можно сдѣлать.

Уходитъ напѣвая.

Онъ. Какъ странно! Какъ странно! Вездѣ люди найдутъ. Что манитъ на эти высоты,—мудрость или красота?

Собака ласкается къ нему, и смотритъ такъ выразительно, что ему кажется, что онъ понимаетъ ее.

Онъ. Вѣрный другъ, отчего ты такъ безпокоенъ? Ты озабоченъ тѣмъ, кто пришелъ къ намъ? Да. Ты не понимаешь, чего онъ здѣсь ищетъ? Нѣтъ, ты знаешь, зачѣмъ онъ сюда пришелъ? Ты думаешь, что его приходъ повлечетъ что-нибудь злое? Полно, другъ мой, не бойся, -намъ здѣсь бояться нечего. Ни людей, ни судьбы не боится тотъ, кто ушелъ отъ людей на эти высокія горы. Нѣтъ, ты думаешь что его надобно бояться? Но что же онъ можетъ сдѣлать намъ? Вѣдь онъ скоро уйдетъ. Или ты думаешь, что онъ не уйдетъ?

Онъ сидитъ въ глубокой задумчивости, говоритъ порою отрывочныя слова.

Онъ. Земля милая. Земля зоветъ.

Встаетъ, и лицо его свѣтлое. Почти одновременно возвращаются Она и Человѣкъ земли.

Онъ. Дорогой нашъ гость, какъ сумѣли вы въ этихъ непривѣтливыхъ для чужого горахъ найти нашъ домъ? Давно уже къ намъ никто не приходилъ.

Человѣкъ земли. Тамъ, внизу, пройдетъ скоро желѣзная дорога. Мы осматриваемъ мѣстность. Дикій край,- но какъ онъ оживетъ, когда здѣсь будетъ желѣзная дорога!

Она (тревожно). Здѣсь? Желѣзная дорога?

Человѣкъ земли. О, конечно, далеко внизу. Ваше уединеніе останется ненарушеннымъ. Нынче утромъ я вышелъ прогуляться въ горы, и незамѣтно для себя поднимался все выше и выше. Я никакъ не могъ найти удобнаго спуска внизъ. И вотъ уже ночь. Не правда ли, какъ странно!

Она. Вы у насъ отдохнете, переночуете. Потомъ нашъ слуга покажетъ вамъ дорогу.

Онъ. Да, удобный спускъ внизъ не такъ то легко найти. На эти высоты трудно подниматься, но кто уже разъ поднялся, тому такъ же трудно спуститься.

Человѣкъ земли. Трудно найти дорогу, но спускаться,—не думаю, что трудно. Тамъ, внизу, такъ много

такого, что зоветъ къ себѣ, что спускаться будетъ не трудно. Мнѣ, по крайней мѣрѣ. Мнѣ такъ радостно смотрѣть на эти мѣста, въ которыя мы внесемъ культуру.

Онъ отходитъ въ сторону, и во время послѣдующаго разговора незамѣтно уходитъ въ домъ. Луна блѣднѣетъ, ночь приближается къ концу. Слышны отдаленные звуки пастушеской свирѣли, возвѣщающей приближеніе разсвѣта.

Она (съ выраженіемъ невольнаго и страстнаго любопытства). Вы оттуда? оттуда, съ земли?

Человѣкъ земли. Да, изъ большого города. Мои друзья остались внизу, въ долинѣ, а меня повлекло на вершину. Какъ будто казалось, что здѣсь можно найти отдыхъ на нѣсколько часовъ или дней. Мы тамъ такъ много работаемъ, что иногда намъ хочется уйти. Конечно, скоро этотъ отдыхъ намъ надоѣстъ, и опять тянетъ къ привычнымъ трудамъ и заботамъ.

Она. Разскажите мнѣ, что новаго тамъ у васъ. Все такъ же, какъ и прежде, —ссорятся, завидуютъ, ненавидятъ другъ друга? Не научились ли люди чему-нибудь новому, прекрасному?

Человѣкъ земли. Да, научились кое-чему. Научились летать.

Она. Какъ! Неужели люди летаютъ? Какія же у нихъ крылья? Какъ это должно быть красиво! Разскажите мнѣ объ этомъ, разскажите! И обо всемъ, обо всемъ!

Человѣкъ земли. Да, я разскажу вамъ о крыльяхъ, и о многомъ еще прекрасномъ, что придумали мы тамъ на землѣ. Вѣдь мы все на землѣ хотимъ измѣнить, и передѣлать самое лицо нашей планеты.

Она. Какъ это хорошо! Опять говорить то же! Только другими средствами...

Человѣкъ земли. Но неужели сама земля съ ея шумомъ, волненіемъ, со всѣми ея радостями и даже съ ея огорченіями не манитъ васъ къ себѣ? Неужели вы не хотѣли бы видѣть, какъ жители городовъ побѣждаютъ дикую природу?

Она. Все это, что вы говорите, такъ интересно! Но онъ любитъ уединеніе. Онъ можетъ работать только здѣсь.

Человѣкъ земли. Почему?

Она. Люди не понимаютъ его, и оскорбляютъ.

Человѣкъ земли. Люди поймутъ все, что для нихъ полезно.

Она. Его ученіе говоритъ не о томъ, чѣмъ теперь заняты люди. Онъ къ нимъ не пойдетъ.

Человѣкъ земли. Онъ! Ну, а вы то? Развѣ вы не можете хоть иногда притти въ городъ?

Она. Если бы я уходила отъ него по временамъ, то это, я думаю, очень развлекало бы его, и мѣшало бы ему работать. Онъ безпокоился бы обо мнѣ. Онъ говоритъ, что мое присутствіе помогаетъ ему познавать и ощущать истину.

Человѣкъ земли. Вы говорите только о немъ. Все здѣсь для него. А что же для васъ? Вы молоды и прекрасны,—развѣ не хотите вы наслаждаться всѣми благами жизни, какъ наслаждаются другія молодыя и красивыя женщины? И еще многія изъ нихъ не такъ прекрасны, какъ вы.

Она. Моя красота радуетъ его, такого мудраго и великаго,—развѣ этого для меня мало!

Человѣкъ земли. А вы сами не хотите радоваться? Развѣ вы не любите веселья?

Она. Мнѣ и здѣсь хорошо. Правда, увѣряю васъ, я вполнѣ довольна моею жизнью здѣсь. Я полюбила эти горы, я отвыкла отъ иной жизни. Здѣсь такъ хорошо, спокойно, красиво.

Человѣкъ земли. Что въ этой дикой пустынѣ можетъ быть красиво?

Она. Эти горы, небо, закаты и восходы, этотъ вѣчный снѣгъ на горахъ, эта далекая свирѣль пастуха.

Человѣкъ земли. И такъ цѣлые дни, мѣсяцы, годы! Вы всегда одни, одни! Среди этихъ холодныхъ камней! И давно вы здѣсь?

Она. Но вѣдь мы вдвоемъ,—это не то, что одни. Быть вдвоемъ съ любимымъ—такое счастье!

Человѣкъ земли (повторяетъ свой вопросъ). И давно?

Она. Уже цѣлыхъ шесть лѣтъ.

Человѣкъ земли. Шесть лѣтъ! На шесть лѣтъ были вы моложе, когда пришли сюда, — и гдѣ же эти годы? Что они вамъ дали? Чѣмъ вы ихъ вспомните?

Она (смущенно). Я была съ нимъ счастлива.

Человѣкъ земли. Онъ былъ счастливъ,—а вы? Шесть разъ уже весна заставала васъ здѣсь среди этихъ угрюмыхъ скалъ, среди этой вѣчной, гнетущей тишины, безъ единаго звука радости, безъ живой жизни! Да, правду говорятъ, что ко всему можно привыкнуть,—вотъ, можно привыкнуть даже и къ этому ужасному молчанію горъ.

Она. Молчаніе горъ! Какое же молчаніе! Вотъ свирѣль слышна. Какъ сладко дрожатъ въ тихомъ воздухѣ ея нѣжные звуки!

Человѣкъ земли. Свирѣль! Да, эти звуки очаровательны. Но знаете ли вы, о чемъ поетъ свирѣль?

Она. О чемъ?

Человѣкъ земли. Она поетъ о любви.

Она. О, да, о любви.

Человѣкъ земли. О любви человѣка къ своей землѣ и къ своей любви, о томъ, что человѣкъ приходитъ за любовью, а не любовь за человѣкомъ. Человѣкъ приходитъ къ любви, ну, хоть бы вотъ такъ, какъ я къ вамъ пришелъ.

Она. Нѣтъ, не будемъ объ этомъ говорить.

Человѣкъ земли. Почему не говорить? Насъ, горожанъ, упрекаютъ въ томъ, что мы, будто бы, неискренни. Въ пустыню бѣгутъ не только отъ городского шума, но и отъ городской лжи. Вѣдь и онъ, вашъ повелитель, удалился сюда отъ этой лживости, не правда-ли?

Она. Да, конечно.

Человѣкъ земли. Отчего же вы не хотите позволить мнѣ говорить съ вами искренно и откровенно? Развѣ этотъ торжественный часъ всемірной тишины не зоветъ васъ открыть душу тому, кто готовъ и свою открыть? Повѣрьте, мы, горожане, очень чутки къ этимъ минутамъ всемірнаго молчанія.

Она. Вы, кажется, думаете, что и я въ душѣ горожанка.

Человѣкъ земли. Вотъ именно это.

Она. Но вы очень ошибаетесь. Я не люблю города.

Человѣкъ земли. Такъ вамъ кажется.

Она. Правда, я люблю тишину, природу.

Человѣкъ земли. Мы всѣ любимъ природу, но зачѣмъ же уходить отъ людей! Меня не удивляетъ, что онъ уже усталый отъ дѣятельной жизни, ушелъ сюда мечтать и работать въ тишинѣ надъ тѣмъ, что никого не интересуетъ у насъ на землѣ,—вѣдь мы живемъ въ мірѣ великихъ практическихъ достиженій. Но вы, такая молодая, такая прекрасная, вся полная силъ. Вы жаждете иной жизни. Вы тоскуете здѣсь!

Она. Что вы говорите!

Человѣкъ земли. Зачѣмъ вы здѣсь?

Она. Откуда вы все это можете знать? Почему вы думаете, что я тоскую? Вѣдь это же не вѣрно?

Человѣкъ земли. Я прочелъ это въ вашихъ глазахъ. Мы, горожане, словамъ не вѣримъ. Мы привыкли читать мысли въ глазахъ, въ движеніяхъ губъ. И потому скрывать свои мысли—это уже у насъ непринято,—безполезно и потому даже смѣшно.

Она. И все-таки вы ошибаетесь, когда такъ думаете обо мнѣ. Но что говорить обо мнѣ! Смотрите, какая дивная ночь!

Человѣкъ земли. Въ такую ночь очень хорошо на берегу моря. Но и здѣсь ночь очаровательна.

Она. Смотрите, какъ никнетъ поблѣднѣвшая луна. Слышите? опять свирѣль.

Человѣкъ земли. Этотъ мальчуганъ умѣетъ сливать свою душу съ воплями своей свирѣли. Хорошо, правда, очень хорошо. А вокругъ насъ,—какъ тихо, какъ прекрасно! Словно мы одни на всемъ земномъ пространствѣ, словно заворожены этою ночью, этою тишиною. Отчего вы такъ вздрогнули? Вамъ холодно?

Она (тихо). Нѣтъ.

Человѣкъ земли. Отчего же вы такъ поблѣднѣли?

Она. Какая тоска въ моемъ сердцѣ! Отчего она, эта тоска,—вы не знаете?

Человѣкъ земли. Знаю, и радуюсь.

Она. Тоскѣ моей рады? Вы шутите, —вы не злой, у васъ такой мягкій и глубокій голосъ.

Человѣкъ земли. Я радуюсь потому, что ваша тоска — призывный голосъ жизни. Это жизнь зоветъ васъ. Слышите вы голоса земной, жаркой жизни?

Она. Какъ сердце у меня бьется! Эти голоса, о которыхъ вы говорите, —они поютъ въ моемъ сердцѣ, они зовутъ меня.

Человѣкъ земли. Въ свѣтѣ этой луны вы такъ прекрасны!

Она. Зачѣмъ вы говорите это! И я, зачѣмъ я васъ слушаю! Въ этомъ есть что-то недолжное.

Человѣкъ земли. Я восхищаюсь вашею преданностью и покорностью. Ваша преданность ему такъ трогательна и красива, но она внѣ жизни, она противъ нашей, живой жизни, а этой жизни на землѣ все служитъ. Все должно ей служить.

Собака пробѣгаетъ встревоженная, чуетъ недоброе. Гдѣ-то на верху дома стукнуло окно. Въ глубинѣ сцены проходитъ слуга.

Она. Пойдемте въ домъ, — нашъ слуга дѣластъ мнѣ знакъ, что ужинъ готовъ. Къ сожалѣнію, сегодня я могу угостить васъ только дикими голубями. Ничего другого въ нашемъ домѣ сегодня нѣтъ. Тамъ, внизу, вы, вѣрно, не привыкли къ такимъ лакомствамъ, какъ пара дикихъ голубей.

Человѣкъ земли (глядя на нее съ удивленіемъ). Какъ! Вы здѣсь терпите лишенія! Вы, прекрасная!

Она. Зато завтра я поведу васъ на дикій утесъ, гдѣ растутъ дивныя горныя фіалки, покажу вамъ, какъ играетъ заря на обагренныхъ ею снѣгахъ, возведу васъ на такія высоты, отъ которыхъ голова закружится.

Человѣкъ земли. Да, покажите мнѣ все это, — весь вашъ міръ, котораго вамъ довольно, и который долженъ быть очаровательнымъ, чтобы быть достойнымъ вашей любви.

Она. О, вы смѣетесь надо мною!

Человѣкъ земли. Какъ вы можете это думать! Я

восхищенъ вами, и для меня будетъ счастіемъ увидѣть, что васъ держитъ на этихъ дикихъ высотахъ, вдалекѣ отъ свѣта и отъ людей. А онъ, вашъ господинъ, отпуститъ васъ со мною?

Она. Когда я одна ухожу далеко отъ дома, онъ боится немного, какъ бы я не сбилась съ пути или не упала въ пропасть. Но я знаю здѣсь всѣ тропинки.

Человѣкъ земли. А если вы пойдете со мною?

Она. Тогда онъ будетъ меньше безпокоиться. Онъ любитъ меня,—и вѣритъ мнѣ.

Человѣкъ земли. А вы какъ могли его полюбить?

Она. Мудрость его и страданья покорили меня. Когда вы съ нимъ поговорите, вы сами полюбите его. Его нельзя не любить.

Слуга опять подходитъ.

Слуга. Хозяинъ ждетъ.

Она. Пойдемте.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Ясный день. Тамъ же. Она, Онъ и Человѣкъ земли.

Человѣкъ земли. Вы только мечтаете о преображеніи жизни, мы ее преображаемъ. Вы мечтаете о человѣкѣ, который еще не родился, а мы... Да вотъ, когда въ будущемъ году осенью вы спуститесь въ ту долину, вонъ тамъ, вы ее не узнаете, такая тамъ будетъ жизнь, такое движеніе.

Онъ. Нѣтъ, вы только умножаете вещи и потребности, а человѣкъ, водимый вами, идетъ назадъ.

Человѣкъ земли. Впередъ! Мы ведемъ человѣка путемъ матеріальнаго прогресса. Это — единственно вѣрный путь А то, что вы называете духовными цѣнностями, это нерѣдко только болтовня, порою даже вредная для общества.

Онъ. Дикарь, управляющій машинами, вотъ вашъ современный человѣкъ.

Она. Но развѣ нашъ гость похожъ на дикаря?

Онъ. Милая, ты права. Не слѣдуетъ такъ много спорить съ гостемъ. И къ чему? Ни въ чемъ нельзя убѣдить. Работа ждетъ меня, я ухожу къ себѣ. Вечеромъ будемъ снова бесѣдовать.

(Уходитъ.)

Человѣкъ земли. Пора. Такъ незамѣтно прошла эта недѣля! Я совсѣмъ забылъ о томъ, что меня ждутъ, что обо мнѣ безпокоятся и меня ищутъ.

Она. Мнѣ грустно, что вы уже уходите. Я всегда буду вспоминать эти дни, когда вы были съ нами.

Человѣкъ земли. Неужели я не могъ васъ убѣдить,

и всѣ мои слова были тщетны? Неужели я уйду одинъ, а вы останетесь здѣсь, на этой угрюмой и ужасной высотѣ?

Она. Я не должна слушать васъ. И все же слушаю, хотя вы говорите о томъ, чего презрѣннѣе нѣтъ въ человѣческихъ дѣлахъ,—объ измѣнѣ.

Человѣкъ земли. Измѣна! Что вы называете измѣною?

Она (смущенно). Измѣна это, когда обманываютъ довѣріе, нарушаютъ долгъ вѣрности. Кто-нибудь въ тебя вѣритъ такъ сильно, такъ безмѣрно, и вдругъ ты его обманешь.

Человѣкъ земли. Каждый долженъ быть вѣренъ прежде всего себѣ самому. Только на себя надѣешься, на себя полагаешься съ достаточною увѣренностью, и вотъ если самъ себя обманываешь —это горшая измѣна.

Она. Но если отдаешь себя добровольно и радостно?

Человѣкъ земли. Измѣна въ томъ, что вы томитесь здѣсь. Это—измѣна противъ васъ самой, противъ вашей молодости, противъ вашей красоты, противъ всего того прекраснаго, что въ васъ заложено. Всѣмъ этимъ вы сами могли бы наслаждаться, всѣмъ этимъ наслаждались бы другіе. Но вы и отъ себя, и отъ другихъ скупо прячете всѣ данныя вамъ судьбою сокровища. Вотъ эта измѣна...

Она. Умоляю васъ, оставимте этотъ разговоръ.

Человѣкъ земли. Когда я вижу васъ, я не могу говорить ни о чемъ иномъ. Я люблю васъ,—могу ли я не говорить объ этомъ! Вся душа моя истекаетъ любовью къ вамъ, и я чувствую, что не могу оставить васъ здѣсь.

Она. Зачѣмъ вы говорите мнѣ объ этомъ? Вѣдь это же безполезно!

Человѣкъ земли. Почему безполезно?

Она. Я не могу уйти отсюда, я должна быть съ нимъ.

Человѣкъ земли. Должна, должна! Кто научилъ васъ этому скучному, лицемѣрному слову?

Она. Мнѣ съ дѣтства внушили понятія чести и долга.

Человѣкъ земли. И напрасно вы всему этому повѣрили! Человѣкъ никому ничего не долженъ. Если у человѣка и есть обязанности, то передъ самимъ собою, только. Больше

ни передъ кѣмъ, ни на землѣ, ни на небѣ. Самъ человѣкъ созидаетъ свое счастіе, самъ и для себя.

Она. Но вѣдь въ душѣ заложены эти благородныя чувства долга, обязанности, благодарности!

Человѣкъ земли. Благодарности за что? За этотъ плѣнъ? За скудость и скуку этой жизни?

Она. За любовь, мудрую и свѣтлую, за это прекрасное стремленіе впередъ и вверхъ.

Человѣкъ земли. Всѣ эти прекрасныя и безплодныя чувства, — чѣмъ они лучше первоначальнаго, вѣрнаго, единаго неложнаго чувства, — любви къ себѣ самому? Подумайте о себѣ.

Она. Только о себѣ? Но вѣдь его я такъ любила!

Человѣкъ земли. Онъ, мудрый и справедливый, долженъ радоваться вашему счастью. Ваша радость должна его веселить. Подумайте о томъ, что тамъ внизу насъ ждетъ дѣятельная, прекрасная жизнь. Всѣ богатства земли я брошу къ вашимъ ногамъ, чтобы украсить и достойно увѣнчать жизнь прекрасной моей царицы. Вѣнцомъ моей дѣятельной и суровой жизни будетъ ваша радость, ваше счастье.

Она. Мое счастіе! Но вѣдь я была такъ счастлива здѣсь!

Человѣкъ земли. Развѣ это—счастіе?

Она. Я была такъ спокойна!

Человѣкъ земли. Вотъ это, пожалуй, вѣрно. Но здѣсь васъ окружалъ покой могилы. Я радъ, если мнѣ удалось разрушить эти могильныя чары, это лживое обаяніе мертвенной мечты.

Она. О, зачѣмъ вы пришли къ намъ! У васъ такъ много жизни и счастья тамъ, на землѣ, — сюда зачѣмъ вы пришли? Чтобы нарушить нашъ покой?

Человѣкъ земли. Да, для этого. Я пришелъ къ вамъ, какъ Орфей къ Евридикѣ, чтобы вывести васъ изъ этого нежнвого міра.

Она. Евридика была счастлива въ странѣ блаженныхъ. Орфей напрасно потревожилъ ее. И не удалось же ему вывести Евридику.

Человѣкъ земли. Люди нашего времени отважнѣе

и удачливѣе этихъ сказочныхъ героевъ. Но вы не рады моему приходу? Такъ я сейчасъ же уйду.

Она. Нѣтъ, не уходите. Или да, лучше уйдите. Нѣтъ, нѣтъ, останьтесь! Боже мой, я ничего не понимаю, что со мною, что во мнѣ!

Человѣкъ земли. И вы меня любите?

Она. Зачѣмъ вы меня объ этомъ спрашиваете? Что я могу вамъ сказать?

Человѣкъ земли. Любите?

Она. Не надо спрашивать. Не надо говорить.

Изъ Ея глазъ льются слезы, но глаза Ея радостны, и все лицо ея свѣтлое.

Человѣкъ земли. Да, не надо говорить. Я знаю, вы меня любите. Ваши глаза не умѣютъ лгать.

Она. Я ничего не умѣю, только любить.

Человѣкъ земли. Милая, вы меня любите?

Она (смущенно улыбаясь). Если вы сами знаете, зачѣмъ спрашивать?

Человѣкъ земли. Хочу отъ васъ услышать сладкое слово. Хочу.

Она. Вы умѣете хотѣть. Ваша воля подавляетъ мою. Мнѣ тяжело, но и сладко. Зачѣмъ, зачѣмъ заставили вы меня полюбить васъ?

Человѣкъ земли. Ты любишь меня! О, милая моя, пойдемъ со мною. Мы должны быть вмѣстѣ. Этого требуетъ правда нашего чувства и свобода нашихъ душъ. Иди за мною, со мною!

Она. Какъ могу я рѣшиться на это? Надъ безднами вознесена моя любовь, и я боюсь, боюсь! Я знаю эти бездны, я смотрѣла въ нихъ часто.

Человѣкъ земли. Со мною ты ничего не должна бояться.

Она. Какая радость—любить! И какая печаль!

Человѣкъ земли. Люби меня, люби, моя милая! Ничего не бойся. Радостно любить, -это ты хорошо сказала. Но откуда же въ тебѣ эта печаль?

Она. Мнѣ жаль его. Какъ я его оставлю? Возможно ли это?

Человѣкъ земли. Онъ не станетъ тебя удерживать. Онъ самъ пойметъ.

Она. Такая печаль! Но почему-то мнѣ легко. Такъ странно легко, точно я переживаю дивный сонъ. Въ груди моей радостно трепещутъ жаркія надежды!

Человѣкъ земли. Какъ же можетъ быть иначе! Развѣ ты не знаешь, что только любовь должна царить на землѣ? Гдѣ любовь, тамъ радость, тамъ надежды.

Она. Мнѣ тяжело и страшно, когда я вспомню, что надо сказать ему.

Человѣкъ земли. Не будемъ откладывать этого, пойдемъ къ нему, и скажемъ.

Она. Нѣтъ. Я еще не готова къ этому разговору.

Человѣкъ земли. Тогда я пойду къ нему одинъ.

Она. Нѣтъ, нѣтъ! Я сама должна сказать ему все.

Человѣкъ земли. Мнѣ надо торопиться. Я и такъ пробылъ здѣсь слишкомъ долго. Я не могу дольше медлить здѣсь. Пойдемъ къ нему.

Она. Тише! Кто-то идетъ... Это онъ самъ идетъ сюда.

Они отходятъ другъ отъ друга, и останавливаются въ неловкихъ позахъ, глядя на домъ. Изъ двери дома показывается Онъ. Смотритъ на нихъ, и лицо его становится печальнымъ.

Она (подходя къ нему, съ волненіемъ). Я должна сказать тебѣ...

Волненіе мѣшаетъ ей говорить. Онъ смотритъ на нее съ печалью и съ сожалѣніемъ. Человѣкъ земли стоитъ въ сторонѣ и смотритъ мрачно и рѣшительно.

Онъ. Что съ тобою? Ты чѣмъ-то взволнована. Что-нибудь случилось?

Она. Не знаю, какъ сказать. Не знаю... Теперь, когда я стою передъ тобою, мнѣ кажется, что я забыла всѣ слова, которыми хотѣла сказать тебѣ это.

Онъ. Что же ты хотѣла сказать мнѣ, дорогая? Говори, ничего не бойся.

Она. Ты меня такъ любишь. А я уже почувствовала что недостойна тебя!

Онъ. Возлюбленная моя, зачѣмъ ты это говоришь! Нашъ гость можетъ подумать, что ты и вправду такъ думаешь.

Она. Онъ это знаетъ.

Онъ. Развѣ ты не знаешь, какъ я люблю тебя? Ты для меня единая и вѣчная, воплощеніе запредѣльной истины. Вся правда міра покоится въ твоей чистой груди и въ твоихъ непорочныхъ глазахъ. Какъ же ты можешь быть недостойна меня!

Она. Я не могу больше. Это сильнѣе меня. Я не знаю, что со мною. О, Боже мой!

Человѣкъ земли. Позвольте мнѣ говорить за васъ.

Она. Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Я сама. Дорогой мой другъ, единственный прости меня, — я люблю его, того человѣка, пришедшаго съ земли.

Послѣ этихъ словъ полминуты тягостнаго молчанія. Она рыдаетъ почти беззвучно, закрывъ лицо руками, стоя одинаково далеко отъ обоихъ. Онъ стоитъ пораженный. На лицѣ Человѣка земли выраженіе гордой побѣды.

Онъ подходитъ къ Ней, отводитъ Ея руки отъ лица, смотритъ на Нее проницательно, словно что-то въ Ней видя первый разъ, и начинаетъ говорить съ горестнымъ недоумѣніемъ.

Онъ. Такъ ли я тебя понялъ? Изъ своего сердца вынула ты одну любовь, какъ ожерелье изъ ларчика, и вложила туда другую? Ты его полюбила?

Она. Да, я люблю его.

Онъ. Ты? Чистая? Единственная? Моя? Воплощеніе всемірной истины! Или я пересталъ понимать? Или основы міра поколебались?

Она. Я вѣдь только маленькая, слабая женщина, одна изъ многихъ. Ты ошибся во мнѣ. Не мнѣ устоять на высотахъ, на которыя вознесся ты.

Онъ. Тогда кто же изъ людей устоитъ? Кто же изъ нихъ не малъ и не слабъ?

Человѣкъ земли. Вы—мудрый и справедливый. Вы привыкли къ размышленіямъ, истина человѣческихъ отно-

шеній открыта передъ вами, какъ развернутая книга. Подумайте,—и вы сами признаете, что ей лучше уйти отсюда, уйти со мною.

Онъ. Куда же она пойдетъ? Пути отсюда ведутъ въ бездну.

Человѣкъ земли. Она пойдетъ со мною въ городъ. Въ городъ, который люди построили для того, чтобы трудиться, наслаждаться жизнью и неустанно двигать ее впередъ.

Онъ. Вы говорите о грубомъ матеріалистическомъ прогрессѣ.

Человѣкъ земли. Другого на землѣ и нѣтъ. Духъ зависитъ отъ матеріи. Или отъ энергіи, если хотите,—но вѣдь это все равно. Нашъ вѣкъ—вѣкъ быстрыхъ, механическихъ устремленій. Мы не мечтаемъ о вселенской истинѣ, которая для человѣка недоступна и непонятна,—мы просто строимъ дороги. Впрочемъ, простите, я не хотѣлъ спорить съ вами объ отвлеченныхъ вопросахъ. Передъ нами болѣе сложная и трудная задача, чѣмъ вопросъ о прогрессѣ. Дѣло идетъ о живой человѣческой жизни.

Она. Вотъ я полюбила его. Къ нему влечетъ меня. И все-таки, ты правъ,—отсюда уже нѣтъ путей иныхъ, какъ въ бездну. Не даромъ мы такъ долго жили надъ безднами. Да, я должна остаться съ тобою.

Человѣкъ земли. Что вы говорите!

Онъ. Должна? Нѣтъ, ты свободна. Ничто не удерживаетъ тебя здѣсь. Иди съ нимъ, если ты его полюбила. Ты знаешь дорогу, и эти бездны не поглотятъ тебя. А отъ того гибельнаго, что ждетъ тебя въ городѣ, тебя защититъ твой новый другъ.

Она. Ты говоришь такъ холодно. Ты говоришь со мною такъ, словно о комъ-то другомъ.

Онъ. Милая, возлюбленная моя, если я говорю, что ты свободна, то я говорю это не потому, что я таю горькія мысли.

Она. Но слова твои такъ горьки.

Онъ. Безконечная нѣжность къ тебѣ въ моемъ сердцѣ ты же должна сама рѣшать свою судьбу, какъ велитъ тебѣ твое

сердце. Душа человѣка такъ свободна, — ужъ не слишкомъ ли свободна?

Она. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Поїду ли, останусь ли, что же я знаю? Вы, двое сильныхъ, зачѣмъ вы меня, слабую, заставляете рѣшать вашъ споръ?

Онъ. Споръ не между нами,—споръ въ твоемъ сердцѣ. И этотъ споръ уже рѣшенъ. Ты полюбила другого, твоя любовь ко мнѣ умерла, ты поїдешь съ этимъ другимъ.

Она. Я останусь здѣсь, если ты этого захочешь.

Онъ. Чтобы плакать украдкой!

Она. Скажи: „Останься“—и я останусь.

Онъ. Кого же изъ насъ ты любишь?

Она. Его.

Онъ. Иди къ нему, если ты его любишь.

Она. А если бы и ты пошелъ съ нами на землю? Какъ ты здѣсь останешься? Такъ невыразимо больно разстаться съ тобою!

Онъ. Зачѣмъ же мнѣ итти съ вами?

Она. Подумаї, какъ было бы хорошо, если бы ты жилъ съ нами, другъ мудрый и добрый! Мы бы заботились о тебѣ. Нашлись бы послѣдователи, и ты бы училъ ихъ.

Онъ. Нѣтъ, я не поїду съ вами. Здѣсь я безстрастно наблюдаю теченіе звѣздъ. А тамъ? Наблюдать шумъ толпы, слѣдить за тѣмъ, какъ растетъ и крѣпнетъ любовь ваша другъ къ другу?

Она. Милый, милый! Быть можетъ и съ счастьемъ своимъ я разсталась на вѣки!

Обнимаетъ Его, и плачетъ на его груди.

Онъ. Какъ вы, женщины счастливы. Вамъ данъ сладостный даръ слезъ.

Человѣкъ земли. Пора. Мы должны идти теперь же, иначе будетъ темно въ горахъ.

Она (Ему). Прости. Прости, милый. Никогда не забуду тебя. Никогда не вырву изъ моего сердца образа твоего...

Онъ. Не надо плакать. Должно быть, есть высокая справедливость въ томъ, что съ нами совершается. Благодарю тебя за все, что ты мнѣ дала. Вѣдь того, что было, никто

отъ насъ не отниметъ. Пусть этимъ озарится отныне печальная моя жизнь.

Она. Теперь я вижу, какой ты большой и прекрасный, и какъ я слаба и мала. Но сила сильнѣе моей воли увлекаетъ меня, сильнѣе жизни, сильнѣе смерти. Прощай.

Человѣкъ земли. Мнѣ прискорбно, что я причинилъ вамъ горе. Но что же дѣлать? Сердце свободно, и человѣкъ долженъ жить такъ, какъ ему приказываетъ его свободная душа.

Онъ. Ошибаетесь,—свобода здѣсь, со мною, а не тамъ, не съ вами. Но не будемъ спорить, это безполезно. Еще долго будетъ человѣкъ, жаждущій истины, обнимать ея лживый призракъ. Милая, единственная и послѣдняя моя любовь, да благословитъ тебя небо. Тяжелый вѣнецъ высокаго призванія, который ты съ себя сбрасываешь, да замѣнитъ тебѣ Господь легкимъ вѣнцомъ счастливой и радостной жизни.

Обнимаетъ ее и цѣлуетъ. Она плачетъ.

Онъ (Человѣку земли). А вамъ я благодаренъ.

Человѣкъ земли. За что же? Я причина такихъ страданій. Я разрушилъ счастіе ваше.

Онъ. Вы разсѣяли призракъ, вы привели съ собою правду, которой я не зналъ. Я возносился слишкомъ высоко,—вы доказали мнѣ, что я еще не побѣдитель, что земля не созрѣла и сроки не исполнились.

Человѣкъ земли. Побѣждаетъ живая жизнь. Простите.

Она и Человѣкъ земли уходятъ. Онъ долго смотритъ вслѣдъ за ними. Собака ласкается къ нему, слуга стоитъ въ сторонѣ, и смотритъ на Него съ жалостью и любовью.

Онъ. Какъ радостно было ея лицо, когда она уходила, съ этимъ человѣкомъ! Какъ легко идетъ она съ нимъ! Заботливо показываетъ ему дорогу, какъ будто для того только она и узнавала изгибы высокихъ путей, чтобы такъ легко уйти съ этихъ высотъ.

Слуга. Женщина ушла отъ тебя, господинъ,—только женщина.

Онъ. Вся моя жизнь ушла съ нею.

Слуга. Ты самъ остался, великій и мудрый, и съ тобою остались мы, вѣрные, слуга и собака. Не грусти, такъ бываетъ въ жизни. Сердце женщины измѣнчиво и непостоянно.

Онъ. Во что же я вѣрилъ, какъ въ истину жизни и любви? Достаточно было придти другому, и любовь моя открыла иной свой ликъ!

Слуга. Работай надъ тѣмъ же, надъ чѣмъ ты работалъ и прежде, а мы также вѣрно будемъ служить тебѣ и оберегать тебя.

Онъ. Прекрасное, далекое небо, неизмѣримое пространство одушевленныхъ единою волею міровъ, ты, вѣчный символъ единой воли, движущей міры, ты простираешь надо мною свой величавый, умиротворяющій покровъ. Ты мнѣ поможешь, ты укрѣпишь меня. Снова буду работать, снова искать вѣчной истины, искать пути къ познанію истины. Дай мнѣ силы, дай мнѣ силы быть одному!

Собака ласкается къ нему. Слуга мраченъ. Слышна жалобная пѣсня вечерней свирѣли.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Bugs

Внизу, на землѣ, въ роскошномъ домѣ Человѣка земли. Кабинетъ, черезъ открытыя двери котораго видна столовая. Убранство пышное и богатое, обличающее вкусъ слишкомъ общій и банальный, все, какъ въ фешенебельныхъ ресторанахъ.

Только что окончился завтракъ. Гости переходятъ то изъ столовой въ кабинетъ, то обратно. Всѣ очень веселы, вся эта собравшаяся здѣсь разношерстная компанія,—дѣльцы, журналисты, торгаши, дамы слишкомъ эффектныя. Слышенъ смутный гулъ веселаго разговора, въ которомъ иногда выдѣляются нѣсколько фразъ, когда говорящіе подходятъ къ зрителю.

Человѣкъ земли въ своемъ кабинетѣ полулежитъ въ креслѣ и куритъ сигару. У него видъ человѣка, уже успѣвшаго привыкнуть къ своему богатству, но еще не успѣвшаго и ни не сумѣвшаго отвыкнуть отъ тщеславныхъ замашекъ. Къ нему подходитъ то одинъ, то другой и говорятъ что-то, по большей части, съ видомъ почтительности или даже подобострастія. Она иногда появляется, тихо разговаривая съ кѣмъ-нибудь изъ гостей. Очень хороша въ своемъ элегантномъ нарядѣ. Видно, что здѣшнія дамы внушаютъ ей нѣкоторый страхъ, она обращается къ нимъ съ видомъ принужденія.

Нѣсколько разноцвѣтно одѣтыхъ дамъ собрались въ кабинетѣ около круглаго стола, на которомъ лежатъ спортивные журналы. Онѣ курятъ тоненькія папиросы, пьютъ кофе и ликеръ. Раскраска ихъ лицъ соотвѣтствуетъ кричащимъ тонамъ ихъ платій, и въ общемъ все это даетъ довольно ко-

юритное, хотя и грубое сочетаніе цвѣтныхъ пятенъ. Голоса и жесты свободны, но вульгарны.

Въ началѣ дѣйствія одна изъ этихъ дамъ, въ красномъ платьѣ стоитъ отдѣльно, въ дверяхъ, и говоритъ довольно пріятнымъ голосомъ, подъ аккомпанименть игры на роялѣ:

Двѣ проститутки и два поэта,
Екатерина и Генріета,
Иванъ Петровичъ Неразумовскій
И Петръ Степанычъ Полутаковскій,
Двѣ проститутки и два поэта
Сошлись однажды,—не странно-ль это?—
У богомолки княжны Хохловой
Въ ея уютной квартирѣ новой.
Двѣ проститутки и два поэта
Мечтали выпить бокалъ Моэта
Но богомолка ихъ поитъ чаемъ,
И вѣдь не скажутъ: «Ахъ, мы скучаемъ!»
Двѣ проститутки и два поэта,
Какъ вамъ противна діэта эта!
Но что же дѣлать? Княжна вамъ рада,
Въ ея гостиной скучать вамъ надо.
Двѣ проститутки и два поэта,
Чего вы ждете? Зачѣмъ вамъ это?
Зачѣмъ въ гостиной у доброй княжны
Вы такъ приличны и тошно-важны?
Двѣ проститутки и два поэта,
И тотъ и этотъ, и та и эта,
Вновь согрѣшите въ стихахъ и въ прозѣ,
И въ ресторанѣ, и на морозѣ.

Пьяный художникъ. Ерунда! Декаденство!

Адвокатъ. Ничего, забавно.

Биржевикъ. Я признаю только классическое искусство. Ну и Оффенбаха.

Слышны и другія подобныя восклицанія. Дама въ красномъ отходитъ къ другимъ разноцвѣтнымъ дамамъ.

Дама въ желтомъ. Очень мило. А слышали вы по-

вость? Маленькая Берта бросила своего дохлаго дипломата.

Дама въ голубомъ. Давно пора. Онъ скученъ и глупъ. Съ кѣмъ же она теперь?

Дама въ желтомъ. Съ толстымъ барономъ.

Дама въ голубомъ. Нашла сокровище!

Дама въ красномъ. Этотъ толстякъ—дуракъ ужасный, но забавенъ и не скупъ.

Дама въ зеленомъ. Но это все — прошлогодній снѣгъ. А вотъ самая свѣжая новость,—гусаръ Додо заставъ свою Рыженькую, можете представить, съ кѣмъ? Съ новымъ художникомъ, Фіолетовымъ Чортомъ!

Дама въ желтомъ. Да не можетъ быть! Ай да Рыженькая!

Дама въ зеленомъ. Можете себѣ представить, какая физіономія была у гусара!

Дама въ голубомъ. Бѣдняжка Рыженькая!

Дама въ красномъ. Фіолетовый Чертъ еще бѣденъ, а Рыженькая привыкла.

Дама въ зеленомъ. Вездѣ измѣны. И у нашего амфитріона,—его прежняя страсть рветъ и мечетъ.

Дамы оглядываются на Человѣка земли, и начинаютъ говорить тише.

Дама въ желтомъ. Это и понятно,—они такъ долго были вмѣстѣ.

Дама въ зеленомъ. А что ее особенно злитъ, вы знаете?

Дама въ красномъ. А что?

Дама въ зеленомъ. Да вѣдь нашъ любезный амфитріонъ черезъ нее получилъ эту концессію, которая его обогатитъ.

Дама въ голубомъ. И сейчасъ же ее бросилъ! Хорошъ!

Дама въ зеленомъ (увѣренно). Она ему будетъ мстить. Пожалуй, и концессію отъ него отнимутъ.

Дама въ желтомъ. Тише,—онъ смотритъ сюда.

Смѣются. Уходятъ. Человѣкъ земли, словно догадываясь, что о немъ была рѣчь, встаетъ и дѣлаетъ нѣсколько шаговъ по кабинету.

Торгашъ (подходя къ Человѣку земли). Какъ же насчетъ картины?

Человѣкъ земли. Я уже вамъ сказалъ,—это дорого. Столько я не дамъ.

Торгашъ. Дайте же и мнѣ сколько-нибудь нажить.

Человѣкъ земли. Много нажить хотите.

Торгашъ. Тѣмъ живемъ. Не могу же я уступить за свою цѣну. Помилуйте, какой же разсчетъ!

Человѣкъ земли. Вы заплатили художнику за эту картину всего только шестьдесятъ рублей, а съ меня хотите взять шестьсотъ. Это ужъ слишкомъ!

Торгашъ. Клянусь вамъ, я заплатилъ гораздо больше. Да еще присчитайте мои расходы,—разъѣзды, потраченное время.

Человѣкъ земли. Художнику нужны были деньги до зарѣзу. Его любовница уже начала скучать, и онъ продавалъ направо и налѣво все, что только могъ продать. Вотъ тогда то вы къ нему и пришли. Вы умѣете пользоваться моментомъ.

Торгашъ. Откуда вы это можете знать? Не вѣрьте тому, кто вамъ разсказываетъ это.

Человѣкъ земли. Полно, неужели вы думаете, что я интересуюсь сплетнями! Ужъ если я говорю, значитъ, я знаю это вѣрно, повѣрьте.

Торгашъ. И правда, вы все знаете. Васъ не обманешь.

Человѣкъ земли. И не пытайтесь обманывать,—ничего изъ этого не выдетъ.

Торгашъ. Хорошо, я вамъ пришлю картину, но вы должны что-нибудь прибавить.

Человѣкъ земли. Хорошо. Сойдемся. У меня къ вамъ есть болѣе интересное дѣло.

Отходятъ въ сторону, и говорятъ тихо.

Банкиръ. Нашъ хозяинъ на этомъ дѣлѣ заработаетъ милліоны.

Желѣзнодорожникъ. Ну, это зависитъ...

Банкиръ. Да? Вы думаете?

Желѣзнодорожникъ. Онъ не брезгаетъ никакими средствами, но на этотъ разъ противъ него ведутъ интригу.

Банкиръ. Да? Скажите! И не секретъ, кто?

Желѣзнодорожникъ. Cherchez la femme.

Банкиръ. O-là-là!

Смѣются и проходятъ.

Адвокатъ. Не понимаю, почему на меня такъ нападаютъ за это дѣло.

Пьяный художникъ. Милый, да вѣдь онъ—прохвостъ, и его нельзя защищать.

Адвокатъ. Почему же нельзя?

Пьяный художникъ. Да вѣдь пакостное дѣло, грязное, такого прохвоста нельзя защищать, гадко, пойми, свинья ты этакая.

Адвокатъ. Я понимаю твою экспансивность, но согласись, что съ такою прямолинейностью далеко не уѣдешь.

Отходятъ. Человѣкъ земли и Торгашъ смѣются.

Человѣкъ земли. О подробностяхъ мы съ вами поговоримъ послѣ. Вы знаете, со мною выгодно имѣть дѣла.

Торгашъ. Кто же этого не знаетъ! Вы—человѣкъ широкаго размаха, сами славно живете, и другимъ жить даете. Притомъ же и въ средствахъ вы не стѣсняетесь.

Человѣкъ земли. Двухсмысленная похвала!

Смѣются и отходятъ.

Дѣлецъ (Журналисту). Нашъ милѣйшій хозяинъ—очень талантливый дѣятель.

Журналистъ. Да, я не знаю болѣе талантливаго дѣльца.

Дѣлецъ. Это—человѣкъ большой иниціативы и обширнаго ума. Но иногда онъ бываетъ черезчуръ смѣлъ.

Журналистъ. Пока его смѣлость постоянно оправдывалась.

Дѣлецъ. Пока. Скажу вамъ по секрету,—противъ него готовится очень хитрая интрига.

Журналистъ. Да? Въ самомъ дѣлѣ? Это—очень интересно. Но въ чемъ же дѣло?

Дѣлецъ. Какъ всегда, ищите женщину. (Озираясь кругомъ, наклоняется къ уху Журналиста, и шепчетъ).

Журналистъ (смѣется). Это презабавно.

Дѣлецъ. Не правда ли, хитро придумано? Нашъ амфитріонъ можетъ взлетѣть.

Журналистъ. Да еще какъ!

Дѣлецъ. Если отъ него отнимутъ концессію... Только смотрите, никому ни слова.

Журналистъ. Конечно, само собою. За кого же вы меня принимаете? Мнѣ не надо повторять этого.

Журналистъ отходитъ. Дѣлецъ подходитъ къ Человѣку земли.

Дѣлецъ. Хоть это и противъ моихъ правилъ, но единственно только изъ сочувствія къ вамъ я хочу васъ предостеречь.

Человѣкъ земли. Отъ чего?

Дѣлецъ. Напрасно вы вмѣшиваетесь въ это дѣло о желѣзной дорогѣ. Въ этомъ заинтересованы многіе, и вы рискуете очень многихъ вооружить противъ себя.

Человѣкъ земли. Ну, этого я не боюсь. Волка бояться, въ лѣсъ не ходить.

Дѣлецъ. Право, вамъ бы лучше было отъ этого дѣла воздержаться.

Человѣкъ земли. Вы всегда становитесь мнѣ поперекъ дороги. Надо же и мнѣ зарабатывать.

Дѣлецъ. Но вы врываетесь въ нашу сферу.

Человѣкъ земли. А мнѣ кажется, вы въ мою.

Дѣлецъ. Что жъ, хотите побороться? А не лучше ли было бы намъ придти къ соглашенію?

Человѣкъ земли. Да о чемъ же и я говорю съ самаго начала!

Отходятъ.

Дама въ желтомъ. Душенька, да это же всѣ знаютъ.

Она. Я этимъ совсѣмъ не интересовалась.

Дама въ желтомъ. Это же такъ понятно. Конечно, какое же вамъ дѣло до того, что было до васъ! Мужчины безъ этого не могутъ. Но я вамъ говорю это потому, что она ужасно раздражена, и я не знаю, на что она способна.

Она. Онъ меня любитъ, до остальнаго мнѣ нѣтъ никакого дѣла.

Дама въ желтомъ. Ахъ, душенька, я только хотѣла васъ предостеречь.

Отходятъ.

Журналистъ (Человѣку земли). Нѣтъ, вы не скажите, - поддержка нашей газеты чего-нибудь стоитъ.

Человѣкъ земли. Однако, говорятъ, ваша газета дышитъ на ладанъ.

Журналистъ. Ну, вотъ, что за вздоръ!

Человѣкъ земли. Говорятъ, подписка упала, да и розница уже не прежняя, да и объявленія не такъ богато, какъ раньше.

Журналистъ. Ну, мало ли что говорятъ! Вы только послушайте людей, такъ они скажутъ, что и вы накануѣ банкротства.

Человѣкъ земли. Ну, ужъ это слишкомъ.

Журналистъ. Газета пойдетъ хорошо, объ этомъ что и говорить. Намъ надо только теперь перехватить денегъ.

Человѣкъ земли. Вотъ то-то!

Журналистъ. Повѣрьте, вы не прогадаете, если возьмете нашъ векселъ.

Человѣкъ земли. Что жъ, подумать можно.

Отходятъ. Гости понемногу начинаютъ расходиться.

Дама въ голубомъ. На кого же мнѣ играть?

Человѣкъ земли. На Апаша и на Монгола.

Журналистъ. Обманетъ Апашъ. Онъ уже и въ прошломъ году бралъ съ трудомъ.

Дѣлецъ. Что касается меня, я предпочитаю Алгвазила.

Дама въ желтомъ. Ну, нѣтъ, на эту лошадь я не ставлю.

Дама въ лиловомъ (улыбаясь пріятно и не смѣшиваясь съ веселыми дамами, ласково говоритъ съ Нею). Я такъ

сочувствую вашей тоскѣ, такъ понимаю это состояніе, когда любишь одного, но все еще такъ больно вспоминать прежнюю любовь.

Она. Не могу не вспоминать.

Дама въ лиловомъ. Онъ васъ очень любилъ?

Она. О да!

Дама въ лиловомъ. Но вѣдь онъ былъ гораздо старше васъ. Какъ вы могли быть вмѣстѣ?

Она. Онъ жилъ въ волшебномъ царствѣ мечты, и я была обвѣяна чарами вдохновенія и восторга. Я никогда не думала о томъ, что онъ не молодъ. Сердце его было молодо, и до смерти останется такимъ.

Дама въ лиловомъ. Да, но вотъ приходитъ другая любовь, и все мѣняется. Какъ это странно! Мы должны всегда жить только настоящею минутою. Какъ горько ошибается тотъ, кто мечтаетъ о вѣчной любви! Да что о вѣчной! Хоть бы долгая! Но теперь вы счастливы?

Она. Не сумѣю сказать, какъ я счастлива. Я чувствовала бы себя счастливѣйшею изъ женщинъ, если бы не печаль о томъ, кого я оставила, и о томъ, что я потеряла. Мы звали его съ собой, но онъ не захотѣлъ.

Дама въ лиловомъ. Это понятно,—онъ уже привыкъ къ своему уединенію. Въ его возрастѣ трудно мѣнять привычки.

Всѣ гости ушли. Остались Она и Человѣкъ земли.

Она. Кажется, всѣ ушли наконецъ.

Человѣкъ земли. Ушли. Ты устала? Они тебя утомили.

Она. Ахъ, эти ужасные люди! Эти слишкомъ бойкія дамы! И эти вѣчные разговоры о деньгахъ! Неужели безъ нихъ нельзя.

Человѣкъ земли. Не думай объ этомъ. Все это мои заботы. А съ тобою я только счастливъ, только люблю. Съ тобою я отдыхаю отъ всей этой суеты, утомительной, но не безполезной.

Она (обнимая его, страстно). Люблю, люблю! И весь бы день хотѣла быть съ тобою! Только съ тобою.

Человѣкъ земли. Пожалуй, я бы тебѣ скоро надоѣлъ, если бы мы ни на минуту не разставались.

Она (подходя и обнимая). Нѣтъ, нѣтъ! Я все въ тебѣ люблю, все,—и этотъ гордый лобъ, и эти зубы, слишкомъ бѣлые, и эти волосы, черезчуръ непокорные. И ненавижу всѣхъ этихъ ужасныхъ людей, которые отнимаютъ тебя отъ меня. Даже къ сну тебя ревную,—несносный сонъ такъ укорачиваетъ нашу жизнь. Я хотѣла бы двѣ, три жизни прожить съ тобою, не разлучаясь ни на минуту. Такъ вотъ,—глаза въ глаза, и въ сердцѣ безмѣрное упоеніе любви.

Человѣкъ земли. Жизнь моя, какъ я тебя люблю! Какъ я радъ твоей любви! Душа моя всегда съ тобою, чѣмъ бы я ни былъ занятъ. И во снѣ я съ тобою, всегда нераздѣльно твой.

Она. Всѣ эти люди отнимаютъ у тебя такъ много времени, такъ много вниманья. Всего, что дорого мнѣ.

Человѣкъ земли. Все это—нужные люди, безъ нихъ нельзя.

Она (мечтательно). Когда онъ тамъ, на горѣ, уходилъ на свою башню наблюдать звѣзды, я знала, что онъ все же со мною, что въ звѣздныхъ неизмѣримыхъ пространствахъ онъ видитъ мой бездонный взоръ, и я сама чувствовала мою душу слитою съ душой пространствъ.

Человѣкъ земли (надменно улыбаясь). А я отнялъ звѣздъ заковалъ въ бриллианты, рубины и яхонты, и пролилъ его на твою грудь и на твои волосы, потому что я люблю тебя такъ, какъ не умѣютъ любить мечтатели.

Она. Да, ты радуешь меня, и балуешь, какъ ребенка, но, когда ты уходишь отъ меня, я не знаю, не забываешь ли ты меня въ то время. Я тогда думаю, что земля холодѣетъ, что любовь оскудѣваетъ, и мнѣ вдругъ дѣлается страшно.

Человѣкъ земли. Не бойся, моя златокудрая, солнце наше еще не скоро погаснетъ.

Она. А иногда другой страхъ. Можетъ быть, эти веселыя, развязныя дамы...

Человѣкъ земли. Какой вздоръ! Какъ можешь ты сравнивать себя со всѣми этими дамами! Да изъ нихъ лучшая не достойна служить у тебя въ горничныхъ!

Она. И какъ деньги могутъ напомнить тебѣ мое лицо, мои глаза?

Человѣкъ земли. Напомнить?

Она. Да. Онъ смотрѣлъ на звѣзды, и мои глаза видѣлъ въ нихъ.

Человѣкъ земли. Ахъ, да, ты объ этомъ! Ну что жъ,— у тебя волосы такого же цвѣта, какъ золото въ монетѣ.

Она. Какое сравненіе!

Человѣкъ земли. Развѣ невѣрное?

Она. Не то, что невѣрное... Да и мои волосы значительно темнѣе. Вѣдь я же не рыжая.

Человѣкъ земли. Золото — благородный металлъ. Среди вещей нѣтъ ничего лучше и красивѣе золота. И голосъ твой звонокъ, какъ звукъ червонцевъ одинъ о другой, знаешь, этотъ волшебный, благородный звонъ золотыхъ монетъ.

Она. Меня это не радуетъ.

Человѣкъ земли. Почему, маленькая капризница?

Она. Волосы мои и мой голосъ тебѣ напоминаютъ золото, а не золото меня.

Человѣкъ земли. Пожалуй, что и такъ.

Она. Чему жъ мнѣ радоваться?

Человѣкъ земли. Какъ погрузишься во всѣ эти увлекательныя дѣла, такъ о любви и не думаешь. Весь бываешь захваченъ упоеніемъ и радостью созиданія. Подумай только, вѣдь это мы, техники и строители хозяева жизни. Что захотимъ, то и сдѣлаемъ съ міромъ. Въ пустыню проведемъ каналы, океаны соединимъ, воздвигнемъ города среди лѣсовъ, проведемъ дороги черезъ горы, повѣсимъ мосты надъ безднами. Весь ликъ міра измѣнимъ. Построимъ плотину въ океанѣ, и растопимъ полярные льды. Голова кружится, когда думаешь обо всемъ, что мы можемъ. Но любви ли! Любовь — только отдыхъ.

Она. Только отдыхъ?

Человѣкъ земли. Сладкій отдыхъ, надо отдать ей справедливость.

Она. А тамъ, наверху, любовь была для насъ жизнью.

Человѣкъ земли. Ну, это понятно. О чемъ же еще тамъ можно было думать? Вѣдь онъ жилъ мечтою.

Она. Но это было такъ хорошо, такъ наполняло жизнь! Я была его любовью и его жизнью.

Человѣкъ земли. Однако, ты оттуда ушла.

Она. Да, я полюбила тебя, и къ тебѣ ушла.

Человѣкъ земли. А теперь ты тоскуешь?

Она. Безконечная жалость къ нему въ моемъ сердцѣ. Любовь ушла отъ него, но я знаю теперь, что для него любовь жизнь. Подумай, какъ печаленъ онъ и одинокъ!

Человѣкъ земли. Да, теперь, я думаю, тамъ скучновато. Волшебница-фея умчалась...

Она. Ты не долженъ такъ говорить!

Человѣкъ земли. Прости, милая. Я понимаю твои возвышенныя чувства. Но что же дѣлать! Человѣкъ не долженъ отказываться отъ счастья изъ-за жалости.

Слышенъ стукъ въ дверь. Она вздрагиваетъ, и смотритъ на дверь тревожно и боязливо. Человѣкъ земли хмурится.

Она. Войдите.

Входитъ лакей, и подаетъ карточку. Человѣкъ земли читаетъ карточку; лицо его выражаетъ досаду и смущеніе. Нерѣшительно смотритъ на нее.

Она. Опять какое-нибудь непріятное посѣщеніе?

Человѣкъ земли (нерѣшительно). Да. Знаешь, дорогая...

Она. Мнѣ уйти?

Человѣкъ земли. Да, видишь ли...

Она. Хорошо, я уйду, если хочешь, хоть и печально уходить, едва только мы остались одни.

Человѣкъ земли. Милая, развѣ я радъ этимъ посѣщеніямъ? Если хочешь, я велю не принимать.

Она всматривается въ его лицо, чтобы не сказать того, что ему будетъ непріятно. Задумывается на минуту, наконецъ, рѣшается и, подавляя вздохъ досадливой печали, говоритъ.

Она. Нѣтъ, зачѣмъ же! Не можешь же ты замкнуться отъ всѣхъ. Да мнѣ и самой надо отдохнуть. Не сердись милый, эти люди меня утомили, можетъ быть, потому, что они мнѣ совсѣмъ чужіе. Мнѣ кажется, я къ нимъ никогда не привыкну.

Человѣкъ земли. Пустое! Привыкнешь скоро, и тебѣ будетъ легко. Иди же, моя милая.

Цѣлуетъ ее нѣжно и какъ бы слегка смущенно. Она уходитъ, на порогѣ задерживается немного, и бросаетъ на него нѣжный взглядъ.

Человѣкъ земли (лакею). Проси.

Лакей уходитъ. Человѣкъ земли досадливо ходитъ по кабинету. Лицо у него хмурое и даже злое. Быстро входитъ нарядно и съ большимъ вкусомъ одѣтая Другая. Она очень красива. Лицо ея выдаетъ смятеніе, печаль, ревность. Когда она видитъ Человѣка земли, ея глаза становятся вдругъ радостными и влюбленными. Человѣкъ земли дѣлаетъ любезное и веселое лицо, и съ ласково протянутыми руками идетъ ей навстрѣчу.

Человѣкъ земли. Милая, это очень любезно, что ты захотѣла ко мнѣ заглянуть! Хотя я и анаѳемски занятъ, но съ удовольствіемъ поболтаю съ тобою четверть часика. Не хочешь ли вина?

Другая. У тебя былъ пиръ. Нѣтъ, я не хочу вина.

Нервно-порывистыми движеніями снимаетъ перчатки. Бросаетъ быстрый взглядъ на отраженіе свое въ зеркалѣ, что надъ каминомъ.

Человѣкъ земли. Какой тамъ пиръ! Пришлось позвать кое-кого изъ нужныхъ людей.

Другая. Ну, еще бы! Тебѣ многіе нужны, и ты всегда съ людьми, которые тебѣ полезны. Ты и со мною былъ, когда еще не былъ сильнымъ, потому что я часто помогала тебѣ.

Человѣкъ земли. Не потому, вовсе не потому. Ты знаешь...

Другая. Знаю, знаю все, что ты можешь мнѣ сказать. Однако, что жъ это, серьезно?

Человѣкъ земли. Что, милая? О чемъ ты говоришь?

Другая. Онъ не понимаетъ! Ты рѣшился бросить меня для этой простушки, которую вывезъ изъ какой-то Аркадіи?

Для нея, которую ты отбилъ отъ мужа, наговоривши ей всего того, что и мнѣ въ свое время?

Человѣкъ земли. Потише, милая, не надо сердиться,—что было, то прошло. Сердцу не прикажешь,—не намъ мѣнять его законы.

Другая. Развѣ я тебя не любила? Развѣ ты меня не любилъ? Развѣ ты забылъ все, что было? Забылъ всю мою нѣжность, всѣ мои заботы, мои труды и униженія изъ-за тебя? Забылъ, какъ я дѣлила твою бѣдность, какъ я помогала тебѣ во всемъ?

Человѣкъ земли. Право, милая, я у тебя не въ долгу! Если ты дѣлила со мною свое время, то вѣдь и я дѣлилъ съ тобою что могъ. Изъ маленькой звѣздочки я тебя сдѣлалъ блестящею звѣздою,—не я ли вывелъ тебя въ люди?

Другая. Вотъ какъ ты разговариваешь со мною! Не такъ, какъ прежде, когда ты смотрѣлъ на меня, какъ на богиню, сошедшую къ тебѣ съ Олимпа.

Человѣкъ земли. Будь благоразумна. Жаловаться тебѣ не на что,—я поставилъ тебя на хорошую дорогу, безъ меня бы ты...

Другая. Не безпокойся, но пропала бы и безъ тебя. Но развѣ я пришла къ тебѣ счеты сводить? Не хочу и говорить съ тобою о томъ, что и послѣднюю концессію ты получилъ черезъ меня. А вѣдь она тебѣ дастъ милліоны.

Человѣкъ земли. Я этого не забуду. Ты получишь свою долю.

Другая. Молчи! Мнѣ этого не надо. Развѣ я этимъ дорожу! Я тебя люблю, —понимаешь ты это? Понимаешь ты, что не все покупается и продается?

Человѣкъ земли. Въ моихъ рукахъ ты пріобрѣла такой блескъ, такую репутацію, — не можешь же ты это отрицать!

Другая. Слушай, я не шутить съ тобой пришла! Значитъ, всѣ эти твои слова, всѣ эти клятвы, которыя ты такъ щедро расточалъ мнѣ...

Человѣкъ земли. Брось! Скучно!

Другая. И ласки твои, и безуміе, въ которомъ мы съ тобою утопали... Значитъ, все обманъ, и всѣ твои увѣренія—

пустыя, лживыя слова! А я такъ вѣрила, такъ вѣрила! Нѣтъ такой святыни, въ которую люди вѣрятъ больше, чѣмъ я въ тебя вѣрила. Безуміе моей любви, безуміе моей жизни было моею радостью, всѣмъ, чѣмъ я жила, и теперь въ душѣ моей ничего нѣтъ.

Человѣкъ земли. Ну, ну, успокойся.

Другая. Скажи,—ты ее любишь?

Человѣкъ земли. Люблю.

Другая. Но вѣдь ты и меня любилъ! Люби же меня и теперь! Ты—прекрасный, ты сильный, у тебя душа широкая, какъ міръ, какъ твои орлиные замыслы. Развѣ въ твоей душѣ не вмѣстятся двѣ любви, двѣ жизни? Развѣ ты такой же, какъ всѣ эти маленькіе, презрѣнные людишки?

Человѣкъ земли. Что ты говоришь, безумная? Души нельзя раздѣлить пополамъ. Уйди отъ меня.

Другая. Слушай, ты дорого за это заплатишь! Ты не долго будешь блаженствовать съ твоею аркадскою пастушкою.

Человѣкъ земли (мгновенно раздражаясь и обычно хватая ее за руку). Молчи! Не смѣй говорить о ней.

Другая. Тише, грубый варваръ! Ты дѣлаешь мнѣ больно. Ты одичалъ тамъ, въ горахъ. Пусть она святая, а я грѣшная, но развѣ у человѣка не могутъ быть двѣ жены? Скажи, развѣ не могутъ?

Человѣкъ земли. Но развѣ же это будетъ любовь?

Другая. О, любовь! Что ты знаешь о могуществѣ любви? Видишь, я даже не ревную, такъ я тебя люблю. Пусть, пусть и она будетъ, если ты ее любишь,—но люби и меня люби, мой милый!

Плачетъ и становится передъ нимъ на колѣни.

Человѣкъ земли (поднимая ее). Поймы,—я ее люблю!

Другая. Когда уста къ устамъ прильнутъ, развѣ естественная? О, люби меня, люби! Сохрани нашу любовь!

Человѣкъ земли (отходя отъ нея). Развѣ ты не понимаешь, что возвратъ къ прошлому невозможенъ?

Другая. Невозможенъ? Такъ ты меня отталкиваешь? О, я этого не забуду! Развѣ не знаешь ты, что любовь—сестра ненависти? Не знаешь? Отомщу тебѣ за всѣ мои страданія!

Человѣкъ земли. Что за вздоръ ты говоришь? И чѣмъ ты можешь мнѣ отомстить?

Другая.—Не хочешь ли ты, чтобы я тебѣ разсказала все напередъ? Нѣтъ, прекрасный измѣнникъ, я нанесу тебѣ ударъ тамъ, гдѣ ты не ожидаешь.

Хохочетъ.

Человѣкъ земли.—Ты, право, забавна!

Смѣется. Другая перестала хохотать, и смотритъ на него глазами, вдругъ заблиставшими по змѣиному. Она подходитъ къ нему близко, дрожитъ, и говоритъ очень тихо и очень внятно.

Другая. -Подожди, тебѣ будетъ не до смѣха. А что ты скажешь, если я оболью твою новую любовь сѣрною кислотою? Будешь смѣяться? Забавна тебѣ будетъ эта безобразная маска на ея лицѣ?

Человѣкъ земли, съ яростью.—Не смѣй говорить этого! Не смѣй даже и думать ни о чемъ подобномъ! Я тебя такъ скручу, что ты...

Другая быстро овладѣваетъ собою. Она отходитъ въ сторону, смотритъ на него холодными глазами, и говоритъ почти спокойнымъ голосомъ.

Другая. - О, какъ страшно! Какъ это любезно,—топать ногами и кричать на меня! На меня, которая только что стояла передъ тобою на колѣняхъ и цѣловала твои руки.

Человѣкъ земли.—Но какъ же ты смѣешь грозить мнѣ! И чѣмъ грозить!

Другая.—Но вѣдь я страдаю!

Человѣкъ земли.—Если даже допустить глупую мысль, что я въ чемъ-то виновать передъ тобою, то въ чемъ же передъ тобою виновата она, которой ты грозишь такимъ ужасомъ? Или сердце у тебя звѣриное?

Другая. Ты не понимаешь шутокъ! Что жъ, ты и въ самомъ дѣлѣ думаешь, что я пойду на такое гнусное дѣло,—обливать кого-то сѣрною кислотою? Я не такъ зла, и не такъ глупа!

Человѣкъ земли. Зачѣмъ же ты говоришь?

Другая. Я сама не знаю, что говорю. Я несчастна! Я такъ страдаю! Но я была болѣе высокаго мнѣнія о твоей проницательности! Ахъ, у меня голова кругомъ идетъ, я ничего не понимаю, мнѣ такъ тяжело, такъ горько! Умереть бы, умереть!

Порывисто садится, почти падаетъ въ кресло, и нервически рыдаетъ. Человѣкъ земли нетерпѣливо ходитъ по кабинету, потомъ подходитъ къ Другой.

Человѣкъ земли. Успокойся, милая. Что было, то прошло, а прошлаго не воротишь.

Другая. Не надо, не надо, чтобы проходила любовь! Такая любовь, какъ моя!

Человѣкъ земли. Что же мнѣ дѣлать! Я снова влюбленъ, и не менѣе страстно, чѣмъ тогда, когда я тебя встрѣтилъ.

Другая. Можно влюбляться сотни разъ, но разлюбить нельзя. Поймы, жестокій!

Человѣкъ земли. Если бы ты знала, какъ она прекрасна, какъ умна, какъ нѣжна! Какія у нея золотыя волосы! Какъ она улыбается!

Другая. Хоть бы изъ милосердія ко мнѣ не говорилъ объ этомъ! Да, такъ ты улыбаешься другой, ты цѣлуешь другую! О, твоя улыбка! О, я слишкомъ хорошо ее знаю, слишкомъ изучила поцѣлуй этихъ устъ, похожихъ на спѣлую гранату! А улыбка твоя! Отъ нея сердце во мнѣ задрожитъ и словно выпрыгнуть хочетъ.

Человѣкъ земли. Ты мнѣ льстишь. Я вѣдь не златокудрый поэтъ, не превыспренній мечтатель. Я не улыбаюсь,—я строю дороги и мосты.

Другая. О, вспомни, вспомни, что за блаженные часы мы проводили тамъ, въ нашемъ благословенномъ уголкѣ, гдѣ теперь безъ тебя такъ мертво, такъ пусто! (Становится передъ нимъ на колѣни). Сжалься надо мною, сжалься!

Человѣкъ земли, стараясь ее поднять.—Ну, полно, полно. Встань. Могутъ войти.

Другая. Я бросила для тебя человѣка, который такъ меня любилъ! Онъ вѣтерку не давалъ до меня коснуться.

А ты,—ты растоптал меня, и отшвырнул, как ненужную тряпку. О, ты—жестокій! Какой жестокій!

Человѣкъ земли (досадливо). Встань, милая, прошу тебя. Право, все это совершенно ни къ чему! Упрекать намъ другъ друга не въ чемъ. Любовь, это—живой цвѣтокъ. Она или растетъ съ каждымъ днемъ, или отцвѣтаетъ.

Другая. Жестокій! О, какой ты жестокій! Вѣдь ты для меня—послѣдній и единственный. Послѣ тебя никого не полюблю, никого, никогда! Вся моя жизнь была въ тебѣ. Безъ тебя—смерть.

Человѣкъ земли. Ну, полно, безъ трагедій!

Другая (порывисто встаетъ). Не надо трагедій! Зачѣмъ трагедіи! Вся жизнь наша- -забавный фарсъ.

Вытираетъ слезы. Подходитъ къ зеркалу, долго смотритъ на себя. Беретъ перчатки, и опять ихъ бросаетъ.

Человѣкъ земли. Жизнь—не трагедія и не фарсъ.

Другая. Ты все знаешь, ты знаешь жизнь. Что же такое эта жестокая жизнь?

Человѣкъ земли. Жизнь—трудъ, созиданіе. Радость жизни—творить то, чего не было, творить изъ упрямаго матеріала, побѣждать сопротивленіе.

Другая. Побѣждай! А мои слезы... Да нѣтъ, что о нихъ говорить! Такъ ты хочешь, чтобъ я утѣшилась?

Человѣкъ земли. Ну, конечно! Будь же благоразумна! Міръ широкъ, утѣшеній въ немъ много.

Другая. Хорошо, если ты этого хочешь! Какъ мнѣ ни трудно, но что жъ дѣлать!

Смѣется, опять смотритъ на себя въ зеркало, и намѣренно дѣлаетъ спокойное, почти веселое лицо, какъ искусная актриса, привыкшая перевоплощаться.

Человѣкъ земли. Ну вотъ, такъ то лучше.

Другая подходитъ къ окну, смотритъ на улицу, молчитъ. Говоритъ медленно, какъ бы нерѣшительно.

Другая. Но нельзя, чтобы мы такъ разстались. Въ память всего того, что между нами было, я прошу тебя объ одномъ,—ты это исполнишь?

Человѣкъ земли. А что такое?

Смотритъ на нее внимательно и недовѣрчиво.

Другая подходитъ къ нему, кладетъ руку на его рукавъ, и говоритъ нѣжно, вкрадчиво.

Другая. Нѣтъ, ты обѣщай сначала, что исполнишь то, о чемъ я буду тебя просить.

Человѣкъ земли (пожимая плечами). Какъ же я могу обѣщать, когда я не знаю, что ты придумала!

Другая (насмѣшливо). Ты боишься? Ты думаешь, что я замышляю что-то коварное! Ты боишься слабой женщины! О, вы, храбрые мужчины!

Человѣкъ земли. Я ничего не боюсь, но согласись сама, что очень страшно соглашаться на что-то, а на что, неизвѣстно.

Другая. Такъ ты исполнишь то, о чемъ я тебя попрошу?

Человѣкъ земли. Если это въ моихъ силахъ, то, конечно, исполню.

Другая. Ну вотъ, обѣщалъ, и спасибо. Не бойся,—ничего страшнаго и коварнаго. Я только хочу тебя просить, чтобы ты еще одинъ разъ, — послѣдній разъ, — провелъ со мною нѣсколько часовъ. Мы поѣдемъ куда-нибудь за городъ, и покутимъ немного,—справимъ по нашей любви тризну. Хорошо? Согласенъ?

Человѣкъ земли (улыбаясь нѣсколько принужденно). Я обѣщалъ, и исполню.

Другая. Скрѣпя сердце?

Человѣкъ земли. Нѣтъ, съ большимъ удовольствіемъ. Если бы мнѣ это было непріятно, я бы отказался. Когда же ты хочешь?

Другая. Ты заѣдешь ко мнѣ въ среду утромъ,—хорошо?

Человѣкъ земли. Лучше въ четвергъ.

Другая. Четвергъ, такъ четвергъ. Заѣзжай, а потомъ поѣдемъ въ автомобилѣ. Я покажу тебѣ одно живописное мѣсто, гдѣ мы съ тобою еще ни разу не были. Ты не боишься?

Человѣкъ земли. Какой вздоръ! Чего же мнѣ бояться?

Другая. А можетъ быть, я застрѣлю тебя по дорогѣ.

Человѣкъ земли, съ презрительнымъ, почти обиднымъ смѣхомъ). Оружіе смерти въ рукахъ женщины не страшно. Если бы ты и захотѣла, со мною тебѣ бы это не удалось. Трусомъ я никогда не былъ.

Другая. Развѣ ты не боишься смерти?

Человѣкъ земли. Умирать не имѣю ни малѣйшаго желанія, но и отвѣдное лицо смерти меня устрашить не можетъ. Не разъ ужъ заглядывалъ я въ ея пустые глаза.

Другая. А если мой шоферъ мрачно смотритъ на жизнь, и мечтаетъ о самоубійствѣ? Что ты на это скажешь, мой милый? Ты, кажется, поблѣднѣлъ? Ты вспомнилъ мрачное лицо моего Германа?

Человѣкъ земли. Ты говоришь глупости, и мнѣ досадно тебя слушать. Если онъ мечтаетъ о самоубійствѣ, то причемъ же мы тутъ?

Другая (смѣется). Ну, мало ли причемъ? Да онъ, можетъ быть, спрыгнетъ во время, и спасется.

Человѣкъ земли. Мечтающій о самоубійствѣ? Нѣтъ, милая, ты окончательно запуталась. Я не боюсь твоихъ угрозъ, и твои намеки оставляютъ меня равнодушнымъ. Рѣшено, я ѣду.

Другая. Спасибо, милый! Вотъ такимъ я тебя полюбила, и такимъ люблю, — безстрашнымъ, прекраснымъ, сильнымъ!

Бросается къ нему на шею, и рыдаетъ. Порывисто цѣлуетъ его, вырывается изъ его объятій, и уходитъ. Человѣкъ земли мрачно смотритъ вслѣдъ за нею.

Д'ЬЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Вечеръ. Тотъ же кабинетъ, двери въ другія комнаты закрыты.
Человѣкъ земли и Она.

Человѣкъ земли лежитъ на диванѣ. Онъ укутанъ пледомъ, рука на перевязкѣ, очень блѣденъ. Она встревожена. Лицо ея заплакано.

Человѣкъ земли. Бѣдная! Что-то съ нею теперь?

Она. Ты не волнуйся. Она поправится.

Человѣкъ земли. Ты скрываешь отъ меня. Я по твоимъ глазамъ вижу, что ей очень плохо. Можетъ быть, она уже умерла. Такъ тяжело, — она меня любила. Она много сдѣлала для меня,—и захотѣла отнять у меня все разомъ.

Она. Какъ это все ужасно!

Человѣкъ земли. Бѣдная! Она мнѣ говорила, что отомститъ, а я думалъ, что она только дразнитъ меня.

Она. За меня она хотѣла тебѣ мстить. О, милый, милый, какъ я тебя люблю! Зачѣмъ ты поѣхалъ съ нею?

Человѣкъ земли. Она просила. Послѣдній разъ. Жалко стало. А эти люди, эти глупые люди! Они воспользовались днями моей болѣзни, чтобы нанести мнѣ ударъ исподтишка, чтобы отнять мою концессію. Какая гнусность! Вѣдь я знаю, что безъ меня дорогу построятъ скверно.

Она. Успокойся, не думай объ этомъ.

Человѣкъ земли. О, не думать! Теперь я вижу, что все это—нити одной сложной интриги, въ которой участвовала и эта безумная женщина. Но, что за ужасъ, что за безуміе то было! Темная ночь, мы одни въ автомобилѣ, вдругъ я чувствую, что мы мчимся стремительно куда-то внизъ, авто-

мобиль клонится на сторону, мы падаемъ, трескъ, звонъ, я теряю сознаніе. Какой ужасъ! До сихъ поръ не могу опомниться, не могу понять, что это было, сонъ, призракъ, кошмаръ?

Она. Милый мой, не падай духомъ.

Человѣкъ земли. Съ чего ты взяла, что я падаю духомъ? Что за вздоръ! Я спокоенъ, какъ всегда. Мнѣ только досадно на всѣхъ этихъ людей. О, какіе мерзавцы!

Она. Они завидуютъ тебѣ.

Человѣкъ земли. Они всѣ были бы очень рады, если бы я сломалъ себѣ шею при этомъ крушеніи. Вотъ почему она хотѣла, чтобы я ѣхалъ не на своемъ автомобилѣ, а на ея. До сихъ поръ не могу понять, какъ удалось шоферу во время выпрыгнуть. А впрочемъ, если онъ былъ подкупленъ и самъ устроилъ это крушеніе, то что въ тутъ удивительнаго.

Она (тревожно).--Кто же его могъ подкупить?

Человѣкъ земли. Кто? Да она же, женщина, которую я любилъ.

Она. Не можетъ быть.

Человѣкъ земли. Я это понялъ изъ ея намека, когда она звала меня на эту роковую прогулку.

Она. Милый, зачѣмъ же ты поѣхалъ съ нею?

Человѣкъ земли. Да, можетъ быть, мнѣ надо было бы просто на просто распрощаться съ нею и не принимать ея приглашенія. Но что было, то было, что жалѣть!

Она. Страшно подумать, какая злоба живетъ въ нѣжномъ сердцѣ женщины!

Человѣкъ земли. Она любила,—и не пожалѣла себя, чтобы отомстить покинувшему ее любовнику!

Она. Бѣдная! Она слишкомъ дорого заплатила за свой злодѣйскій замыселъ!

Человѣкъ земли. Она умерла? Что же ты молчишь? Вѣдь я это и безъ тебя узнаю. Странно,—теперь я почти увѣренъ, что она умерла, но въ душѣ моей нѣтъ ни сожалѣнія, ни страха. Я больше способенъ былъ бы жалѣть совсѣмъ чужую мнѣ и незнакомую женщину. Странно! Мнѣ какъ будто бы все равно, что бы съ кѣмъ ни случилось.

Она. Ты еще такъ слабъ,—не думай объ этомъ.

Человѣкъ земли. Воображаю, какъ всѣ они были раздосадованы, когда узнали, что я не разбился на смерть.

Она. Многіе рады тому, что ты спасся.

Человѣкъ земли. Что мнѣ многіе! Ты одна для меня дорога, твои слезы и твои улыбки. О, они утѣшались затѣею разорить меня. Они думали, что если имъ удастся нанести мнѣ такой крупный убытокъ, то я уже не сумѣю стать опять на ноги. И правда, убытокъ великъ! Какъ некстати, что я столько дней долженъ былъ лежать и ничего не могъ дѣлать!

Она. Ты побѣдишь, не отчаивайся.

Человѣкъ земли. Я же тебѣ говорю, что я совершенно спокоенъ. Не достаетъ только того, чтобы ты еще разстраивала меня своими утѣшеніями.

Она. Прости, милый! Вѣдь я такъ люблю тебя! Такъ люблю!

Человѣкъ земли. Пора бы тебѣ знать, что я силенъ, и не нуждаюсь въ этихъ бабьихъ глупостяхъ, въ какихъ-то утѣшеніяхъ.

Она. Я знаю, что ты - сильный и гордый, что никакая сила тебя не сломитъ. Но вѣдь я такъ люблю тебя! Люблю тебя въ твоей силѣ и гордости, люблю и въ тѣ минуты, когда ты утомленъ и огорченъ, когда ты долженъ отдыхать, какъ слабый и маленькій. Нѣтъ на землѣ человѣка, который не искупалъ бы своей силы и гордости минутами усталости и слабости. Вѣдь для того и приходитъ къ намъ любовь, чтобы въ ея сладостныхъ объятіяхъ покоилась утомленная сила и въ нихъ находила новые источники своей крѣпости.

Человѣкъ земли. Вижу, что тебѣ непремѣнно хочется утѣшать меня. Ну что жъ, утѣшай, милая.

Она. Не утѣшать, нѣтъ, — ты въ утѣшеніяхъ не нуждаешься,—а быть для тебя единственною, передъ которою ты можешь сбросить маску. Всѣ знаютъ тебя сильнымъ, одна я имѣю право знать тебя иногда и слабымъ.

Человѣкъ земли. Если бы и въ самомъ дѣлѣ въ моей душѣ таилось чувство неувѣренности въ себѣ самомъ, или утомленіе, или слабость, я не могъ бы даже и передъ

тобою такъ распуститься, чтобы это было замѣтно. Настоящій мужчина съ такимъ же лицомъ заплатитъ проигрышъ, съ какимъ получалъ выигрыши, хотя бы на ставкѣ стояла жизнь. Я же привыкъ платить проигрыши. Жизнь долго была ко мнѣ сурова. Я привыкъ преодолѣвать.

Она. Милый мой! Передъ мною не надобно такъ гордиться. Будь ко мнѣ ближе, открой мнѣ свою душу, и никакое горе не будетъ намъ страшно.

Человѣкъ земли. Да, тебѣ я такъ вѣрю, что передъ тобою, и въ самомъ дѣлѣ, маску носить не стану. Ты тоже сильная,—я это понялъ въ послѣдніе дни.

Она. Любовь сдѣлаетъ насъ еще сильнѣе.

Человѣкъ земли. Кажется, я былъ съ тобою нелюбезенъ, почти грубъ. Любовь моя милая, прости! Я знаю, что все устроится, и моя удача опять вернется ко мнѣ. Но я взбѣшенъ всѣми этими людьми. Если бы еще они прямо, открыто боролись со мною! А это удары изъ-за угла,—какая гнусность!

Она. Милый мой, не думай о нихъ. Что намъ до этихъ людей! Они такъ ничтожны, что о нихъ не стоитъ и думать. Я съ тобою, я никогда не оставлю тебя. Моя любовь не погаснетъ, хотя бы и земля охладѣла.

Поправляетъ подушку подъ его головою. Онъ смотритъ на нее нѣжно.

Она. Можетъ быть, ты заснешь? Не уйти-ли мнѣ?

Человѣкъ земли. Милая, будь со мною, мнѣ легче, когда ты здѣсь. Да, ты права, — я хочу забыть объ этихъ ничтожныхъ людяхъ.

Она. Возлюбленный мой! Только меня люби, и все будетъ хорошо.

Человѣкъ земли вздрагиваетъ и прислушивается.

Она (тревожно). Что съ тобою?

Человѣкъ земли. Мнѣ послышались сейчасъ чьи-то шаги.

Она (прислушиваясь). Нѣтъ, никого нѣтъ.

Человѣкъ земли. Можетъ быть, это отъ моей Звѣздочки? Или она сама?

Она. Туда, гдѣ жизнь и любовь, мертвые не приходятъ. Забудь обо всемъ на свѣтѣ, думай только о моей любви.

Приникаетъ къ нему, и цѣлуетъ его долго и нѣжно. Въ это время дверь тихо открывается. Человѣкъ земли и Она, занятые собою, не замѣчаютъ этого. Входитъ Слуга. Лицо его мрачно и значительно. На его рукѣ повязка. Онъ вошелъ тихо, и остановился у двери, и кажется, что уже онъ давно стоитъ тамъ.

Наконецъ его замѣчаютъ. И Человѣкъ земли, и Она съ полминуты смотрятъ на Слугу съ недоумѣніемъ и страхомъ. Человѣкъ земли съ усиліемъ приподнимается.

Человѣкъ земли. Кто это? Какъ ты сюда попалъ?

Она бросается къ Слугѣ. Беретъ его за руку, боязливо оглядываясь на Человѣка земли, и хочетъ вывести изъ комнаты. Но Слуга остается неподвижнымъ.

Она (тихо). Зачѣмъ ты сюда пришелъ? Господинъ боленъ, ему вредно всякое волненіе.

Слуга. Я долженъ былъ притти, къ тебѣ и къ твоему господину.

Она. Ты оттуда? Ты принесъ отъ него письмо?

Слуга. Вотъ перстень моего господина. Больше я ничего не принесъ.

Она. А онъ гдѣ? Что съ нимъ? Отчего ты оставилъ его? Съ нимъ кто-нибудь есть?

Слуга. Ему теперь хорошо. Вотъ намъ всѣмъ безъ него плохо.

Она. Да скажи же, наконецъ, что случилось! Онъ боленъ?

Слуга. Я принесъ вамъ злыя вѣсти.

Человѣкъ земли все это время стоитъ въ сторонѣ, и мрачно смотритъ на Слугу. При послѣднихъ словахъ онъ порывисто, хотя и съ трудомъ, опираясь на мебель и на стѣны, подходитъ къ Слугѣ.

Человѣкъ земли. Говори скорѣе, что случилось!

Слуга. Мой господинъ упалъ со скалы въ море.

Человѣкъ земли садится на кресло, опирается локтями о круглый столъ, закрываетъ лицо руками, шепчетъ.

Человѣкъ земли. Погибли! Оба погибли!

Она. Но ты его спасъ?

Слуга. Господинъ погибъ. Кто хочетъ смерти, того нельзя спасти.

Она (въ отчаяніи). Онъ погибъ! Онъ умеръ! Я никогда его не увижу, никогда не услышу его голоса, не взгляну въ его глаза! Онъ погибъ!

Слуга. Госпожа, онъ пересталъ жить въ тотъ же часъ, когда ты ушла отъ него. Тамъ, съ нами, оставалась только его земная оболочка,—душа его была безжалостно убита. Ты знала, госпожа, что безъ тебя онъ не могъ жить.

Она. Нѣтъ, нѣтъ, я не могла знать это!

Слуга. Дни его были томленіемъ, и ночи не приносили ему кратковременныхъ утѣшеній. Уже онъ не восходилъ на башню, не слѣдилъ за теченіемъ свѣтилъ небесныхъ, и не прибавилъ ни одной строки къ тому, что было имъ написано раньше. Онъ смотрѣлъ на дорогу, по которой ты ушла, когда покидала его. Ему не зачѣмъ было жить.

Человѣкъ Земли поднимаетъ голову, и пристально смотритъ на Слугу. На короткое время взоры ихъ встрѣчаются въ мрачномъ поединкѣ. Слуга отводитъ свои глаза, и смотритъ на Нее.

Она (плача). Онъ любилъ меня, любилъ, любилъ!

Слуга. Госпожа, развѣ ты не знала, что онъ любилъ тебя? Жить безъ тебя онъ не могъ, и смерть пришла, избавительница.

Человѣкъ Земли подходитъ къ Слугѣ, и всматривается въ него. Слуга угрюмо опускаетъ глаза. Человѣкъ Земли смотритъ внимательно на повязку на рукѣ Слуги.

Человѣкъ земли. А это что у тебя на рукѣ?

Слуга. Собака искусала. Когда господинъ умеръ...

Человѣкъ земли, (перебивая его). Она защищала своего господина? Ты его убилъ?

Слуга (рѣшительно и мрачно). Ты его убилъ. Ты и она, любовь, оставившая моего господина, унесшая душу его.

Человѣкъ земли. Какъ ты смѣешь говорить это! Ты, убійца!

Она. Оставь его, не упрекай. Онъ говоритъ правду.

Человѣкъ земли. Правду? Развѣ ты не догадываешься, что этотъ человѣкъ, изъ ложнаго состраданія къ своему господину, убилъ его, и потомъ трупъ его сбросилъ со скалы въ море.

Она. Не можетъ быть!

Человѣкъ земли, (Слугѣ). Ты не посмѣешь сказать, что я говорю неправду. Но ты не понялъ того, что тоска его прошла бы съ годами, и онъ опять вернулся бы къ своей работѣ. И вотъ ты самовольно распорядился тѣмъ, что тебѣ не принадлежало, чужою жизнью, и дерзко погасилъ ее.

Слуга. Ты проницателенъ, но ты не можешь понять того, что мой господинъ не могъ бы утѣшиться и позабыть. Онъ былъ не изъ тѣхъ, которые забываютъ и переживаютъ. У него была одна душа, одна любовь, одна истина, и одна жизнь. Любовь ему измѣнила, истина его обманула, и великая, прекрасная душа его умерла. Жить ему было не зачѣмъ, а это, послѣднее, это было только паденіе тѣла въ воду, и больше ничего. Не все ли равно тѣлу, лишенному души, въ какомъ положеніи и въ какомъ мѣстѣ ему находиться!

Человѣкъ земли. Ты слышишь, онъ и не пытается отрицать, что убилъ его! Онъ еще пытается оправдываться! Пустыми софизмами онъ хочетъ доказать, что былъ правъ!

Она. Оставь его. Онъ говоритъ правду. Я виновна въ этой смерти.

Человѣкъ земли. Ты хочешь сказать, что считаешь и меня въ чемъ-то виновнымъ?

Она. Нѣтъ, нѣтъ. У тебя есть другая, умершая оттого,

что ты ей измѣнилъ. Я не должна была уходить отъ него! Я должна была остаться! Должна,—вотъ я чувствую теперь, что это- не пустое слово! Совѣсть говоритъ мнѣ объ этомъ.

Горько плачетъ. Человѣкъ земли стоитъ въ тягостномъ раздумьи. Слуга неподвиженъ и холоденъ, какъ неживой.

Человѣкъ земли, (Слугѣ). Разскажи, какъ это случилось.

Слуга. Съ тѣхъ поръ, какъ госпожа ушла, господинъ все время тосковалъ. Иногда онъ уходилъ внизъ, къ морю, и смотрѣлъ на волны, которыя унесли госпожу въ далекій путь.

Она. О, лучше бы мнѣ было потонуть въ этомъ морѣ!

Слуга. Въ тотъ вечеръ онъ долго стоялъ на вершинѣ скалы. Солнце только что опустилось въ воду, заря пылала, и въ лучахъ зари такъ прекрасно было лицо моего господина. Я видѣлъ, что вся душа у господина изникла изъ его тѣла. Мнѣ стало жаль его. Я отвернулся.

Человѣкъ земли. Ты столкнулъ его со скалы?

Слуга. Онъ упалъ въ море. Рыбаки поспѣшили на помощь, привлеченные моими громкими криками и яростнымъ воемъ собаки. Господина вытащили. Но онъ уже былъ мертвъ, -разбился о камни. Мы его похоронили у подножія этой скалы. Собака издохла отъ тоски на могилѣ господина, а я пришелъ сюда разсказать.

Человѣкъ земли. Благодарю. Отдай госпожѣ этотъ перстень, и иди. Ты усталъ и голоденъ, тамъ тебя накормятъ и успокоятъ.

Слуга тихо уходитъ. Кажется, какъ будто его и не было, какъ будто это было явленіе изъ міра призраковъ.

Она. Что же это? Что же это? Боги мстятъ?

Человѣкъ земли. Мужественно встрѣтимъ и это новое испытаніе. Мы почерпнемъ силу въ нашей любви. Любовь сплететъ намъ новыя сѣти, которыми привяжетъ насъ къ жизни, и увѣнчаетъ насъ новыми радостями.

Она. Какъ пережить эту смерть! Онъ умеръ! Онъ, самый мудрый, самый кроткій! Онъ, которому жалко было сломать стебелекъ цвѣтка! Онъ, который бережно распра-

взять крылышки упавшей изъ гнѣзда ласточки! А его никто не пожалѣлъ, когда я, ослѣпленная, покинула его, и онъ остался одинъ надъ мрачными безднами. И одну только услугу могъ оказать ему его послѣдній вѣрный, это — столкнуть его въ море!

Человѣкъ земли. Мы поѣдемъ на его могилу, мы будемъ свято чтить его память.

Она. Какъ онъ молился, какъ страдалъ, одинъ, одинъ, всѣми забытый и оставленный! А въ это время я, его единственная, утопала въ безумной и ненужной роскоши, упивалась грѣшными твоими поцѣлуями!

Человѣкъ земли. Зачѣмъ ты говоришь такъ! Ты остановила свой взоръ на покойномъ, и терзаешь своими словами сердце того, кто живъ, кто любитъ. Я не могу слушать этихъ твоихъ укоровъ.

Она. Развѣ я тебя укоряю? Я сама во всемъ виновата, одна виновата во всемъ.

Человѣкъ земли. Умирающій нерѣдко находитъ счастіе въ самой смерти своей. Онъ умеръ съ мечтою о тебѣ, и умирая былъ счастливъ. Если онъ тебя дѣйствительно любилъ, онъ долженъ благословлять твое счастіе, а чрезмѣрное отчаяніе твое ему должно быть тягостно и за гробомъ, какъ доказательство того, что и смерть его была жертвою непринятою.

Она. Зачѣмъ жертвы?

Человѣкъ земли. Развѣ ты не знаешь, что благородное сердце любитъ приносить себя въ жертву, и радуется, если жертва его принята? Мы снова упьемся безумiемъ счастья нашего и въ блаженствѣ потонетъ для насъ вся вселенная. Что въ ней значитъ еще одинъ погибшій?

Она. Днемъ и ночью этотъ погибшій будетъ стоять передо мною! Днемъ и ночью! О, какъ мнѣ страшно! (Обнимая его). Защити меня, спаси меня! Вотъ я вижу его! Вотъ тамъ, гдѣ стоялъ его слуга! Его скорбное лицо, его кроткіе глаза!

Человѣкъ земли. Дорогая моя, успокойся. Ты со мною, ничего не бойся, ни людей, ни призраковъ. Я защищу тебя отъ всякой здѣшней и нездѣшней силы.

Она. Онъ напоминаетъ мнѣ, какъ счастливо текла жизнь моя съ нимъ тамъ, наверху.

Человѣкъ земли. Развѣ любовь моя не дала тебѣ ничего? Ты много оставила тамъ, на этой мрачной горѣ, гдѣ нельзя жить человѣку, но развѣ моя любовь ничего не дала тебѣ взамѣнъ?

Она. Ахъ, что со мною! Мрачный призракъ, разсѣйся! Я люблю тебя, только тебя. Люблю вотъ этотъ лобъ, эти губы! Люблю, люблю!

Она страстно цѣлуетъ Человѣка земли.

Человѣкъ земли. Мы будемъ счастливы. Мы живы, мы на этой милой землѣ, подъ этимъ яснымъ солнцемъ.

Она. Мы будемъ счастливы! Тѣни умершихъ отойдутъ отъ насъ.

Человѣкъ земли. Ихъ двое,—моя Звѣздочка и онъ, твой мудрый другъ. Легкомысленная актриса и ученый мудрецъ. Какое странное соединеніе! Въ любви и въ смерти! (Глубоко задумывается).

Она. Что ты хотѣлъ сказать? О чемъ ты думаешь?

Человѣкъ земли. Какъ просвѣтляетъ смерть! Теперь я вспомнилъ вдругъ ея послѣдній взглядъ, когда она падала изъ бѣшено мчавшагося подъ откосъ экипажа. Какой любви былъ полонъ этотъ взглядъ! Странно! Такъ жестоко мстящая должна была бы ненавидѣть. Она меня, значитъ, любила истинною, вѣрною любовью, такою же любовью, какою тебя любилъ твой мудрецъ. И смерть сняла пелену злобы съ ея внезапно открывшихся глазъ.

Она смотритъ на него пристально, прислушиваясь къ его словамъ съ необычайнымъ волненіемъ.

Она. Ты все еще ее любишь?

Человѣкъ земли. Я люблю только тебя.

Она. Зачѣмъ же ты такъ говоришь о ней?

Человѣкъ земли (говоритъ словно въ безпамятствѣ, какъ бы бредя). Въ какомъ блаженномъ озареніи предстоятъ мнѣ эти двѣ тѣни! Кто бы могъ это подумать! Моя маленькая Звѣздочка въ странѣ блаженныхъ! Преступная и порочная душа, какіе ангелы дали тебѣ твою бѣлую одежду?

Онъ въ страхѣ и отчаяніи приникаетъ къ нему. Кричитъ громко, словно хочетъ разбудить его.

Она. Я съ тобою, люби меня!

Человѣкъ земли. Когда я хочу сказать тебѣ: «Люблю!» она становится передо мною, и говоритъ: «Я любила, и умерла, потому что любила!»

Она. Отгони эти мрачныя мысли!

Человѣкъ земли, какъ бы очнувшись отъ сна, озирается. Говоритъ въ странной задумчивости, и взглядъ его блуждаетъ разсѣянно.

Человѣкъ земли. Да, мы должны побѣдить это темное уныніе. Жизнь передъ нами.

Звукъ его голоса пугаетъ ее. Она тревожно мечется по комнатѣ.

Она. Боже мой, Боже мой, что же мнѣ дѣлать!

Человѣкъ земли. Тяжело, но это пройдетъ. Надо отвлечься, надо забыться. Когда я поправлюсь, мы съ тобой уѣдемъ въ прекрасную, лазурную страну.

Она. Лазурная, прекрасная страна! Развѣ есть на землѣ такой край, гдѣ бы можно было позабыть, не чувствовать, не видѣть? Быть можетъ, только тамъ, гдѣ теперь онъ, мой любимый.

Человѣкъ земли. Милая, я хочу отвлечься отъ этихъ ужасныхъ мыслей. Сыграй мнѣ что-нибудь свѣтлое и торжественное. Въ минуты печали душа поднимается на вершины, гдѣ торжественная грусть сплетается съ высокою радостью.

Она уходитъ въ дверь направо. Скоро оттуда раздаются звуки музыки. Гармоничные аккорды все чаще смѣняются неразрѣшенными диссонансами. Музыка становится все болѣе отрывочною и дисгармоничною, прорываются аккорды глубокаго разстройства.

Человѣкъ земли ходитъ по комнатѣ, прислушиваясь къ музыкѣ. Его лицо выражаетъ сначала надежду, потомъ глубокую печаль, переходящую въ уныніе и отчаяніе. Музыка

обрывается рѣзкимъ диссонансомъ. Слышенъ подавленный крикъ тоски и страха. Она быстро входитъ въ комнату. Очень блѣдна.

Человѣкъ земли. Милая, любовь моя, что съ тобою? Отчего ты такъ блѣдна?

Она. Они опять передо мною. Они всегда будутъ между нами.

Человѣкъ земли. Милая, успокойся. Не возвращаются изъ могилъ.

Она. О, если бы возвращались! Они бы насъ простили. Но они во мнѣ, они въ тебѣ, и теперь жизнь ихъ безконечна, они безсмертны, мстители милые наши. Не будетъ намъ счастія ужъ никогда больше. Они зовутъ насъ, они требуютъ отъ насъ...

Человѣкъ земли. Что они могутъ требовать? Пустая мечта!

Она. Развѣ ты можешь забыть?

Человѣкъ земли. Пройдетъ время, все забудется.

Она. Нѣтъ, нѣтъ,—мы будемъ презирать другъ друга, если позабудемъ. Если бы они не умерли, развѣ не все равно? Ихъ опустошенныя жизни такъ же лежали бы гнетомъ на нашей совѣсти.

Человѣкъ земли молча отходитъ къ окну. Стоитъ въ глубокомъ раздумьи. Она тревожно ходитъ.

Она. Все началось съ того, что ты пришелъ къ намъ, и началъ мнѣ говорить о твоей любви ко мнѣ, о радостяхъ жизни, о твоемъ строительствѣ, о твоихъ мечтахъ оживить дикій край. Вотъ съ этихъ разговоровъ все и началось. Ты говорилъ, а я слушала.

Человѣкъ земли. Да? Такъ что же?

Она. Я тебя полюбила. Я тебя люблю, потому что ты этого захотѣлъ.

Человѣкъ земли смотритъ на нее умоляющими глазами.

Человѣкъ земли. Жизнь моя, не отходи отъ меня. Мы уѣдемъ въ безмятежный, лазурный край, и снова райскія видѣнія навѣетъ тебѣ любовь моя.

Она. Нѣтъ, никогда! и Ты самъ себѣ не вѣришь,—ты говоришь такъ неувѣренно, какъ никогда не говорилъ. Развѣ можемъ мы теперь мечтать о счастіи, о райскихъ видѣніяхъ? Мы забрызганы кровью.

Человѣкъ земли. Что же, развѣ я виноватъ въ этой крови?

Она. Я не хотѣла твоя упрекать. Развѣ есть виноватые? Я полюбила тебя, и если бы еще разъ надо было сдѣлать то, что я сдѣлала, то я снова поступила бы такъ же. О, какою жестокою цѣною куплено это безуміе! Да и какъ же иначе? Все въ мірѣ связано, все сковано пламеннымъ кольцомъ любви и страданія, неразрывнымъ, вѣчнымъ. Не уйти изъ него, не вырваться изъ этихъ оковъ,—и всѣ мы вмѣстѣ, всѣ, живые и мертвые, любящіе и любившіе, всѣ отвѣчаемъ другъ за друга.

Человѣкъ земли. Милая, помни одно, что мы любимъ другъ друга. Вѣрь нашей любви, вѣрь жизни, которая вся еще передъ нами.

Она. Люблю, люблю! Но отчего же такая смертная печаль? Значитъ, одной любви мало.

Человѣкъ земли. Но развѣ его ты не любила?

Она. Зачѣмъ ты это говоришь? Что ты говоришь! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, его я любила! Я была ему вѣрна, я дѣлила съ нимъ всѣ горести жизни. Но я перестаю понимать. Нѣтъ, нѣтъ, не говори ничего. Я не могу, — слова твои меня убиваютъ.

Человѣкъ земли. Милая, милая, успокойся! Тебѣ одной на землѣ я вѣрю. Ты для меня—единственная и послѣдняя.

Она. Вѣрь и ты мнѣ, вѣрь, дорогой мой! Я люблю его, люблю тебя, душа моя разрывается. О, что же дѣлать намъ съ любовью нашею? Душа моя умираетъ! Я не могу, не могу!

Человѣкъ земли. Милая, не плачь такъ, не плачь. Кто далъ намъ душу, тотъ далъ намъ и любовь.

Она. А что мы дѣлаемъ съ любовью, что дѣлаемъ! Сколько горя, сколько крови!

Человѣкъ земли. Любовь поможетъ намъ пережить.

Она. Люблю тебя, люблю въ жизни и въ смерти. Но эти призраки, эти мертвые! Сердце мое разрывается.

Падаетъ въ изнеможеніи, и рыдаетъ.

Человѣкъ земли. Плачь, если ты можешь плакать. А вотъ у меня и слезъ нѣтъ.

Она поднимается, вдругъ спокойная. Смотритъ на него, и въ глазахъ ея ожиданіе.

Человѣкъ земли. Тяжелая колесница счастія! Съ нея прогналъ я женщину, которая казалась мнѣ такою же пустою и легкомысленною, какъ и многія другія,—и колеса моей колесницы раздавили ея грудь. Можетъ быть, я слишкомъ неосторожно сбросилъ ее. Но вотъ она мертва, и на лицѣ моемъ брызги ея крови.

Она (спокойно). Что же ты хочешь дѣлать?

Человѣкъ земли. Ты чего-то ждешь отъ меня?

Она. Ты знаешь, чего я жду.

Человѣкъ земли. Я знаю. Я привыкъ честно расплачиваться по своимъ обязательствамъ. Я сынъ оклеветаннаго, но мужественнаго вѣка. Но ты готова ли?

Она. Милый, съ тобою вмѣстѣ, къ нимъ, которые погибли, потому-что мы имъ измѣнили.

Человѣкъ земли. Дыханіе Смерти надо мною, — и вдругъ такъ ясно въ душѣ моей. Никогда душа моя не была такъ свѣтла, какъ теперь.

Она. Милый, милый, ты это знаешь, нельзя пережить! Нельзя строить на трупахъ.

Человѣкъ земли. Когда же ты хочешь?

Она. Сейчасъ. У тебя есть?

Человѣкъ земли (подходитъ къ столу, вынимаетъ револьверъ). Вѣрный другъ, онъ всегда со мною, всегда готовъ служить.

Она (радостно). Вмѣстѣ умремъ.

Человѣкъ земли наводитъ на Нее револьверъ. Лицо Ея свѣтлое и радостное. Занавѣсъ опускается. Слышенъ два выстрѣла.

Ѳедоръ Сологубъ.

Л. Н. АНДРЕЕВЪ

ПИСЬМА О ТЕАТРѢ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ *).

*) Въ виду непосредственной связи второго письма съ первымъ, послѣднее перепечатывается нами съ любезнаго разрѣшенія автора изъ № 3 журнала „Маски“ за 1912 годъ.

Редакція.

Только поставить нѣкоторые вопросы — вотъ скромная цѣль настоящихъ листковъ, отрывочныхъ и краткихъ. И если нѣкоторыя мысли мои покажутся вамъ парадоксальными, страхъ чрезмѣрнымъ и надежды преувеличенными, то вините не меня, а обширность темы, сложность вопросовъ, связанныхъ съ проблемой театра, новизну нѣкоторыхъ факторовъ, только, что вошедшихъ въ жизнь театра и не имѣющихъ за собою ни исторіи, ни литературы...

I.

Едва ли какое-нибудь другое изобрѣтеніе было встрѣчено съ большимъ недовѣріемъ и даже пренебреженіемъ, нежели кинематографъ -живая фотографія. Если вся міровая улица и низы интеллигенціи съ восторгомъ и упоеніемъ отдались власти „кинемо", то на верхахъ къ нему отнеслись холодно и враждебно. Уже невозможно стало не замѣчать тѣхъ безчисленныхъ вечернихъ огоньковъ, которыми снаружи украшаетъ себя кинемо, не видѣть пестрой толпы, волной приливающей къ его дверямъ, — а о немъ все молчали, притворялись, что не замѣчаютъ, или искренне думали, что это одна изъ тѣхъ пустыхъ забавъ, въ родѣ скетинга-ринка, какими время-отъ-времени увлекается перемѣнчивая и пустая улица. Одна - двѣ первыхъ статьи въ толстыхъ журналахъ, превосходная, но мало оцѣненная и замѣченная статья г. Чуковскаго, смутные слухи о какихъ-то протестахъ въ Германіи противъ растущаго захвата кинемо, — это почти все, чѣмъ до сихъ поръ было у насъ ознаменовано вступленіе въ жизнь чуднаго гостя. Когда года два или три назадъ я впервые заговорилъ съ нѣкоторыми изъ писателей о громадномъ и еще несознанномъ значеніи кинематографа, о той

выдающейся роли, какую суждено ему сыграть при разрѣшеніи проблемы театра, я могъ вызвать только усмѣшку и упреки въ излишнемъ фантазерствѣ.

И всего удивительнѣе было то, что театръ, который всѣмъ существомъ своимъ заинтересованъ въ кинемо, связанъ съ нимъ узами кровнаго родства,—какъ-будто вовсе не замѣчалъ своего богатаго и вульгарнаго американскаго дядюшку. Не замѣчалъ даже и въ ту трагическую для себя минуту, когда подъ напоромъ кинемо самъ пошелъ на улицу, занялъ мѣсто рядомъ съ вечерними зелено-красными огоньками подъ именемъ „театра миніатюръ".

Кажется, это отношеніе нѣсколько измѣнилось, о кинематографѣ уже пробуютъ говорить серьезно. Но вотъ на-дняхъ мнѣ привелось случайно услышать цѣлый рядъ писателей и артистовъ, говорившихъ о кинемо-театрѣ, и я убѣдился, что по существу своему кинемо продолжаетъ оставаться все тѣмъ же страннымъ незнакомцемъ, развязнымъ и въ достаточной степени противнымъ для эстетически и умственно воспитанныхъ людей. Художественный апашъ, эстетическій хулиганъ, холостой и грабительскій приводъ на колесо истиннаго искусства—вотъ какъ опредѣлялось отношеніе большинства говорившихъ къ чудесному гостю. Ставились и такіе вопросы: прилично ли уважающему себя актеру выступать въ кинемо? Слышались и такіе патетическіе возгласы: какъ ни воспѣвайте вашъ кинемо, онъ никогда не убьетъ театра, какъ цвѣтной фотографіи никогда не убить живописи!**)

И никто даже изъ говорившихъ въ защиту кинемо-театра не указалъ, на то весьма возможное обстоятельство, что именно ему, кинематографу, нынѣ эстетическому апашу и хулигану, суждено о с в о б о д и т ь театръ отъ великаго груза ненужностей, привходящаго и чуждаго, подъ тяжестью котораго сгибается и гибнетъ современная сцена, хирѣютъ драматурги, вырождается и слабѣетъ мощное слово.

**) Только годъ прошелъ, какъ появились эти мои строки, а уже какою исторической затхлостью отдаютъ они! Такъ стремительно свершаетъ свою исторію блистательный Кинемо. Л. А.

II.

Нужно ли театру дѣйствіе въ его узаконенной формѣ поступковъ и движенія по сценѣ,—формѣ, не только принятой всѣми театрами но и исповѣдуемой, какъ единственно необходимая и спасительная?

На этотъ еретическій вопросъ я позволю себѣ отвѣтить: нѣтъ. Въ такомъ дѣйствіи нѣтъ необходимости постольку, поскольку сама жизнь, въ ея наиболѣе драматическихъ и трагическихъ коллизіяхъ, все дальше отходитъ отъ внѣшняго дѣйства, все больше уходитъ въ глубину души, въ тишину и внѣшнюю неподвижность интеллектуальныхъ переживаній,

Какъ-то, перечитывая мемуары Бенвенуто Челлини, я поразился огромнымъ количествомъ событій въ этой жизни средневѣкового художника авантюриста: сколько бѣгствъ, убійствъ, неожиданностей, потерь и находокъ, любвей и дружбъ. Поистинѣ средній нашъ современникъ за всю жизнь не отмѣтитъ столько событій, сколько встрѣчалъ ихъ Челлини за короткую дорогу отъ дома до заставы! Но таковъ былъ не одинъ Челлини, а и всѣ тогдашніе, а и вся тогдашняя жизнь съ ея разбойниками, герцогами, монахами, шпагами, мандолинами. И только тотъ былъ въ ту пору интересенъ и богатъ переживаніями, кто двигался и поступалъ, а сидѣвшій на мѣстѣ былъ лишенъ переживаній, самой жизни,—сидѣвшій на мѣстѣ былъ подобенъ камню при дорогѣ, о которомъ нечего сказать.

Но перешагните нѣсколько столѣтій, и вотъ передъ вами жизнь... ну хотя бы Ницше, самаго трагическаго героя современности. Гдѣ въ его жизни событія и движеніе и поступки? Ихъ нѣтъ. Въ пору молодости, когда Ницше еще двигался и что-то дѣлалъ въ формѣ прусскаго солдата, онъ былъ наименѣе драматиченъ: драма начинается какъ-разъ съ того момента, когда въ жизни воцаряются бездѣйствіе и тишина кабинета. Тутъ и мучительная переоцѣнка всѣхъ цѣнностей, и трагическая борьба, и разрывъ съ Вагнеромъ, и обольстительный Заратустра. А что же сцена?

А сцена безсильна и нѣма. Покорная непреложному

закону дѣйствія, она отказывается и не можетъ дать столь намъ близкаго и важнаго и необходимаго Ницше, но зато предлагаетъ въ огромномъ количествѣ уже ненужнаго, пережитаго, пустого Челлини съ его бутафорскими шпагами. Жизнь ушла внутрь, а сцена осталась за порогомъ. Поймите это,—и вы поймете, почему за послѣднія десятки лѣтъ ни одна драма не достигла высоты современнаго романа и не сравнялась съ нимъ; почему Достоевскій не написалъ ни одной драмы; почему Толстой, столь глубокій въ романѣ, въ драмѣ своей примитивенъ; почему хитрецъ Меттерних мысли свои одѣлъ въ штаны, а сомнѣнія заставилъ бѣгать по сценѣ. Прослѣдите до конца мою мысль, и вы поймете, почему такъ очаровательно-сцениченъ (и такъ уже не нуженъ) Островскій, имѣвшій опору въ бытѣ, и почему такъ нуженъ и такъ «несцениченъ» Чеховъ.

Я не говорю, что событія прекратились — никто не дѣйствуетъ исторія прекратила свое теченіе. Нѣтъ: дневникъ происшествій еще достаточно полонъ, достаточно еще убійствъ и самоубійствъ, сложныхъ обмановъ, искусныхъ дѣйственныхъ комбинацій, живой и дѣйственной борьбы съ оружіемъ въ рукахъ, но... драматическая цѣнность всего этого понизилась. Жизнь стала психологичнѣе, если можно такъ выразиться, въ рядъ съ первичными страстями и «вѣчными» героями драмы: любовью и голодомъ, всталъ новый герой: интеллектъ. Не голодъ, не любовь, не честолюбіе: мысль, человѣческая мысль, въ ея страданіяхъ, радостяхъ и борьбѣ, вотъ кто истинный герой современной жизни, а стало быть, вотъ кому и первенство въ драмѣ. Даже плохіе драматурги, плохая публика современности начали понимать, что внѣшнее оказательство борьбы, сколько бы ни проливать крови на сценѣ, есть наименѣе въ борьбѣ драматическое. Не тотъ моментъ драматиченъ, когда рабочій идетъ на улицу, а тотъ, когда его слуха впервые касаются глаголы новой жизни, когда его еще робкая, безсильная и шертная мысль вдругъ вздымается на дыбы, какъ разъяренный конь, единымъ скачкомъ уноситъ всадника въ свѣтозарную страну чудесъ. Не тотъ моментъ драматиченъ, когда по требованію фабриканта уже прибыли солдаты и готовятъ

ружья, а тотъ, когда въ тиши ночныхъ безсонныхъ размышленій фабрикантъ борется съ двумя правдами и ни одной изъ нихъ не можетъ принять ни совѣстью, ни издерганнымъ умомъ своимъ. То же и въ современной любви, — даже въ ней, и во всякомъ глубокомъ проявленіи жизни —отъ внѣшняго выраженія въ поступкахъ дѣйствіе ушло въ глубину и кажущуюся неподвижность переживаній.

Интересная подробность. Когда-то для одинокихъ и наиболѣе важныхъ мыслей и чувствъ героя существовалъ монологъ, но нынѣшняя реалистическая драма уничтожила и эту послѣднюю, довольно жалкую возможность уйти въ глубину: монологъ упраздненъ. Курьезно, къ какимъ хитростямъ и отводамъ глазъ прибѣгаютъ драматурги, чувствуя необходимость хотя бы въ коротенькомъ монологѣ, но не смѣя открыто обратиться къ нему: хоть съ глухимъ старикомъ, хоть съ печкой, хоть съ перчаткой, но только не одинъ разговаривай на сценѣ —неестественно, не похоже на жизнь. А это похоже на жизнь: совершать, не останавливаясь, поступки, болтать непрерывно, какъ развеселившемуся попугаю, и ни разу глубоко, больше чѣмъ на двадцать секундъ, не задуматься!

Переписываютъ по образцамъ мастеровъ все одинъ и тотъ же старый портретъ жизни, не замѣчая, что сходство давно уже утрачено, что не живое лицо они пишутъ, а только копируютъ старую картину.

III.

И ушелъ геній изъ драмы—его ли могучему размаху вмѣститься въ эту унылую тѣсноту сцены! А когда и вздумаетъ расправить крылья пошире, то всегда роковымъ образомъ оказывается: наиболѣе глубокое и вдохновенное есть наименѣе сценическое.

Но не только генію: уже и среднему таланту становится тѣсна современная сцена, и ему приходится садиться на корточки и лепетать по-ребячьи, чтобы вышло сценично. Ибо на-ряду съ неизбѣжнымъ дѣйствіемъ, современный театръ желаетъ давать и зрѣлище. И на вопросъ: долженъ ли

современный театръ давать зрѣлище?—я также рѣшительно позволю себѣ отвѣтить: нѣтъ.

Отвѣтъ только послѣдовательный. Поскольку дѣйствіе зримо и есть зрѣлище, постольку вмѣстѣ и должны они покинуть сцену, оставивъ мѣсто незримой душѣ человѣческой, ея величайшему богатству, невидимому плотскими и ограниченными глазами. И здѣсь нарядно одѣтый бродяга Бенвенуто Челлини со всей роскошью и пестротой окружающаго уступаетъ мѣсто черному сюртуку Ницше, неподвижности глухихъ и однообразныхъ комнатъ, тишинѣ и мраку спальни и кабинета. Нынѣ усердно бродитъ по свѣту только комми-вояжеръ, а Л. Толстой съ его міровой драмой по четверти столѣтія сидитъ неподвижно. И разъ даже пророковъ и героевъ нашихъ стали побивать не камнями, а листомъ писанной или печатной бумаги: то гдѣ ужъ тутъ мѣсто для зрѣлища! Конечно, и тутъ хитрецъ Метгерлинкъ все изыскиваетъ способы, желая сказать: «жизнь» пишетъ «море», и тѣмъ ставитъ въ невозможное положеніе театръ — написать живописцу для сцены настоящее —море, море и получится... А всѣмъ извѣстно, что это—не море, а жизнь. Написать скверно море—получится просто плохое море, а жизни все не получается, все не выходитъ!

И къ какимъ только обманамъ не прибѣгаетъ талантливый драматургъ, тѣснимый современной сценой! Тутъ и бѣсовская арматура Гауптмана въ его «Потонувшемъ колоколѣ», и скромная и совсѣмъ ненужная «Иматра» Найденова и вѣчный нашъ самоваръ—все же хоть и самоваръ, а тоже зрѣлище на худой конецъ. Онъ же впрочемъ и дѣйстіе, самоваръ: пока принесутъ, пока нальютъ, пока унесутъ—зритель и развлекся, посвѣжѣлъ.

Значило бы ломиться въ открытыя двери—доказывать, насколько современный театръ и публика преданы зрѣлищу, какъ на жертвенникѣ у этого идола своего закланаютъ они сплошь и рядомъ самый смыслъ произведенія, жертвуютъ его душей для ненужнаго тѣла. Смѣшно сказать, чтобы дать мѣсто танцамъ или предоставить актеру возможность сдѣлать нѣсколько лишнихъ шаговъ по сценѣ —производятъ к у п ю р ы, т.-е. мягко и нѣжно отрѣзаютъ автору языкъ, полагая, что,

обрубка вполнѣ достаточно для впечатлѣнія. Вдумайтесь въ это,—и вы поймете, откуда этотъ длинный рядъ неудачъ, который сопровождаетъ наши самыя цѣнныя и интересныя постановки,—почему худшія произведенія имѣютъ успѣхъ, а лучшія проваливаются или даже совсѣмъ не попадаютъ на сцену; почему снова и снова хирѣютъ драматурги; почему только нѣмой не вопитъ объ оскудѣніи драматической литературы.

IV.

Оскудѣніе драматической литературы... Вы знаете, конечно, что между символистами и «здоровымъ» реализмомъ идетъ отчаянная борьба за сцену; вы знаете, конечно, что сейчасъ, въ моментъ, печальнѣйшій для литературы вообще, у насъ побѣдилъ «здоровый» реализмъ. Но удалось ли вамъ замѣтить, что эта побѣда почему-то совпадаетъ какъ-разъ съ оскудѣніемъ драматической литературы и паденіемъ театра? Какъ щедринскій баринъ, по недоразумѣнію возненавидѣвшій и для ради чистаго воздуха истребившій мужиковъ, а вслѣдъ затѣмъ впавшій въ безвыходное состояніе голода и тоски,—публика и театръ съ восторгомъ истребили символизмъ на сценѣ, и вдругъ... тоска, голодъ... гдѣ же драма? Ахъ, какъ хорошо дышится въ чистомъ воздухѣ реалистической драмы... Но гдѣ же драма? Куда ушли драматурги? Мнѣ голодно, наконецъ, и очень скучно! . . . . . .

Но что же такое нашъ покойный символизмъ, со смертью котораго воздухъ такъ очистился, а ѣсть стало нечего?

Имя ему—компромиссъ. Лишь въ немногихъ случаяхъ сценическій символизмъ диктовался непреложными законами индивидуальнаго творчества, а большею частью онъ являлся только средствомъ проникнуть на сцену живой мысли, игралъ роль еврея-контрабандиста, который подъ видомъ барана проводитъ черезъ границу брюссельскія кружева. Ограниченный требованіями «дѣйствія и зрѣлища», драматургъ не могъ воплотить на сценѣ всѣхъ образовъ современной души, души утонченной и сложной, пронизанной-свѣтомъ мысли, творящей цѣнности новыхъ переживаній, отыскавшей невѣдомые древнимъ источники новаго и глубо-

чайшаго трагизма. Не могъ воплотить, ибо не имѣютъ плоти новыя переживанія души и вотъ длинной вереницей потянулись на сцену контрабандисты съ тяжелымъ кладомъ недозволеннаго: стилизованныя фигуры, босоножки, загадочныя персоны безъ имени, отчества, гальванизированные (но не воскрешенные) Пьеро и Арлекины, парочные слѣпые, парочные глухіе и нѣмые, парочные черти, гномы, фен и лягушки. Слѣпые натыкались на декораціи, черти проваливались, Арлекинъ стоналъ, какъ живой, босоножки замогильно танцовали, кто-то очень толстый безуспѣшно старался превратиться въ тѣнь... И весь этотъ наивный маскарадъ значилъ только одно: мысль задыхается на вашей сценѣ! душа умираетъ на вашихъ подмосткахъ!

Какъ всякій компромиссъ, этотъ парочитый, двойственный, контрабандный символизмъ не удовлетворилъ ни одной изъ сторонъ и долженъ былъ погибнуть. И автора, и публику раздавила грузная, совершенно плотская, всѣхъ трехъ измѣреній, фигура актера дѣйствующаго и бритаго. Ломали его, какъ гуттаперчиваго мальчика, ставили въ позы, которыя встрѣтишь только въ геометріи, поили уксусомъ и желчью, чтобы отбить у него способность говорить живымъ голосомъ, а не такъ, какъ говорятъ вообще настоящіе покойники и призраки: актеръ покорно принялъ новое ярмо, но при всемъ желаніи своемъ ни въ паръ, ни въ воздухъ, ни въ настоящую лягушку превратиться не могъ. И почувствовала публика фальшь и со свистомъ ушла, и почувствовалъ авторъ, что обходомъ законовъ твердыню современнаго театра не возьмешь: либо разрушить Бастилію, либо погибнуть въ Бастиліи!

На нѣкоторое время театръ обогатился духовно, сталъ внутренно значителенъ и даже важенъ, но внѣшне пріобрѣлъ такой видъ явной нелѣпости, такъ развинтился и заскрипѣлъ, что дальнѣйшее существованіе его въ этой компромиссной формѣ стало невозможно. И съ елейно-злой улыбкой пришла старая салопница — реалистическая драма, вправила кости актеру, подвинтила винты и гайки, покурила Островскимъ для изгнанія нечистаго меттерлиниковскаго духа, — и наступило оскудѣніе драматической литературы, своеобразнѣйшій нашъ Ренессансъ.

V.

Гибнетъ не только театръ, — гибнетъ и публика. Кто изъ нихъ кого тянетъ въ яму: театръ публику или наоборотъ, — трудно сказать, да и неважно въ данномъ случаѣ. Пусть это будетъ взаимодѣйствіе.

Важно то, что современный «зритель» (такъ онъ называется) хотя и посѣщаетъ настойчиво театръ, но уже до смѣшного отвыкъ отъ него и совершенно безсиленъ справиться и управлять впечатлѣніями, идущими со сцены. Не имѣя возможности остановиться на его крайне интересной психологіи, заслуживающей самостоятельнаго разсмотрѣнія, я отмѣчу только нѣкоторыя стороны.

Никогда еще къ театру не предъявлялось столько требованій, никогда еще онъ не нуждался удовлетворять столько потребностей, какъ теперь. Вотъ я дама и хочу знать какъ одѣваются: иду въ театръ учиться у актрисы и другихъ дамъ. Вотъ я отяжелѣлъ мыслью, а думать хочется, — иду въ театръ. Вотъ на плоскости моей жизни не родится ни одно живое волненіе — иду въ театръ. Вотъ глазъ мой утомился безкрасочностью нашихъ комнатъ, однообразіемъ и скукою улицъ; мнѣ бы ѣхать путешествовать, насытить глазъ зрѣлищемъ неба, моря, чуждыхъ и вѣчныхъ красотъ, но мнѣ некогда ѣхать, у меня нѣтъ денегъ,—и я иду безсознательно въ театръ: дай красокъ и радости моему взору. Хочу ли смѣха или тоски, хочу ли волненій или покоя,—за всѣмъ иду въ театръ, всего требую отъ театра, за все проклинаю театръ!

И отсюда: что за нелѣпость нашъ обычный зрительный залъ въ его нелѣпо и дико смѣшанномъ составѣ! И сколько разнообразнѣйшихъ и противорѣчивыхъ токовъ идетъ изъ зала на сцену, сбиваетъ и мучаетъ актеровъ! Только началъ прислушиваться умный—зазѣвало и засморкалось двадцать дураковъ. Дураки довольны— умный начинаетъ корчиться отъ невыносимой тоски... ибо нѣтъ большей тоски для умнаго, какъ радость глупцовъ. Много драмы обижены искавшіе покоя и «развлеченія», мало драмы обижены жаждущіе волненія.

Одинъ умѣетъ и любитъ слушать, другого красноточника и болтуна угнетаетъ всякая связная рѣчь; одинъ все понялъ и жалуется: мало, нѣтъ пищи для ума; другой ровно ничего не понялъ и тоже жалуется, ерунда!

Правда, всѣ театры вольно, а большей частью невольно, стремятся къ подбору «своей публики», къ созданію нѣкоторой равноцѣнной, стойкой и дружной аудиторіи, но тутъ-то и сказывается съ особой силой несостоятельность современной серьезной драмы. Ибо чѣмъ ниже театръ въ смыслѣ художественномъ и идейномъ, чѣмъ больше ему «наплевать»—тѣмъ вѣрнѣе и надежнѣе подборъ, и наоборотъ. Въ полномъ значеніи слова «своя публика» у шантана и оперетки «своя публика» въ Суворинскомъ ужасномъ театрѣ, своя еще у Корша, но дальше начинаются колебанія и пестрота. Если есть десятки зрителей, изъ которыхъ одни предпочитаютъ ходить въ Художественный, а другіе въ Малый, то на-ряду существуютъ тысячи и десятки тысячъ одинаково посѣщающихъ два, три, четыре театра, съ одинаковымъ интересомъ отправляющихся смотрѣть и «Драму жизни» Гамсуна, и... имена ненавистны.

И чѣмъ болѣе страстны, чѣмъ болѣе мучительны искания театра,—а теперь всякій серьезный театръ вынужденъ искать,—тѣмъ менѣе у него надеждъ на свою публику и на прочный успѣхъ. Разныя по духу и строенію пьесы борются одна съ другой, обезсиливая актера, бросая его отъ крайностей реализма къ крайностямъ символическимъ, то награждая его плотью и кровью, то отнимая у него даже тѣнь, какъ у несчастнаго Шлемиля. Расшатывая актера, эти разныя пьесы колеблютъ и зрителя, превращающагося передъ каждой новой постановкой въ вопросительный знакъ—гдѣ тутъ подобраться своей публикѣ, стройной и спѣвшейся аудиторіи, когда самъ театръ внутри себя раздирается на части!

Создаютъ еще подборъ нѣкоторые авторы и нѣкоторыя отдѣльныя пьесы, но и здѣсь мало утѣшительнаго для театра: вглядитесь въ пьесы, идущія по сотнѣ и по двѣ разъ и вы убѣдитесь, что это—отнюдь не сильнѣйшія произведенія, а лишь болѣе доступныя,—слѣдовательно, наиболѣе

примитивныя, несложныя, неумныя и пустыя. Очень часто онѣ имѣютъ видъ и вкусъ совсѣмъ «хорошихъ» пьесъ, но это — невольный самообманъ: спѣвшіеся и увѣренные въ успѣхѣ актеры, подобравшіеся, сочувствующіе: благорасположенные зрители (ибо они знаютъ, на что идутъ) создаютъ въ театрѣ ту особенную атмосферу, въ которой недостатки не замѣчаются, а маленькія достоинства вырастаютъ, и вообще все цвѣтетъ.

Маленькій подборъ творитъ и всякая пьеса, прожившая десятокъ представленій; но зато какой ужасъ, какая нелѣпость, какое безпощадное осужденіе всей системы теперешняго театра—первыя представленія! Идутъ въ театръ немногіе сознательно, а большинство—какъ стадо: такъ нужно. Но и тѣ, кто идетъ нарочно, совершенно не знаетъ и не представляетъ, что его ждетъ: вообще обѣщали удивить какой-то неожиданностью (такой-то пишетъ декораціи—зрѣлище; такой-то сочинилъ музыку, такой-то режиссируетъ... и все такой-то, такой-то), а будетъ ли это удовольствіе или мука—никому неизвѣстно. А театры еще нарочно сгущаютъ тайну... не понимая, что чѣмъ гуще тайна, тѣмъ больше прійдетъ къ нимъ ненужнаго и вреднаго народа.

А сколько серьезныхъ людей совсѣмъ перестало ходить въ театръ?

VI.

Теперь представьте кинематографъ—не теперешній съ его мертвецкими, фотографически черными фигурами, плоско дергающимися на плоской бѣлой стѣнѣ, а тотъ, что будетъ... скоро. Могущественная техника уничтожила дрожаніе, увеличивъ чувствительность пленокъ, дала предметамъ ихъ естественную окраску и возстановила подлинную перспективность. Что это будетъ? Это будетъ зеркало во всю пятисаженную стѣну, но зеркало, въ которомъ будете отражаться не вы. Что это—техника? Нѣтъ, ибо зеркало—не техника: зеркало есть вторая отраженная жизнь. Это будетъ мертво? Нѣтъ, ибо не мертво и не живо то, что отражается въ зеркалѣ: это—вторая жизнь, загадочное бытіе, подобное бытію призрака или галлюцинаціи.

Вотъ открывается занавѣсъ—и какъ бы падаетъ четвертая стѣна, въ пятисаженномъ пролетѣ, какъ въ колоссальномъ окнѣ, встаютъ живыя картины міра. Идутъ облака по голубому небу, колышется рожь и знойная даль маячитъ. Можете видѣть все и всѣхъ, что и кого хотите—Эндорская волшебница продаетъ свои чудеса по метрамъ. Хотите видѣть себя—ребенкомъ,—юношею,—пройти всю жизнь? Хотите видѣть тѣхъ, кто умеръ,—вотъ они входятъ покорно, смотрятъ, улыбаются, и съ вами—съ вами же, вошедшимъ въ ту же дверь—садятся за столъ.

Но о томъ, какой переворотъ въ психологіи, въ самыхъ основахъ мышленія произведетъ будущій кинемо,—я здѣсь говорить не стану. Вернемся къ театру. Представьте теперь, что передъ этимъ зеркаломъ прошло какое-нибудь сценическое, нарочитое представленіе, что зеркало было поставлено передъ сценой какого-нибудь знаменитаго и большого театра съ знаменитыми актерами—вѣдь оно такъ полностью все и возвратитъ, все повторитъ, все дастъ и будетъ давать безконечно. Все возвратитъ,—кромѣ слова. И не будетъ ни «техники», ни мертвыхъ фигуръ—будетъ вторая, отраженная, загадочная жизнь.

И вотъ когда кинемо станетъ такимъ чародѣемъ—онъ спокойно отберетъ у театра его дѣйствіе и его «зрѣлище». Ни о какомъ сопротивленіи не можетъ быть и рѣчи. Если театръ захочетъ бороться руками живописца, создастъ какія-нибудь особенныя чудеснѣйшія декораціи—кинемо уворуетъ декораціи полностью; но зато, кромѣ декорацій, онъ сможетъ дать и подлинное, чего театръ дать не въ силахъ. Что же касается дѣйствія, то въ этомъ отношеніи преимущества кинемо, владѣющаго всѣмъ пространствомъ міра, способнаго къ мгновеннымъ перевоплощеніямъ, властелина, могущаго въ любой моментъ привлечь къ своему дѣйствію тысячи людей, автомобили, аэропланы, горы и моря безспорны и очевидны. Гдѣ бы дѣйствіе не происходило, въ какія необычныя и всякія формы оно бы не облекалось—вездѣ настигнетъ его кинемо и захватитъ на свой волшебный экранъ.

Больше того: какъ ни стремился театръ къ дѣйствію—ограниченный, онъ могъ давать его только въ самыхъ ogra-

пученныхъ видахъ, какъ ни стремился къ движенію — могъ давать его только въ предѣлахъ тѣхъ десяти саженей, что отводятся подъ сцену. А такъ какъ, кромѣ театра, другого учителя дѣйствія у насъ нѣтъ и не было, то мы и не знаемъ цѣлой области дѣйствій,—связанныхъ, напримѣръ, съ личнымъ участіемъ въ какой-нибудь отчаянной экспедиціи. Описаніемъ такихъ дѣйствій полны нѣкоторые романы (хотя бы Д. Лондона), но мы ихъ не видѣли, и мы ихъ не знаемъ. И кинематографу суждено будетъ открыть эту новую область, расширить наше представленіе о дѣйствіи до новыхъ, непредвидѣнныхъ предѣловъ.

Фантазирую дальше. Нѣтъ предѣловъ для авторской воли, творящей дѣйствіе, обогатилось воображеніе—и вотъ нарождаются какіе-то новые кинемо-драматурги, еще невѣдомые таланты и геніи. Кинемо-Шекспиръ, отбросивъ стѣснительное слово, такъ углубитъ и расширитъ дѣйствіе, находитъ для него столь новыя и неожиданныя комбинаціи, что оно становится выразительно, какъ рѣчь, а въ то же время убѣдительно той несравненной убѣдительностью, какая присуща только видимому и осязаемому. Одновременно съ Кинемо-Шекспиромъ возникаетъ нѣсколько огромныхъ страшно богатыхъ театровъ, въ которыхъ подвизаются новые актеры—геніи внѣшней изобразительности, мимики и пластики, лицедѣи, научившіеся и вспомнившіе старое доисторическое искусство: все выразить лицемъ и движеніемъ. И на ряду съ этими Кинемо-Шекспирами, творцами новой кинемо-драмы и съ этими Кинемо-художественными театрами, геніальными исполнителями новой авторской воли—по всему міру, въ самыхъ глухихъ и потайныхъ уголкахъ его, разбросаны милліоны сценъ, генеральныхъ кинемо-сараевъ, требующихъ для своего оборудованія грошей денегъ и тѣхъ человѣкъ да чемоданъ съ пленками.

Чудесный Кинемо!.. Если высшая и святая цѣль искусства—создать общеніе между людьми и ихъ одинокими душами, то какую огромную, невообразимую, соціально-психологическую задачу суждено осуществить этому художественному гиганту современности! Что рядомъ съ нимъ воздухоплаваніе, телеграфъ и телефонъ, сама печать. Портативный,

укладывающійся въ коробочку -онъ по всему міру разсылается по почтѣ, какъ обыкновенная газета. Не имѣющій языка одинаково понятный дикарямъ Петербурга и дикарямъ Калькуты, -онъ воистину становится геніемъ интернаціональнаго общенія, сближаетъ концы земли и края душъ, включаетъ въ единый токъ вздрагивающее человѣчество.

Великій Кинемо! -все онъ одолѣетъ, все побѣдитъ, все дастъ. Только одного онъ не дастъ—слова, и тутъ конецъ его власти, предѣлъ его могуществу. Бѣдный, великій Кинемо-Шекспиръ!—ему суждено начать собою новый родъ Танталовъ!

VII.

Что же останется отъ современаго театра, у котораго будетъ отнято дѣйствіе и зрѣлище, самыя основы его существованія, безъ которыхъ кажется немыслимою никакая драматическая ткань? И не погибнетъ ли онъ совершенно не въ силахъ будучи преодолѣть новаго Кинемо-театра, ни себя самого въ лицѣ своихъ законовъ, недреме установленнаго канона?

Объ этомъ надѣюсь поговорить въ слѣдующемъ письмѣ. Настоящее же прошу позволенія закончить шуткой. Останется театръ или нѣтъ, это остается гадательнымъ, но что сохранится на вѣки нерушимо кафэ-шантанъ и театры съ разгѣваніемъ—это фактъ. Ибо никогда и никакой зритель въ подобномъ мѣстѣ не удовлетворится дамой, которая только на экранъ и не можетъ пойти съ нимъ поужинать.

10 ноября, 1912.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

I.

За то короткое, сравнительно, время, которое прошло съ напечатанія перваго моего письма, кинематографъ отчаянно скакнулъ впередъ. Вотъ быстрота! Онъ не идетъ привычной поступью, какъ другія изобрѣтенія — онъ несется; онъ плыветъ по воздуху, онъ расползается неудержимо, какъ чума: и никакіе художественные карантины уже не въ силахъ остановить его нашествіе.

Да, кажется, уже и пытаться перестали, сдались покорно на волю побѣдителя. Еще актеры не успѣли сносить башмаковъ, въ которыхъ яростно топали на авантюриста Кинемо — а уже служатъ ему и портретами своими украшаютъ его широковѣщательные рекламные плакаты. Игралъ для Кинемо маститый Варламовъ, играла Юренева и Рощина-Инсарова, Юрьевъ и многіе другіе изъ нашихъ извѣстныхъ артистовъ. Но еще разительнѣе перемѣна въ Германіи. Годъ тому назадъ тамъ чуть ли не митинги протеста устраивались противъ Кинемо, актеровъ, рѣшавшихся появляться на экранѣ — лишали воды и огня — а теперь мелькаетъ на томъ же экранѣ самъ А. Бассерманъ, знаменитые писатели сочиняютъ сценаріи (Гуго фонъ-Гофмансталь) и въ довершеніе чудесъ: Максъ Рейнгартъ, магъ, волшебникъ и величайшій въ Германіи авторитетъ по театральному дѣлу, самъ сочинилъ и поставилъ въ кинематографѣ пышную поэму изъ жизни боговъ и людей—«Островъ блаженства».

А что дѣлается съ публикой! Театръ только терпимъ — театръ полузаброшенъ, а всѣ ходятъ къ Кинемо. Въ томъ же Берлинѣ модой стали не премьеры въ театрѣ, а премьеры въ кинемо — это уже не шутка! Какъ ни пестра публика

премьеръ, все же она дѣластъ въ театрѣ погоду: и надъ театромъ все сильнѣе сгущаются тучи.

На дняхъ въ Петербургѣ демонстрировался эдиссоновскій «Кинетофонъ»—чудодѣйственное соединеніе картины и звука, и имѣлъ огромный успѣхъ. Я бы позволилъ себѣ переставить слога и назвать эту штуку: фонъ-Кинемо: кинемо дворянинъ, кинемо, уже забирающійся въ родовитую знать, въ область с л о в а. И многимъ, впервые увидѣвшимъ говорящаго и хохочущаго Кинемо, стало страшно: въ газетахъ зазвучали неподдѣльно тревожные голоса, предвѣщающіе гибель «театра». Я этого восторга передъ говорящимъ Кинемо не раздѣляю: слово—его слабость, а не сила, слово только собьетъ Кинемо съ его своеобразнаго художественнаго пути и направитъ на торную, изъѣзженную и исхоженную театральную дорогу; медлительное слово нарушитъ наконецъ тотъ несравненный стремительный ритмъ дѣйствія, который составляетъ главное очарованіе бѣшенаго Кинемо. Навязать ему слово—это почти тоже, что въ автомобиль запречь лошадь: и лошади не поздоровится, и автомобиль пропадетъ. Конечно, въ отдѣльныхъ случаяхъ Кинетофонъ окажетъ незамѣнимую услугу искусству и жизни, сохранивъ и запечатлѣвъ личность артиста или музыканта, какіе нибудь исключительные по важности моменты творчества художественнаго—но это будетъ только у с л у г а: подчинившись слову, Кинетофонъ можетъ стать только слугой, а отнюдь не господиномъ. И для общаго развитія Кинемо добавленіе с л о в а къ зрѣлищу и дѣйствію не только ничего не дастъ, но, повторяю, лишь отвлечетъ его въ сторону отъ истинныхъ его цѣлей.

Кесарево—Кесарю и Божіе—Богови. И задача настоящаго момента—отдѣлить Кинемо отъ театра, точно установить основные элементы творчества каждаго и тѣмъ самымъ каждаго поставить на его настоящій путь. Такъ вышло, что старый театръ и новый Кинемо смѣшались; царство ихъ едино: дѣйствіе, зрѣлища и игра, и молодой Кинемо съѣстъ своего отца и когда-нибудь возсядетъ на его тронъ. Но есть въ старомъ и нарождающемся театрѣ нѣчто, чего никогда не одолѣетъ кинемо и дѣло насъ, любящихъ театръ, выдѣлить, установить и укрѣпить это особенное, что можетъ

принадлежать только живому театру и что возродитъ его къ новой широкой жизни.

Для меня, какъ я понимаю, новый театръ будетъ исключительно театромъ панпсихизма. Что подъ этимъ разумѣется, я постараюсь вскрыть на примѣрѣ Художественнаго театра, прослѣдивъ подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія его исторію—его прошлое и его настоящее. Кстати же, благодаря письму Горькаго о постановкахъ Достоевскаго и послѣдующимъ объясненіямъ со стороны труппы и В. И. Немировича-Данченко, на этотъ театръ снова обращено усиленное вниманіе... не лишенное впрочемъ ехидства.

2.

Всѣмъ памятно, какъ шумно и необыкновенно вступилъ Художественный театръ въ русскую жизнь: ошеломилъ, ослѣпилъ, взволновалъ и сразу заставилъ всѣхъ кричать о какой то необыкновенной новизнѣ своей. Въ чемъ, однако заключалась «новизна» молодого театра, никто вполнѣ ясно объяснить не могъ, хотя объясненій было множество; да и до сихъ поръ—хотя прошло уже 15 лѣтъ и литературы о Художественномъ театрѣ накопились тонны—никто со всею твердостью не установилъ художественнаго базиса театра. Болѣе того: скажу съ нѣкоторой нескромностью, что и сами вдохновители театра, Станиславскій и Немировичъ-Данченко, творцы его силы и новизны, едва ли знаютъ совсѣмъ точно, чему они служатъ, въ чемъ именно ихъ сила и новизна. Многимъ это покажется плохо, но я думаю, что это хорошо: настоящій художникъ, какъ и грѣшникъ, никогда не долженъ вѣдать того, что творитъ, иначе онъ очень быстро превратится въ живой поэтическій механизмъ, чеканящій стихи, подобно Брюсову, на алтарь часто обманчивой и лживой теоріи возложитъ правду живого творчества. Тайной долженъ быть художникъ для себя, иначе онъ лишится искренности, а съ нею и всего. И если Художественный театръ и совершалъ ошибки отъ незнанія себя, то и это хорошо: ошибки необходимы, изъ нихъ родится истина, какъ колосъ изъ навоза; и за то былъ онъ искренъ, какъ ни одинъ другой театръ, создавшійся на почвѣ готовой теоріи, теоретическаго умни-

чанья—вспомнимъ печальный и ужасающе холодный театръ Мейерхольда.

Первой шумной постановкой театра, создавшаго ему славу «новаго», былъ «Царь Федоръ Іоанновичъ» А. Толстого. Здѣсь прежде всего любопытно, что ни піеса, ни авторъ ни въ малѣйшей степени не новы—откуда же новизна театра при старой піесѣ и старомъ авторѣ? Правда, тогда же нѣкоторые оспаривали эту новизну, ссылаясь на мейнингенцевъ; другіе, признавая новизну, тутъ же хладнокровно умерщвляли ее старымъ понятіемъ «натурализма», какой то исторической вѣрности какъ будто таковая существуетъ и кому то нужна! Но новое чувствовалось несомнѣнно и видѣлось оно главнымъ образомъ (на это я позволю себѣ обратить особенное вниманіе) не въ какой нибудь отличной игрѣ актеровъ, а въ боярскихъ платьяхъ, теремахъ, неуловимой мелочи обихода; и опять таки, не историческая точность привлекала не Иловайскій же ей научилъ!—и не какая нибудь чрезвычайная роскошь, а то, что кафтаны то помяты, что боярскія платья (можетъ быть, и фантастическія) носились актерами такъ, будто никогда иной одежды они и не знали. И даже разсказывалось съ большимъ чувствомъ, что и дома актеры разгуливаютъ въ охабняхъ, а актрисы въ кокошникахъ: и кое-кто смѣялся, а больше умилялись, такъ какъ были еще влюблены въ театръ.

Сразу с[illegible] «Федора Іоанновича» скакну на чеховскія постановки: моменть, какъ утверждали и утверждаютъ, наивысшаго подъема театра, откуда, какъ съ горки ему дорога только внизъ. Здѣсь, съ появленіемъ Чехова, появилась и новая драма и новый авторъ и даже новое въ примѣненіи къ театру слово: настроніе. И этимъ новымъ словомъ, какъ отмычкой начали ломать все: и Чехова и всѣ другія піесы — отмычка тѣмъ удобна противъ ключа, что ключъ на каждый замокъ отдѣльный, а отмычка на всѣ замки одна. И уже казалось, что всѣ теперь разгадали загадку новизны театра: она «въ настроніи», Художественный театръ, это—«театръ настроенія». Повидимому театръ и самъ нѣсколько поддался общему голосу, и врученной ему отмычкой попытался вскрыть нѣсколько совсѣмъ неподходящихъ піесъ: получилась неудача,

чес овщина въ горьковщинѣ, и окрѣпло убѣжденіе, что со смертію Чехова театру нечего дѣлать на Божьемъ свѣтѣ. Но опять таки: ч т о особенно привлекало въ постановкахъ чеховскихъ піесъ, давало чувство н о в а г о, еще не бывшаго на сценѣ, удивительнаго?

И тотъ же странный отвѣтъ, что и относительно «Федора Іоанновича» привлекала не столько игра актеровъ, хотя она была великолѣпна, сколько декораціи, обстановка жилыхъ комнатъ, обручальныя кольца на пальцахъ и все тоже удивительное платье, теперь военное, которое актеры носили такъ, какъ будто иного и не знали. И снова съ чувствомъ разсказывалось, что Станиславскій и дома ходитъ въ военномъ сюртукѣ съ погонами, и снова посмѣивались и умилялись. Но даже и платье уступило передъ поразительной новизной сверчка — и хотя надъ сверчкомъ больше смѣялись, но крайней мѣрѣ вслухъ, но за то пожалуй и умилялись больше въ глубинѣ сердецъ: сверчокъ былъ дѣйствительно необыкновенецъ! Правда и здѣсь появились хладнокровные убійцы съ своимъ обухомъ «натурализмомъ», но имъ не особенно повѣрили, больше отдавали предпочтенія всеобъемлющему настроенію: и сверчокъ — настроеніе, и кольца нужны для настроенія, и вообще—«театръ настроеній».

Но уже и то было хорошо, что хоть слово для н о в а г о театра было новое. Но было бы еще лучше и стало бы совсѣмъ правдой, если бы вмѣсто расплывчатаго понятія «настроенія» употребили другой болѣе точный и тѣсный терминъ: п а н п с и х и з м ъ. Тогда понятнѣй стало бы, въ чемъ с и л а художественнаго театра; тогда и теперешнія постановки Достоевскаго не явились бы такой неожиданностью и матеріаломъ для нелѣпаго протеста.

3.

Какъ я уже говорилъ въ первомъ письмѣ, наша жизнь съ каждымъ днемъ становится все п с и х о л о г и ч н ѣ е. Когда почти вѣкъ назадъ въ литературѣ появился новый психологическій романъ А. Бейля, онъ только отмѣтилъ существующее, въ одномъ фокусѣ сконцентрировалъ особенность новаго возраста жизни — у жизни вѣдь есть свои

возрасты. И хотя въ чистомъ видѣ «психологическій» романъ не нашелъ себѣ большаго числа послѣдователей и подражателей, но несомнѣнно, что всю литературу онъ поставилъ подъ знамя психологіи, умалилъ иногда до крайней уже степени самое фабулу, дѣйствіе, приключеніе. Имѣя возможность только вскользь коснуться этой темы, я не могу не указать, что въ русской литературѣ, и вообще-то склонной къ душевному, это незримое знамя психологичности, почти сотню лѣтъ вѣющее надъ головами, привело къ жестокой скудости содержанія, временами почти къ сосанію пальца—занятію унылому и однообразному. Достаточнымъ стало для разсказа написать про нѣкоего весьма обыкновеннаго человѣка, который только и сдѣлалъ, что прошелъ по обыкновенной улицѣ, думая самыя обыкновенныя вещи про обыкновенныя вывѣски—и это уже разсказъ. Забыли или не поняли, что не всякая психе интересна и важна и что психологами, какъ и ювелирами, дѣлаются только на золотѣ. Мастера же психологичности (или какъ я назвалъ: панпсихизма) Достоевскій, Толстой, Чеховъ окончательно сбили съ толку: тотъ адвокатъ, кажется въ «Аннѣ Карениной», который убиваетъ моль во время серьезнаго разговора, послужилъ родоначальникомъ тьмѣ унылыхъ разсказовъ, вся соль которыхъ въ томъ, что кто то во время разговора... и т. д.

Возвращаюсь къ Чехову и Художественному театру.

Особенность Чехова въ томъ, что онъ былъ наиболѣе послѣдовательнымъ панпсихологомъ. Если часто у Толстого одушевлено голько тѣло человѣка, если Достоевскій исключительно преданъ самой душѣ, то Чеховъ одушевлялъ все, чего касался глазомъ: его пейзажъ не менѣе психологиченъ, чѣмъ люди; его люди не болѣе психологичны, чѣмъ облака, камни, стулья, стаканы и квартиры. Всѣ предметы міра видимаго и невидимаго входятъ лишь какъ части одной большой души; и если его разсказы есть лишь главы одного огромнаго романа, то его вещи есть лишь разсѣянныя по пространству мысли и ощущенія, единая душа въ дѣйствіи и зрѣлищѣ. Пейзажемъ онъ пишетъ жизнь своего героя, облаками разсказываетъ его прошлое, дождемъ

изображаетъ его слезы—квартирой доказываетъ, что безсмертія души не существуетъ. Таковъ Чеховъ въ беллетристикѣ—но таковъ же онъ и въ драмѣ своей.

И играть на сценѣ Чехова должны не только люди—его должны играть и стаканы, и стулья, и сверчки, и военные сюртуки и обручальные кольца. Вдругъ Чеховъ въ «Вишневомъ саду» вводитъ какой-то загадочный звукъ «упавшей бадьи», звукъ, котораго и воспроизвести нельзя—но онъ необходимъ, онъ есть необходимая часть души героевъ драмы, безъ него они не тѣ, безъ него и Чехова нѣтъ. И отсюда такъ понятно, почему всѣ театры, гдѣ играютъ только люди, а вещи не играютъ, до сихъ поръ не могутъ дать Чехова, не любятъ и не понимаютъ его. (Въ провинціи онъ почти совсѣмъ не идетъ). И отсюда становится не только то понятнымъ, почему Художественный театръ можетъ играть Чехова, но и то, въ чемъ сила и новизна и особенность Художественнаго театра: въ немъ играютъ не только люди, но и вещи. Онъ—театръ психологическій. Больше того—онъ театръ того панпсихизма, чистымъ представителемъ котораго въ литературѣ былъ Антонъ Чеховъ

И теперь, вернувшись къ самому началу Худож. театра и моей статьи, мы поймемъ, ч т о было привлекательнаго и трогательно новаго въ боярскихъ охабняхъ и ферязяхъ «Федора Іоанновича», — это ихъ психологичность. Не точность и не вѣрность эпохѣ, которой точно мы сами не знаемъ, а живая одушевленность, а стало быть и соотвѣтствіе глубочайшей правдѣ жизни. И въ квартиркѣ [сестеръ Прозоровыхъ, и въ кабинетѣ Иванова, и въ томъ огурцѣ, который съ такой болью и обидой уноситъ, не доѣвъ, Шабельскій-Станиславскій, и въ сверчкѣ и въ кольцахъ и въ военныхъ сюртукахъ, носимыхъ дома актерами -во всемъ одно: психе. Вещи не есть вещи, а разсѣянныя мысли и ощущенія единой души.

Но не голько вещи, а и самое в р е м я Чеховъ, а съ нимъ и театръ, сдѣлалъ не какъ часовщикъ, а какъ психологъ: время есть только мысль и ощущеніе героевъ. И тамъ, гдѣ нѣтъ чудесныхъ паузъ—мыслей, паузъ—ощущеній, гдѣ играютъ только талантливые люди, а время еще не научи-

тось играть тамъ нѣтъ Чехова и не будетъ. Вспомните, какъ плакали нѣмцы, не знающіе русскаго языка, когда съ ними со сцены Художественнаго театра заговорило своимъ интернаціональнымъ языкомъ паузъ одушевленное время чеховскихъ пьесъ! И уже одно то, что неуловимое время театръ такъ сумѣлъ подчинить своей великой художественной власти, дѣлаетъ театръ на вѣки славнымъ и безсмертнымъ!

Одушевленное время, одушевленныя вещи, одушевленные люди —вотъ въ чемъ тайна очарованія чеховскихъ пьесъ, доселе не сходящихъ съ репертуара Художественнаго театра. Играетъ ли прислуга на балалайкѣ у воротъ, принося на сцену слышимый, почти угадываемый звукъ «Чижика», (Иванова), заливается ли сверчокъ, какъ въ «Дядѣ Ванѣ», лаютъ ли собаки, какъ въ «Вишневомъ саду», бубенцы ли звенятъ, приносится ли крикъ съ пожара, проходитъ ли со свѣчей по темнымъ комнатамъ Наташа, бѣгаетъ ли Епиходовъ яблоко— все сводится къ одному: къ настроенію, все представляетъ собою не вещи дѣйствительности и не реальные звуки и голоса ея, а разсѣянныя въ пространствѣ мысли и ощущенія героевъ. Какъ любопытно, напр., что въ концѣ «Трехъ сестеръ» всѣ герои драмы мыслятъ и чувствуютъ тѣмъ военнымъ маршемъ, который какъ бы случайно, играютъ на улицѣ проходящіе солдаты; и разладъ ихней души выражается опять-таки не словами непосредственными и голыми, а тоже случайной, по видимости, фигурой дѣвушки съ арфой, ея нелѣпой и неумѣстной пѣсенкой: любила я, страдала я.

Обратите вниманіе на діалогъ чеховскихъ пьесъ: онъ неправдоподобенъ, такъ въ жизни не говорятъ; онъ полонъ недоговоренности, онъ всегда есть точно продолженіе чего то уже сказаннаго, въ немъ нѣтъ того яснаго начала, съ какимъ вступаетъ въ пьесу всякій говорящій у другихъ авторовъ: герои Чехова никогда не начинаютъ и не кончаютъ своей рѣчи, они всегда только продолжаютъ ее. И отъ этого въ чтеніи чеховскія пьесы трудны, мало интересны и даже мало жизненны: и въ этомъ отношеніи былъ правъ Толстой, осудивъ безпощадно прочитанную пьесу Чехова,

даже кажется, не дочитавъ ее отъ скуки. Но былъ онъ неправъ въ томъ отношеніи, что Чехова то онъ не видалъ, ибо не видалъ играющихъ чеховскихъ вещей и изъ всего того, что съ такимъ проникновеніемъ возстановилъ театръ. Вѣдь если чеховскій діалогъ всегда что-то продолжаетъ, то долженъ же быть кто-то или что-то, кого онъ продолжаетъ?—и этимъ загадочнымъ и отсутствующимъ при простомъ чтеніи существомъ являются какъ разъ одушевленныя вещи и одушевленное время. Діалогъ, такъ сказать, никогда не останавливается: онъ перебрасывается отъ людей къ вещамъ, отъ вещей снова къ людямъ, а отъ людей къ времени, къ тишинѣ или шуму, сверчку или крикамъ на пожарѣ. Все живетъ, имѣетъ душу и голосъ: о, какъ далекъ былъ театръ отъ этого несноснаго натурализма, который ему навязывали и который знаетъ только вещи: кому онѣ нужны?

Но вотъ интересный и очень важный вопросъ: кто шелъ впереди, Чеховъ или театръ?- кто кого создалъ: Чеховъ ли театръ, или театръ создалъ Чехова?—кто былъ психологомъ (напсихологомъ) раньше и кто пришелъ вторымъ и позже? На это я позволю себѣ отвѣтить, что ни тотъ, ни другой, а оба вмѣстѣ и одновременно; но Чеховъ всегда и во всемъ былъ такимъ, а театръ дѣлался психологомъ постепенно—моментъ встрѣчи только опредѣлилъ и утвердилъ судьбу обоихъ. И возможно, что безъ Художественнаго театра Чеховъ бросилъ бы писать пьесы—всуе законы писати, ежели оныхъ не исполняти; а театръ безъ Чехова легко могъ заблудиться въ натурализмахъ, реализмахъ и символизмахъ и никогда быть можетъ и не выбрался бы на свой настоящій путь.

4.

Естественно, что найдя въ Чеховѣ себя—но не поднявъ Художественный театръ съ настойчивостью единой художественной воли попытался и ко всему приложить тотъ же пріемъ напсихизма, который лежалъ въ самой основѣ его художественной организаціи и такъ блестяще оправдался на Чеховѣ. Но тутъ и начался тотъ рядъ ошибокъ и горькихъ

разочарованій, игры въ ничью, холодныхъ и скучныхъ побѣдъ и такихъ же холодныхъ пораженій. Кое-что какъ будто и выходило, всегда были великолѣпныя детали, публика апплодировала декораціямъ въ тургеневскихъ постановкахъ, смѣялась до колик въ желудкѣ на «Мнимомъ больномъ» (а въ антрактахъ спрашивала: и зачѣмъ это ставится?) и т. д. и т. д. — но того полнаго захвата и безспорнаго художественнаго торжества, какъ на Чеховѣ, уже не являлось. На ряду съ великолѣпнымъ — всегда изъянъ, какая-то трещинка художественная, иногда явное и даже грубое насиліе надъ авторомъ, котораго не ставятъ, а втискиваютъ, не объясняютъ, а какъ бы переучиваютъ писать сызнова. Такъ переучивали и Гоголя, и Грибоѣдова и Островскаго — не останавливались передъ давностью. Металась. Жаловались всему свѣту, что мѣтъ на всемъ свѣтѣ репертуара, нѣтъ піесъ. Кто не слыхалъ этихъ жалобъ Немировича-Данченко и Станиславскаго?

И, конечно, были неправы, жалуясь: хорошихъ піесъ на свѣтѣ сколько угодно, и не вина Шекспира, если въ Художественномъ онъ не удается. И, конечно, были правы, жалуясь, тысячу разъ правы: хорошихъ піесъ много, но такихъ, которыхъ жаждетъ душа и воля новаго театра совсѣмъ нѣтъ или очень мало, надо разыскивать съ большимъ трудомъ и большимъ рискомъ все же въ концѣ ошибиться. Театру-психологу оказалось нечего дѣлать и ставить тамъ, гдѣ уже есть психологическій романъ и гдѣ еще нѣтъ психологической драмы, гдѣ до сихъ поръ на непрочномъ и изъѣденномъ червями тронѣ сидитъ комедія игры, драма зрѣлища и дѣйствія, древній пышный и торжественный балаганъ.

Въ невольно широкихъ обобщеніяхъ моихъ я легко могу погрѣшить противъ частностей, но ничего не подѣлаешь: только путемъ именно такихъ широкихъ обобщеній я могу добраться до истиннаго смысла, переживаемаго театромъ момента, не заблудиться въ частностяхъ, какъ это уже случилось со многими. И, погрѣшая противъ частностей, осмѣлюсь утверждать: если еще не было до сихъ поръ драмы: въ которой совершенно отсутствовала бы психологія

(она есть и въ «Вампукѣ») то въ тоже время еще не было (до Чехова) драмы психологической. Выражаясь грубо психологія была, какъ рѣдкіе кусочки сала въ фаршѣ, а самый пирогъ пекся изъ другого тѣста: дѣйствія и зрѣлища, игры въ прямомъ и тѣсномъ смыслѣ слова. Даже величайшій и до сихъ поръ безспорный психологъ Шекспиръ ужасающе не психологиченъ, когда къ нему подойти съ требованіемъ правды душевной, какъ подошелъ Толстой. Шекспиръ –это поза, актеръ –игра во всю, блестящій узоръ словъ самодовлѣющихъ, пышность театральная: Шекспиръ— это богатѣйшая готика, Миланскій соборъ съ тысячью стрѣлокъ, прекрасное зрѣлище. Но подойти къ Шекспиру съ требованіемъ правды душевной, ея душевной желѣзной логикой и простотой — это значитъ убить Шекспира, какъ убилъ его въ «Гамлетѣ» Художественный театръ.

Я сказалъ: «игра во всю»– да, вотъ главнѣйшій, самый существенный признакъ, который кладетъ границу между старымъ и новымъ въ театрѣ: игра. Но что же такое: «игра», театръ «игры»? И вотъ здѣсь я съ особенной силой чувствую ту почти безвыходность, когда о новыхъ вещахъ приходится говорить старыми словами, истинный смыслъ которыхъ исказился во время долгаго шатанія по свѣту. Къ такимъ словамъ прежде всего относится упомянутое слово «игра» въ его примѣненіи къ театру—затрепанное до послѣдней степени, примѣняемое вкривь и вкось, оно давно перестало понимать само себя. Вѣдь если «игра» у Шекспира, то развѣ не «игра» у Чехова? И развѣ не одинъ и тотъ же Качаловъ «играетъ» и Гамлета, играетъ и «Иванова»—гдѣ же разница и въ чемъ она?

На это я отвѣчу, во первыхъ, что Гамлета Качаловъ дѣйствительно «играетъ» (хотя и очень желаетъ не дѣлать этого), а Чехова Качаловъ не играетъ, а дѣлаетъ какъ разъ что-то другое, для чего мы еще не имѣемъ точнаго и признаннаго термина. Когда романистъ или драматургъ-психологъ лишетъ своихъ героевъ, то «играетъ» онъ ихъ, или нѣтъ? Нѣтъ, онъ ихъ переживаетъ, творитъ, изображаетъ -все что угодно, но только не играетъ. Ибо «игра» есть нѣчто, совсѣмъ отличное отъ того художественнаго

процесса возсозданія живыхъ людей, который составляетъ основу творчества психологическаго. Игра есть притворство, и чѣмъ оно тоньше, умнѣе, краснѣе, тѣмъ игра лучше; психологическое творчество есть правда, и чѣмъ она очевиднѣе, строже, неподкупнѣе, чѣмъ дальше она отъ притворства, тѣмъ произведеніе выше и художественнѣе. Творя образы психологическіе, художникъ долженъ быть абсолютно искренъ, не только вѣрить, но и знать, что онъ именно таковой то изображаемый съ этимъ именно носомъ, съ этой именно душей дѣйствительно и абсолютно существуетъ; и пусть читателю онъ покажетъ только спину его, для себя онъ долженъ знать всю его жизнь, каждый прыщикъ на его тѣлѣ, его сны и его явь. И совсѣмъ не долженъ быть искренъ писатель или драматургъ, если задача его дать игру —избави Богъ, если онъ повѣритъ въ серьезъ, что маска (синонимъ игры) надѣтая имъ, есть его подлинное и истинное лицо: играя, нужно вѣрить только на половину, какъ то играющія собаки, которыя только касаются другъ друга зубами, но не грызутъ.

И весь старый театръ есть театръ притворства—въ противоположность новому, который есть и будетъ театромъ правды. И вовсе не нужно показывать на сценѣ Арлекина и Панталоне, чистыхъ представителей commedia del'arte, чтобы видѣть театръ игры, театръ притворства: каждая старая и современная піеса пропитана игрою, вся построена на притворствѣ, на маскѣ, вся пропитана той сластливой полуискренностью и автора и актеровъ, при которой никакая боль по настоящему не больна, а только радуетъ эстетически *). Театральныя слезы—это ноть души, старающейся отдѣлаться отъ тяжелыхъ заболѣваній и страданій—столь же сладки, какъ и смѣхъ, и оправдываютъ негодующія

*) Обратите вниманіе, какъ застывшіе, разъ навсегда данные характеры commedia del'arte Пьерро и Арлекины, нашли для себя пріютъ въ обычной нашей драмѣ, укрывшись подъ такими же неподвижными, застывшими масками «перваго любовника», «простака», «инженю», «благороднаго отца», «резонера» и т. д. Одна и таже колода картъ, въ которую играютъ только разные игры—но король всегда король, валетъ всегда валетъ и шестерка трефъ всегда только шестерка трефъ. Все условно, все основано на притворствѣ, все игра! Л. А.

слова искреннѣйшаго изъ писателей русскихъ, Вересаева: искусство хлещетъ насъ бичами, но бичи эти сплетены изъ розъ (цитирую на память). Очень возможно, что тотъ свистъ и вопли, которыми публика встрѣчаетъ теперешнія попытки дать драму психологическую, есть лишь показатель ея непривычки къ настоящимъ большимъ страданіямъ, не сладкимъ, а горькимъ слезамъ... какъ и отсутствіе публики на другихъ піесахъ показываетъ ея полное нежеланіе дольше мириться съ надоѣвшимъ притворствомъ театральнымъ.

П р а в д а въ искусствѣ вотъ лозунгъ грядущаго Возрожденія искусства, на порогѣ котораго мы стоимъ. И быть этому Возрожденію именно въ Россіи- въ это я твердо вѣрю. Но это между прочимъ.

И какъ нелѣпо говорить про Шаляпина, что онъ «поетъ» Годунова, хотя тоже слово вполнѣ примѣнимо къ Липковской, старательно поющей Віолету –такъ и непримѣнимъ терминъ «играетъ» къ актерамъ въ піесахъ Чехова на сценѣ Художественнаго театра. И эти понятія: актеръ и г р а е т ъ и актеръ п е р е ж и в а е т ъ необходимо точно разграничить, даже репортеровъ научить, чтобы не смѣшивали. Но еще болѣе точно и строго надо отдѣлить другъ отъ друга старый театръ игры и новый психологическій театръ: здѣсь надо возвести высочайшую бранд-мауэръ, стѣну изъ камня.

М а с к а, лежащая въ самомъ основаніи театра притворства, роковымъ образомъ обрекаетъ его на вѣчную и нерасторжимую связь съ з р ѣ л и щ е м ъ и д ѣ й с т в і е м ъ во внѣшнихъ его проявленіяхъ. Но одни пути для правды и другіе пути для притворства - и тамъ, гдѣ такъ привольно для игры, тамъ тѣсно для творчества психологическаго, правды художественной. Такъ всякая свобода когда нибудь становится рабствомъ; такъ дѣйствіе и зрѣлище, когда-то создавшія театръ, нынѣ становятся убійцами его, деспотами, съ которыми можетъ справиться только революція. И она уже началась съ приходомъ господина Кинемо и музыкой ей служитъ трескъ разваливающагося стараго театра, свистъ недоумѣвающей публики и массовая забастовка драматурговъ. Ибо оскудѣніе нашей драматической литературы есть въ концѣ концовъ лишь безсознательная и молчаливая забастовка

гѣхъ, кто никакъ не хочетъ совмѣстить правду своего творчества литературнаго съ господствующей еще театральной ложью.

5.

Если мало психологиченъ Шекспиръ, падающій, какъ старая крѣпость, подъ могучимъ натискомъ правды, то еще менѣе психологичны всѣ тѣ, кого продолжалъ и продолжаетъ ставить Художественный театръ. А сколько усилій, сколько работы, сколько таланта вдругъ оказавшагося безсильнымъ передъ неосуществимой задачей: найти душу тамъ, гдѣ ея нѣтъ и гдѣ ея даже и не хотѣли!

Вспомните «Бранда». И волны пѣнились, какъ живыя, почти что, какъ въ кинематографѣ; и горы обваливались, и за костюмами ѣздили въ Норвегію; и самъ Качаловъ, еще не напуганный Гамлетомъ, какъ онъ, вѣроятно, напуганъ теперь, пытался изо всей силы своего таланта что то создать... и пустота, нестерпимая скука, деревянныя фигуры, изъ которыхъ безплодно стараются выжать хоть кроху психологіи. Но откуда ее взять? Для Ибсена психологіи нужно было не больше, какъ на смазку сапогъ у Бранда: образа чисто идейнаго, логическаго, какого-то одного ньютоновскаго съ его скобками, равенствами и вопросами. И когда, тоскуя, смотрѣлъ я на этого Ибсена, на этого расшнурованнаго Бранда, мнѣ вспомнились слова покойнаго Чехова. На мой вопросъ объ Ибсенѣ—что то вообще Чеховъ совершенно серьезно, безъ тѣни шутки, отвѣтилъ кратко:

— Ибсенъ—дуракъ.

Тогда меня слова эти поразили и даже возмутили въ тайнѣ, какъ горячаго поклонника Ибсена, но тутъ и подумалъ, что пожалуй Чеховъ и правъ. Съ его точки зрѣнія панпсихолога, добытчика правды душевной даже у вещей, Ибсенъ долженъ былъ казаться тѣмъ же, чѣмъ Шекспиръ Толстому: форменнымъ глупцомъ. И театръ, подойдя къ постановкѣ Бранда съ тѣми же требованіями, что и Чеховъ неизбѣжно долженъ былъ превратить Ибсена въ глупца. Это и совершилось.

Вспомните дальше постановки «Горе отъ ума», «Ревизора»

и Островскаго — послѣдняго только отчасти, такъ какъ хоть въ малой долѣ своей все же былъ Островскій психологомъ (хотя бы даже психологомъ быта, какъ пишетъ о немъ теперь Коммиссаржевскій). Типы исключительно о б щ е с т в е н н ы е, но отнюдь не психологическіе, какъ Фамусовъ, Молчалинъ, Чацкій, Хлестаковъ, Бобчинскій и Добчинскій, театръ изъ всѣхъ силъ своихъ пытался начинить психологіей — и получался новый Брандъ. Декламаціонный, явно нарочитый, адвокатскій пафосъ Чацкаго старался обосновать психологически и лотускнѣлъ весь Чацкій, просто таки растерялся. Его н а р о ч и т у ю любовь къ Софьѣ, какъ и н а р о ч и т у ю любовь Софьи къ Молчалину стремились поставить на прочный фундаментъ психологическій — и вдругъ умнѣйшій Грибоѣдовъ сталъ казаться глупцомъ, не умѣющимъ психологически связать двухъ словъ.

Въ гоголевскомъ «Ревизорѣ» в е щ е й н ѣ т ъ, онѣ не живутъ, не звучатъ, онѣ не нужны были Гоголю въ его задачѣ общественной — и напрасно панпсихологъ Художественный театръ руками Хлестакова давилъ на стѣнъ воображаемыхъ клоповъ: клопы такъ и остались воображаемыми и никакъ не вошли въ душу зрителя. И напрасно талантливѣйшій Ураловъ старался не играть городничаго, а жить на сценѣ — сталъ городничій грубъ, неузнаваемъ; и всякій актеръ, который городничаго и г р а л ъ, давалъ больше, чѣмъ всѣ дары Художественнаго театра. И самая веселость у Гоголя пропала — это у Гоголя-то!

Не избѣжалъ общей печальной участи и Мольеръ. Его Мнимый больной, весь построенный на игрѣ, на веселомъ лицетворствѣ, на полнѣйшемъ и очаровательномъ пренебреженіи къ психологіи — очаровательномъ, ибо оно явно былъ безбожно отягощенъ какъ муха на нитки, грузомъ психологической мотивировки, трагической попыткой и изъ этихъ веселыхъ пустяковъ выдавить что то душевно солидное. Я не прочь посмѣяться и иногда хожу въ кинематографъ, чтобы поглядѣть на любовныя приключенія Макса Линдера, головой пробивающаго стѣны; но если во время этой веселой исторіи, проламывая головой стѣну, онъ станетъ доказывать и показывать, что его любовь есть истинная любовь, а не ни-

рочно, —мнѣ просто станетъ скучно. И когда въ веселой Мольеровской игрѣ мнимый больной нарочно вѣритъ, потому что и весь онъ нарочный,—что переряженная горничная есть настоящій докторъ, я могу смѣяться. Но когда геніальный Станиславскій, по силѣ творческаго и психологическаго дара равный Шаляпину, все время доказываетъ мнѣ и уже доказалъ, что мнимый больной есть самый живой и дѣйствительный человѣкъ, а потомъ вдругъ вѣритъ въ переряженную горничную—мнѣ становится скучно, стыдно, хочется поскорѣе уйти изъ театра. И чѣмъ больше старался талантливый А. Бенуа дать п р а в д у вещамъ, тѣмъ все меньше оставалось и правды, и Мольера; и такъ хромая на обѣ ноги, то на сторону игры, то на сторону психологіи, доковылялъ мнимый больной до своего великолѣпнаго конца, когда колоссальные клистиры побѣдоносно закончили эту нелѣпую борьбу правды съ притворствомъ.

Я очень люблю А. Дюма, считаю его геніальнымъ писателемъ; но если я подойду къ нему съ требованіями психологичности,—онъ сразу станетъ просто дуракомъ. Развѣ въ психологичности сила и великое обольщеніе «Трехъ мушкетеровъ»? И это было постоянной ошибкой, несчастьемъ, сизифовымъ трудомъ Художественнаго театра: комедію игры онъ торжественно сжигалъ на очищающемъ огнѣ психологіи -и получался только дымъ, ничто... даже не дымъ фиміама. Но опять таки и здѣсь театръ не былъ понятъ ни друзьями, ни врагами своими: то его снова бранили за излишній натурализмъ, то упрекали въ тяготѣніи къ быту и неспособности лостичь символы - но главное поносили за натурализмъ. Какъ можно было смѣшать двѣ такія противоположныя вещи, какъ голый и плоскій натурализмъ, истинное достояніе кинемо, и панпсихизмъ, истинную основу театра будущаго!

Во избѣжаніе недоразумѣній скажу, что я отнюдь не врагъ вообще комедіи игры, какъ не врагъ и до -психологического романа: хорошо все то, что хорошо. И хорошую старую комедію игры я поставлю много выше какой-нибудь современной русской драмы, которая тщетно стремится стать психологической, тоскливо блуждаетъ въ пустынѣ высосаннаго пальца. Несмотря на начавшуюся революцію, всѣ

мы еще на половину во власти стараго театра-деспота, за отказъ отъ правды охотно дарящаго насъ забавой театральной, искуснымъ лицедѣйствомъ. Жизнь, правды еще нова и трудна, и порою требуетъ душа отдыха: тогда и хороши романы Дюма, и всякая веселая, талантливая актерская игра. Все бы прекрасно, но бѣда въ томъ, что хорошихъ пьесъ игры уже не пишется, да и не ставится: не очистивъ до конца, психологія уже успѣла отравить игру, какъ христіанство отравило языческую Венеру, не убивъ ее совсѣмъ. Но счастье въ томъ, что искусство правды и жизнь правды все рѣшительнѣй поднимаютъ свой строгій голосъ: даже въ искусствѣ люди начинаютъ искать для себя труда, а не легкой забавы, поверхностныхъ наслажденій. Прекрасны были боги языческіе, но уже нѣтъ имъ возврата на нашу землю — умеръ великій Панъ! Прекрасна бывала и ложь стараго искусства, но уже падаетъ она передъ прекраснѣйшей правдой суровыхъ и серіозныхъ дней обновленія.

И ужъ значитъ насталъ конецъ для комедіи игры, если лучшій въ мірѣ и серіознѣйшій театръ, нашъ Художественный, каждой своей новой постановкой только добиваетъ игру играя; обезцѣниваетъ д ѣ й с т в і е, дѣйствуя, на торжественный нѣтъ сводитъ зрѣлище. Велика мудрость Господня: и когда пророкъ желая благословить,—проклинаетъ, то есть это истинный пророкъ, и сама правда глаголетъ его устами! И своими ошибками театръ доказалъ двѣ вещи: первая — что онъ театръ силы неимовѣрной и театръ н о в ы й; вторая — что н о в о й драмы еще нѣтъ *) и пока что, вынужденъ онъ обитать въ пустынѣ высосаннаго пальца.

Но нельзя жить въ пустынѣ — это еще хуже, чѣмъ «жить бунтомъ»; но нельзя все время проклинать и губить желая создать и благословить — и вотъ Художественный театръ неожиданно и круто поворачиваетъ къ . . . романамъ Достоевскаго, р о м а н ы Достоевскаго ставитъ на своей сценѣ. Какъ однако, ни крутъ былъ поворотъ, его не со-

*) Повторяю, я не имѣю въ виду частностей, противъ которыхъ охотно грѣшу. Такъ не могу не сказать, желая быть искреннимъ, что мою драму «Катерина Ивановна», при всѣхъ презратностяхъ ея судьбы, я считаю драмой н о в о ю. Но это—частность.

всѣмъ замѣтили, и опять таки не оцѣнили: больше толковали о томъ, прилично или неприлично передѣлывать романы въ драмы и какъ это вообще выходитъ съ литературной точки зрѣнія; да еще въ послѣдніе дни не совсѣмъ неожиданно, выступилъ Горькій съ своей «оптимистической» цензурой, какъ остроумно выразился какой-то фельетонистъ. А замѣтить слѣдовало: поворотъ былъ сдѣланъ какъ разъ надъ пропастью—твердой рукой геніальнаго Кормчаго этого славнаго корабля. Правда, успѣхъ постановокъ Достоевскаго былъ и есть большой, писали съ чувствомъ, но о Чеховѣ не забыли: все еще запоздало величаютъ чеховскимъ театромъ (не безъ ехидства) въ то время, какъ театръ уже поднялся на новую высочайшую вершину, называемую «Достоевскій».

Да. Тихо и почти незамѣтно совершилась роковая встрѣча—страстно ждущаго психологическаго театра и генія психизма Достоевскаго. Такъ вѣроятно, когда то на берегу Арно неслышно и тихо произошла встрѣча Беатриче и Данте: кто на улицѣ услышалъ біеніе ихъ сердецъ?

6.

«Всѣ вопросы о томъ, чѣмъ цѣненъ для насъ Достоевскій сводятся къ главному: чѣмъ цѣненъ онъ для актера.

«Я думаю, что истинное созданіе у актеровъ бываетъ только въ литературѣ національной. За самыми рѣдкими исключеніями нашъ театръ избѣгаетъ пьесъ французскихъ или испанскихъ. Почему? Да потому, что русскій актеръ съ присущимъ ему геніемъ можетъ пьесы иностраннаго репертуара играть-докладывать, а не создавать». («Рампа и Жизнь»).

Такъ говоритъ Немировичъ-Данченко, геніальному чутью котораго театръ обязанъ новымъ своимъ возрожденіемъ: онъ поставилъ Достоевскаго. Дальше же онъ говоритъ слѣдующее:

«Русская драма покоится прежде всего на психологіи и русскій актеръ ищетъ въ своей роли прежде всего живой, правдивой психологіи». «Одинъ благодарныя сценическія положенія», «чрезвычайно облегчающія трудъ актера и вполнѣ

удовлетворяющіяся его опытомъ, техническимъ мастерствомъ и штампованными пріемами уже не могутъ оживить работу актера той внутренней тревогой, въ которой его самая большая радость».

И наконецъ:

«И кто знаетъ, можетъ быть инсценировки Достоевскаго сулятъ намъ новыхъ драматурговъ?»...

Вчитайтесь въ эти слова Немировича-Данченко и посмотрите—какъ здѣсь борется правда съ неправдой, какъ чудесное прозрѣніе художника, мощной рукой ставящаго театръ на путь возрожденія, робко препирается съ старыми пріемами мысли! Вотъ-вотъ подойдетъ онъ къ самой правдѣ скажетъ послѣднее рѣшительное слово свое о новой драмѣ но нѣтъ: вспоминаются старые споры объ актерѣ, грозитъ пальцемъ призракъ Горькаго и снова вмѣсто правды, воцаряется правдоподобіе: вещь опасная, такъ какъ имени въ правдоподобіи можетъ окончательно затонуть правда, Гдѣ здѣсь логика: съ одной стороны наши актеры психологи – съ другой: истинное созданіе актеровъ бываетъ только въ литературѣ національной. Но развѣ можетъ быть психологія національна?—вѣдь того же Достоевскаго, котораго такъ глубоко почувствовали артисты Художественнаго театра, не менѣе глубоко воспринялъ нѣмецъ Ницше, да и одинъ ли онъ!.. И не кажется ли смѣшнымъ, что въ психологію вводитъ ограниченіе національности тотъ самый театръ, который съумѣлъ одушевить вещи и время!

Далѣе: съ одной стороны русская драма покоится прежде всего на психологіи», а съ другой: «одни благодарныя сценическія положенія уже не могутъ оживить работу актера»; и съ третьей: «кто знаетъ, можетъ быть инсценировки Достоевскаго сулятъ намъ новыхъ драматурговъ?»

Какъ здѣсь смѣшана правда съ неправдой! Вѣдь если русская драма покоится на психологіи, то о чемъ же толкъ, откуда же эти несчастныя «сценическія положенія», которыя не могутъ оживить? И откуда же эта тоска о новой драмѣ и даже обѣщаніе, что придутъ новые драматурги, когда вообще «русская драма покоится на психологіи»? – стало быть,

играть бы только да играть и не передѣлывать почему то романы въ драмы!

Такъ ходитъ вокругъ правды большой художникъ, создатель въ мірѣ перваго новаго театра, не умѣя или не рѣшаясь произнести послѣднее, страшное, корабли сжигающее слово: для нашего театра, какимъ онъ хочетъ и можетъ только быть, нѣтъ драмъ. Что это значитъ? Это значитъ: взять всю драматическую литературу съ первой написанной драмы до послѣдняго водевиля Аверченко и все единымъ махомъ бросить за бортъ нашего корабля. Это значитъ сказать, что вся бывшая доселѣ драма не психологична и непригодна для нашего новаго психологическаго театра: вся, какъ есть, начиная Софокломъ, кончая Метерлинкомъ, Толстымъ и всѣми существующими. Это значитъ: либо самимъ дѣлать для себя пьесы, инсценируя психологическій романъ, либо ставить старыя и вмѣсто аншлага вывѣшивать въ вестибюлѣ: «вотъ еще одна наша ошибка». Дѣйствительно, страшно.

Но то, чего не смѣетъ или не хочетъ договорить Художественный театръ, то позволю себѣ сказать я: на мнѣ меньше ответственности, я не веду корабля, а только съ прибрежной горы слѣжу за кораблемъ и отмѣчаю его путь. И я скажу что дѣйствительно, вся драматическая литература съ Адама и до нашихъ дней есть старая литература, осужденная на гибель, ибо мимо нея уже проходитъ и пройдетъ новый театръ, театръ будущаго. И великій грѣхъ ея въ томъ, повторяю, что служила она и служитъ покорно дѣйствію и зрѣлищу, какъ до-психологическій романъ, въ то время, какъ и романъ и вся жизнь ушли въ психологію, перестали быть чудесно-сказочнымъ разсказомъ о приключеніяхъ, дуэляхъ и любвяхъ Бенвенуто Челлини. Въ концѣ концовъ мы стали слишкомъ умны, чтобы искренне наслаждаться беззаботной игрой во всю; мы любимъ красоту шелка и бархата, не прочь и побаловать и порадовать глазъ красотою красокъ, любимъ мы и посмѣяться—но еще больше любимъ мы правду, къ которой пріучилъ насъ романъ, и которой мы уже не находимъ въ театрѣ старой доброй трагедіи и драмы.

Здѣсь я покину на время Художественный театръ и пе-

рейду къ дальнѣйшему обоснованію моего взгляда на старую и новую драму, старый и новый театръ. Но предупреждаю съ сожалѣніемъ, что и въ дальнѣйшемъ я останусь на почвѣ слишкомъ широкихъ обобщеній: для детальнаго и вполнѣ доказательнаго разсмотрѣнія вопроса нужно слишкомъ много и мѣста, и времени, и работы—я же не спеціалистъ. И въ мою задачу не входитъ убѣдить противниковъ, буде таковые есть и окажутся, а только собрать друзей—если найдутся и таковые. Друзья же не такъ требовательны и догадываются тамъ, гдѣ для другихъ надобны цѣлые страницы цитатъ, арсеналъ доказательствъ.

7.

О новой драмѣ грезятъ всѣ современные драматурги, критики, публика и театры. Когда я говорю: в с ѣ, я разумѣю только верхи, ибо на низахъ еще продолжаетъ переживаться, даже только еще начинаетъ, пожалуй, старая драма дѣйствія, какъ и старый романъ приключеній. Но это уже другой, но истинѣ страшный вопросъ современности, на которомъ я уже останавливался вскользь, говоря о пестротѣ и антиподныхъ требованіяхъ современнаго зрительнаго зала. Кстати такая любопытная справка: въ очаровательной Франціи А. Франсъ и другіе всемірно славные корифеи почти неизвѣстны, съ трудомъ находятъ себѣ издателя и читателей своихъ считаютъ тысячами, тогда какъ тридцать милліоновъ французовъ изо дня въ день читаютъ ужасающіе бульварные романы и клянутся именемъ великаго Арсена Люпена. Во Франціи «къ несчастью, всѣ грамотны» —какъ съ горечью сказалъ Баранже, не зная, что есть большее несчастье: быть безграмотными, какъ въ Россіи.

Но грезя о н о в о й драмѣ, всѣ драматурги, режиссеры и театры почему то непремѣнно исходятъ изъ ф о р м ы: отъ нея всѣ качества! Забываютъ, что какъ и н о в ы й человѣкъ, такъ и н о в а я драма неизбѣжно будутъ имѣть всѣ тѣ же двѣ руки и одну голову и все остальное на прежнемъ мѣстѣ; думаютъ, что просто нуженъ новый носъ. Конечно, есть носъ римскій, есть и русскій; но въ концѣ концовъ все же это только носъ; и на Невскомъ я много встрѣчалъ очень слав-

ныхъ римскихъ посовъ, однако же римлянъ въ нашемъ сенатѣ что то не слышно. И форма была и есть только граница содержанія, тѣ плоскости, что ограничиваютъ сево вѣ, слѣдуя изгибамъ содержанія, законамъ и прихотямъ существа. И какъ римскій носъ безсиленъ сдѣлать изъ петербуржца Брута, такъ и самая лучшая трагическая форма для пьесы, даже съ хорами, даже съ извѣстнымъ весьма популярнымъ Рокомъ, никогда не возстановитъ греческой трагедіи, для которой прошло ея время. И наоборотъ, когда Рейнгардтъ въ сообществѣ съ фонъ-Гофмансталемъ налѣпилъ Эдипу совершенно нѣмецкій современный носъ, стало очень недурно и даже похоже на Грецію –всѣ это находили.

По разному искали новой формы, а съ нею и новой драмы драматурги и режиссеры. Не имѣя возможности самимъ сочинять драмы новой формы, режиссеры старательно ломали форму у старыхъ драмъ, приготовляя невѣроятную чепуху: ее остроумно высмѣялъ Евреиновъ въ своемъ «Ревизорѣ». Трудно повѣрить, сколько было израсходовано творческой энергіи на простыя перемѣщенія: свѣтъ оттуда или отсюда, посадить ли зрителя на сцену, а актеровъ пустить въ залъ, смотрѣть бокомъ или даже задомъ, спускать занавѣсъ или раздвигать, ходить по сценѣ манекенами или вообще статуарно,– всего не перечислить. И ужъ конечно, нужно строить новые театры -вотъ ужъ по истинѣ смѣшеніе формы и существа! зданія и функцій! а пока идти въ циркъ, даже въ лѣсъ, даже въ кавказскія горы. Да были и такіе кавказскіе разбойники: пѣли Демона на настоящихъ скалахъ, и все небо надъ Кавказомъ краснѣло отъ стыда.

И любопытно было вотъ что: какъ, ломая форму старой вещи, не чувствовали они, жестокіе компрачикосы, что и самая жизнь уходитъ вмѣстѣ съ кровью, не видѣли живой крови на изломахъ, не слышали, какъ переставало биться сердце истерзаной драмы. Да, я не доволенъ формой орангутанга, я хотѣлъ бы поскорѣе увидѣть въ немъ человѣка, но значитъ ли это, что я долженъ обрить его съ ногъ до головы? А обривъ и переломавъ ему ноги и руки, буду ли я имѣть человѣка, или только трупъ изуродованный, въ лучшемъ случаѣ того человѣка-звѣря, о которомъ фантази-

ровалъ съ ужасомъ Уэльсъ? А такъ дѣлали, не хотѣли помнить, что драма есть нѣчто органическое, въ чемъ и форма и суть связаны единствомъ жизни и—неотторжимы, неотдѣлимы другъ отъ друга!

Гуманнѣе были драматурги въ поискахъ новыхъ формъ, по ихнему—новой драмы. Имъ нечего было ломать: (вѣрнѣе, съ ломки они и должны были начинать, но они этого не знали)—они сами творили организмъ заново и дѣло обходилось безъ убійствъ. Но творя, и они искали только формы очарованные режиссерами, старое прокисшее вино они вливали въ нѣкоторые новые мѣхи. Грильпарцеръ, кажется, сказалъ, что искусство относится къ жизни, какъ вино къ винограду—и вотъ забыли они о новомъ винѣ, все вниманіе обратили на бутылки, а жидкость была все та-же: дѣйствіе и зрѣлище съ жалкими кусочками психологическаго сала, все тотъ же старый разогрѣтый пирогъ. Правда въ этихъ поискахъ своихъ, ища Индію, открыли не мало Америкъ: развили и усовершенствовали форму символической драмы («Балаганчикъ» Блока: контрабанднымъ путемъ—какъ я уже писалъ въ первомъ письмѣ—расширили содержаніе сцены, порою очень близко подходили и къ самой правдѣ, но послѣднее было чистой случайностью. Такъ и слѣпые, ощупывая форму, находятъ иногда дорогія лица, но уже тотчасъ же и теряютъ ихъ въ незримой, шумящей толпѣ.

Быть можетъ, былъ психологомъ Метерлинкъ, но символическая форма больше пригодна для идей, которымъ она даетъ невиданный просторъ, но опасна для психологіи: нѣтъ правды психологической гдѣ, гдѣ нѣтъ яснаго обоснованія, мотивировки, гдѣ самое основаніе душевныхъ движеній символично, иносказано, инословно. Символистъ не доводитъ своихъ героевъ до слезъ, онъ заставляетъ ихъ плакать: онъ представляетъ данными то, что еще требуется доказать—психологически, конечно. Пусть въ «Смерти Тентажиля», сильнѣйшей вещи Метерлинка, чувство страха разработано съ изумительной правдивостью, но оно не мотивировано достаточно, не градируетъ, съ самаго начала дается на вѣру: и если самъ, лично, я боюсь смерти, то охотно и быстро испугаюсь, а нѣтъ—останусь спокоенъ. Больше чѣмъ мас-

матика, психологія требуетъ: докажи! Можно зазѣвать, глядя на зѣвающаго, заплакать, глядя на плачущаго и испугаться, глядя на испуганнаго—толпа это знаетъ но это будетъ почти только физіологія: лишь доказанныя слезы могутъ растрогать насъ до скорби истинной, вызвать глубокія душевныя движенія. Меттерлинкъ не доказываетъ, онъ только приказываетъ—а приказанія можно и не послушаться. Мнѣ скажутъ: логика лишь для избранныхъ, приказаніе для массъ пожалуй, это правда, но только въ отношеніи идей: логика психе всеобща, въ ней нѣтъ званыхъ и не званыхъ.

Смотрѣть Меттерлинка это все равно, что совершенно трезвому прійти на именины, гдѣ всѣ давно уже пьяны, да не только пьяны, а и вино все выпили: трудно охмѣлѣть отъ однихъ хмѣльныхъ поцѣлуевъ! И этотъ метгерлинковскій недостатокъ есть свойство, кажется, самой символической формы: исходя отъ непремѣнно даннаго, но отъ насъ сокрытаго, могущаго вскрыться только послѣ окончанія драмы, приказывая съ тѣмъ, чтобы на завтра доказать, да и то не всѣмъ—символистъ раньше самъ выпиваетъ все вино. И хорошо, если я пьянъ тѣмъ же хмелемъ, болѣю той же болью, что и онъ — я раздѣлю его праздникъ, а иначе и онъ и я останемся въ одиночку, каждый самъ по себѣ. Но я сказалъ: «кажется»; да, я не беру на себя смѣлости утвердить категорически, что самая форма символизма такова и что не прійдетъ нѣкій новый символистъ, который, понявъ значеніе психологіи для новаго театра, не сумѣетъ и символамъ своимъ дать принципъ доказательности, а не сомнительнаго приказа. Ибо въ концѣ-концовъ и символизмъ только форма, какъ и реализмъ, и не въ нихъ дѣло, а въ содержаніи *).

Въ чемъ же содержаніе будущей новой драмы, а съ ней и новаго театра?

8.

Однако, раньше скажу нѣсколько словъ о томъ, кто кого долженъ обновить: театръ драму или драма обно-

*) Только что прочелъ прекрасную драму А. Блока «Роза и крестъ»: при своей символичности, драма великолѣпно обоснована психологически и даетъ впечатлѣніе живой и волнующей правды Л. А.

вить театръ? Отвѣтъ въ сущности уже данъ всѣмъ предыдущимъ, и я только подчеркну его: конечно, только новая драма можетъ обновить театръ. Какъ всякой школѣ, какъ всякому реальному воплощенію силы, какъ стрѣлѣ однажды брошенной—театру свойственно стремленіе къ инерціи, потребность сохранить однажды данное направленіе. Онъ можетъ толкать сзади, но не вести впередъ; и не будь Художественный театръ самъ своимъ драматургомъ—вѣдь это онъ сочинилъ драмы Достоевскаго—онъ не могъ бы выбиться изъ крѣпкихъ путъ старой драмы, своихъ собственныхъ привычекъ. И пусть театръ вообще (даже и Художественный) стонетъ и требуетъ новой драмы—но еще долго онъ самъ не будетъ узнавать жениха, котораго ждетъ, многихъ робкихъ пророковъ побьетъ камнями, пока не придетъ вульгарный и посредственный Арабажинъ или Ярцевъ,—сихъ дѣлъ послѣдніе пріемщики—и не поставятъ визы на паспортѣ. Ибо это значитъ будетъ, что всѣ уже поняли: можно ставить.

И обновленіе театра, какъ бы онъ ни тяготился старымъ, немыслимо безъ обновленія драмы — той основной театрально-драматической ткани, что въ тиши кабинетовъ своихъ ткутъ писатели. И въ борьбѣ кинемо съ театромъ послѣдній безсиленъ одержать побѣду, если не выкуетъ для него новаго оружія будущій славный драматургъ. Онъ прійдетъ несомнѣнно, этотъ драматургъ возрожденнаго театра, и лозунгомъ его будетъ: психологія!

Евреиновъ въ своемъ чрезвычайно интересномъ изслѣдованіи «Театръ, какъ таковой», говоритъ между прочимъ, что только совсѣмъ близкіе къ театру люди, актеры или режиссеры, могутъ быть хорошими драматургами: они понимаютъ и чувствуютъ театръ. Но это совершенная неправда! Нѣтъ заслуги въ томъ, чтобы знать старый театръ, весь снизу до верху подлежащій сломкѣ; и еще менѣе нужно жить въ немъ, невольно пропитываясь его духомъ тлѣннымъ и кислымъ: нѣтъ, не присяжные драматурги и театральныхъ дѣлъ мастера, а литераторы, нѣкогда ненавистные театру, литераторы съ ихъ блаженнымъ невѣдѣніемъ софита и кулисъ должны творить новую драму. Вѣдь вовсе не въ томъ несчастье, что въ теперешнемъ театрѣ слишкомъ много ли-

тературы, хотя это и думаютъ, а въ томъ — что вовсе нѣтъ ея!

До сихъ поръ въ понятіи современниковъ театръ и литература были, какъ двѣ стихіи, и разница между драматургомъ и литераторомъ была, какъ между рыбой напр. и птицей: тѣмъ и другимъ надо родиться. И какъ драматургу не полагалось писать романовъ, такъ еще менѣе считался способнымъ на драму литераторъ: въ крайнемъ случаѣ, какъ чайка, посидитъ на водѣ, а ужъ нырнуть по настоящему не можетъ, нѣтъ! Но уже лѣтъ пятнадцать или двадцать у насъ по настоящему только съ Чехова это біологическое дѣленіе на драматурга и писателя стало сглаживаться, но совсѣмъ далеко не исчезло. Хотя и признанный театромъ, литераторъ по прежнему тайный врагъ и его и актера, и нашествіе его на театръ каждый разъ пріобрѣтаетъ черты того печальнаго сраженія, когда отдѣленный уже на никъ и казакъ безъ головы — не къ радости, а къ горю обоюдному, встрѣчаются теперешній театръ и теперешній литераторъ. Казалось бы чего проще: не надо литератора, да и только, но нѣтъ! — со скрежетомъ зубовнымъ тащитъ къ себѣ литератора театръ, а если самъ не идетъ: театръ хватаетъ его романы, повѣсти, нѣчто написанное безъ мысли о театрѣ, и приспособляетъ, приспособляетъ! И этимъ говоритъ театръ, кричитъ театръ, жалуется театръ, что его забыли, что онъ также хочетъ принять участіе въ мощномъ ростѣ литературы, не можетъ дольше оставаться какой то особенной стихіей, когда то моремъ, теперь же только болотомъ. И посмотрите, какъ мало осталось прирожденныхъ драматурговъ, какъ жалко выродились они: нѣтъ китовъ — одни головастики!

Но отчего же нѣтъ радости во встрѣчѣ разлученныхъ любовниковъ: театра и писателя? А потому нѣтъ радости, что, зовя литератора, театръ въ тоже время непремѣнно желаетъ истолочь его по своему старому рецепту, надѣть на него свою запошенную ливрею, оставшуюся отъ прежнихъ прогнанныхъ слугъ. Литераторъ же, столь талантливый и сильный, пока онъ сидитъ въ зрительномъ залѣ и ругается, сразу же признаетъ себя виновнымъ, какъ только

садится писать драму и тихонько распрашивать режиссера о таинственныхъ софитахъ—какъ же можно безъ софитовъ! И, принося драму, больше всего боится, чтобы его не уличили въ литературности—онъ, писатель Божьей милостью! Онъ, призванный къ тому, чтобы новые законы дать обезсилѣвшему театру, покорно принимаетъ его мельчайшія правила, коверкаетъ себя, ломаетъ свой талантъ, становится на четвереньки и лепечетъ голосомъ двухнедѣльнаго младенца.... кому онъ нуженъ такой!

Варяговъ зоветъ къ себѣ театръ, законодателей и царей, а приходитъ—обвиняемый въ сюртукѣ и самъ ищетъ для себя скамью подсудимыхъ: еще дома, на предварительномъ слѣдствіи, сознался и теперь интересуется только вопросомъ: каторга или, Богъ дастъ, только поселеніе?

И поскольку новый театръ будетъ театромъ психологіи и слова (о чемъ также рѣчь впереди, поскольку долженъ онъ подняться на высоту современной литературы постольку первое мѣсто въ немъ тому литератору, который теперь почти не ходитъ въ театръ и менѣе всего думаетъ писать для театра: въ его органическомъ отрицаніи и невѣріи стараго театра залогъ блестящихъ побѣдъ въ театрѣ будущемъ. Но только пусть онъ не боится режиссера и премудрыхъ софитовъ!

3.

Конечно, для того, чтобы быть хорошимъ драматургомъ для стараго театра, необходимо знать его особенную структуру, языкъ его условностей,—въ этомъ смыслѣ совершенно правъ Евреиновъ. Здѣсь ужъ не софиты—здѣсь дѣло много сложнѣе. Минуя всѣмъ извѣстные условности декораціи, грима, того или иного освѣщенія, дѣленія на акты и картины и т. д., я остановлюсь только на важнѣйшемъ для меня вопросѣ: объ условной театральной психологіи.

Когда я говорилъ, что старая драма не знаетъ психологіи, это нужно принимать въ томъ смыслѣ, что старая драма знала и знаетъ только условную психологію—нѣчто, совсѣмъ отличное и отъ психологіи жизненной и отъ лите-

ратурной. О первой говорить не стану— она есть лишь виноградъ, изъ котораго еще нужно сдѣлать вино искусства; а въ литературѣ, въ ея лучшихъ образцахъ, мы встрѣчаемъ такую силу психологической разработки, при которой правда души, быть можетъ, узнается только впервые. Тьма, въ которую со временъ древнихъ была погружена душа человѣка, постепенно разсѣивается. Какъ море, гладкая поверхность для древнихъ, теперь мало по малу открываетъ тайны своихъ глубинъ, такъ лотъ психолога уже открылъ не мало сокровенныхъ тайнъ души, мѣстами—какъ у Достоевскаго—нащупалъ самое дно, тинистое и страшное, черное и глухое подъ массою прозрачныхъ водъ. Уже и въ сны проникъ психологъ-романистъ—въ ту таинственную область, гдѣ царятъ совсѣмъ особые законы: вспомните старую литературу, гдѣ люди какъ будто совсѣмъ не спали—такъ мало видятъ они сновъ! (Вопросъ о снахъ интересно разрабатывается въ талантливомъ театрѣ «Криваго Зеркала»: «Сонъ» Гейера, напримѣръ. Не забудьте въ тоже время, что этотъ театръ серьезнымъ не считается!)

Ища только правды душевной, не подчиняя себя театральнымъ законамъ «дѣйствія и зрѣлища» (я ужъ не говорю про свирѣпый законъ единства времени, дѣйствія и мѣста, къ счастью давно упраздненный) психологъ-романистъ спокойно ставилъ и разрѣшалъ свои задачи, не торопясь изслѣдовалъ душу, какъ таковую. Въ свободѣ отъ дѣйствія и зрѣлища, отъ условности театральной, была его сила. И очень возможно, что тотъ же Достоевскій, романы котораго такъ удобно укладываются теперь для сцены, явилъ бы собою весьма посредственнаго драматурга, вздумай онъ писать драмы для тогдашняго театра: въ борьбѣ съ софитомъ и режиссеромъ онъ потерялъ бы всю свою силу. Свободно переходя отъ діалога къ монологу, растянутому на десятки страницъ (Нагель въ «Мистеріяхъ» Гамсуна) бросая внѣшнее для внутренняго, цѣлыя главы начиная словами: онъ думалъ, что... (Толстой), романистъ до безконечности углублялъ душу своихъ героевъ, приближалъ ее къ нашей, приближалъ ее къ правдѣ души вообще. Мало ему этихъ средствъ — просто начнетъ говорить отъ себя, поясняя, догадываться:

то изнутри смотрѣлъ, то вдругъ взглянетъ со стороны—мѣняетъ точки зрѣнія, всяко ищетъ и всяко находитъ.

Это совсѣмъ не ново, то, что я говорю, но оно станетъ ново и интересно, если вы теперь потрудитесь провести параллель между этой психологіей романа и ея пріемами—и условной, укороченной, ободранной до голаго тѣла, нищенской психологіей драматическаго дѣйства.

У балета, какъ извѣстно, есть свой языкъ тѣлодвиженій и мимики: что-то вродѣ того, что бѣжать очень долго на однихъ носкахъ — значитъ выразить полную невинность души и въ то же время страхъ или любовь. Есть свой языкъ и у клоуновъ: напр. пощечина, какъ выраженіе гнѣва, вывернутыя внутрь ноги, какъ характеристика глупости и раззявства. Но едва ли всѣ знаютъ, что точь въ точь такой же языкъ есть и въ серьезнѣйшей драмѣ; и примѣняется онъ какъ разъ для выраженія важнѣйшей стороны вещи: ея психологіи. Въ «Вампукѣ» вдругъ приходитъ нѣкій господинъ и заявляетъ: «я васъ покорилъ!»—и тотчасъ же всѣ принимаютъ покорныя позы и повторяютъ съ глубочайшей вѣрой: онъ насъ покорилъ. Но это дѣлается не въ одной «Вампукѣ» — этими же простыми до глупости пріемами живетъ и драма. Это—условность, только.

Прежде всего здѣсь требуются вѣрующіе зрители, когда же они есть, дѣло идетъ просто и легко. Надо выразить большое горе — заплакалъ; горе поменьше — положилъ голову на столъ. Положить палецъ на губы или какъ бы невольно посмотрѣть вслѣдъ ушедшему—это значитъ: жена измѣняетъ своему мужу, дѣло не чисто. Схватиться за голову, дать пощечину, вбѣжать, а не войти, смѣяться для радости и рыдать для отчаянія, выпячивать губы, морщить лобъ, дѣлать синяки подъ глазами и прочее,—это все условный языкъ драмы, столь же общепринятый, какъ условный стукъ Морза для телеграфа. Да и не въ телеграфѣ ли здѣсь дѣло? — посмотрите на условный маятникъ условныхъ часовъ: съ какой недопустимой быстротой отчеканиваетъ онъ условныя секунды!

Но это только языкъ, вещь второстепенная: вѣдь и

по телеграфу можно передавать библію... можетъ быть существо психологическое и не тронуто?

Къ сожалѣнію, здѣсь языкъ совершенно соотвѣтствуетъ существу передаваемаго. Телеграфный языкъ прежде всего требуетъ быстроты—и вы посмотрите, какъ въ современной драмѣ безбожно ускорены всѣ психологическіе процессы и переживанія: любовь, ревность, гнѣвъ, подозрѣніе, болѣзнь, смерть (психологически), какъ поспѣшно взбирается актеръ по лѣстницѣ, гдѣ всѣ ступеньки сдвинуты и до самой колокольни всего только два шага? Чтобы яснѣе представить, какая жестокая неправда въ такомъ ускореніи, вообразите, что въ кинемо дается снимокъ похоронной процессіи, но что машинистъ пьянъ и пустилъ ленту съ утроенной быстротой: вдова бѣжитъ, скачутъ родственники и самъ мертвецъ несется съ быстротою скаковой лошади гдѣ тутъ похороны! И это есть первая и основная ложь театральной условной психологіи, отъ которой родятся безчисленныя маленькія лжи.

Когда предо мною идетъ комедія игры и меня откровенно приглашаютъ вѣрить, я могу это сдѣлать, если захочется: такъ вѣритъ ребенокъ, когда ему хочется играть, что вотъ этотъ стулъ—лошадь. Но и ребенокъ, вѣря, прекрасно знаетъ, что все-таки это только стулъ; и когда ему надоѣстъ игра, никакими силами его не убѣдишь, что стулъ лошадь: игра надоѣла! Онъ серьезенъ, онъ уже хочетъ смотрѣть картинки ступенька вверхъ! И когда въ серьезной драмѣ, а не игрѣ, меня по прежнему приглашаютъ вѣрить, что поцѣлуй есть исчерпывающее доказательство любви я просто не желаю этому вѣрить, а требую доказательствъ. Доказательствъ же я разумѣю, психологическихъ наша драма никогда почти не даетъ, не знаетъ ихъ. И въ этомъ отношеніи вся современная драма съ ея условнымъ языкомъ и психологіей не менѣе символична, чѣмъ приказывающій, но не доказывающій Метерлинкъ. Разница только въ томъ, что символы ея до крайности элементарны, какъ лошадь-стулъ, но въ основаніи лежитъ все то же: вѣра вмѣсто убѣжденности, приказъ на мѣсто доказательства.

Вѣра же всегда была почвой зыбкой и ненадежной, а

нынѣ съ усовершенствованіемъ игрушекъ она и ребенка держитъ съ большимъ трудомъ: стулъ окончательно становится стуломъ. И наоборотъ, ростетъ съ каждымъ днемъ потребность въ доказательствахъ: поумнѣло сердце, какъ и голова. И съ каждымъ днемъ все невыносимѣе становится современная драма съ ея безпочвенной, бездоказательной психологіей, морзовскимъ поспѣшнымъ языкомъ и наивной дѣтской аллегоричностью—символъ въ концѣ-концовъ слишкомъ важное слово для обыкновенной игры въ куклы!

И пусть все это возьметъ себѣ блестящій выходецъ со дна, сіятельный Кинемо. Это какъ разъ для него: наивный натурализмъ вещей, стремительное дѣйствіе и стремительная псевдо-психологія, столь напоминающая похороны вскачь; это для него морзовскій психологическій языкъ, нахмуренныя брови, страстный поцѣлуй, шествіе на носкахъ для выраженія невинности и любви. Въ психологіи онъ никогда далеко не уйдетъ—мечтаетъ о ней и также приглашаетъ литераторовъ единственно отъ молодого задора и избытка силъ, а дѣйствіе разработаетъ въ совершенствѣ, извлечетъ новые блистательные алмазы изъ этого еще не тронутаго рудника. Только поскорѣй бы произошло это раздѣленіе властей: церкви отъ государства, театра—отъ кинемо.

10.

Новый театръ будетъ театромъ психологическимъ. Новая драма исключительнымъ содержаніемъ своимъ будетъ имѣть: психе.

Быть можетъ, не всѣ согласятся съ этимъ моимъ опредѣленіемъ содержанія, и скажутъ, что психологическая разработка есть лишь методъ, еще ничего не говорящій о самомъ содержаніи. На это я позволю себѣ отвѣтить съ нѣкоторой парадоксальностью, что методъ и есть само содержаніе: весь міръ мѣняетъ существо свое (реально пребывая въ неизмѣнности), въ зависимости отъ того или иного метода изслѣдованія. И если матеріаломъ для новой драмы останется все тотъ же старый, добрый міръ и люди, то содержаніемъ станетъ душа міра и людей, не его тѣло,

которымъ безъ нашего согласія овладѣетъ въ концѣ-концовъ могущественный Кинемо. Я усиленно подчеркиваю разницу между матеріаломъ и содержаніемъ: матеріалъ неизмѣненъ и отъ вѣка одинъ и тотъ же, содержаніе же зыблемо, мѣняется вѣчно, не имѣетъ конца для своихъ измѣненій.

Поставивъ своимъ содержаніемъ д у ш у новый драматургъ вдругъ увидитъ передъ собою совсѣмъ новый, еще какъ будто никѣмъ не тронутый міръ: можно разсматривать его, какъ новую книгу—съ первой страницы до послѣдней. И вдругъ станетъ ясно, что и послѣ «Ромео и Джульеты» можно о любви писать такъ, какъ будто театральные подмостки еще ни разу не слыхали этого слова; что послѣ милліона невѣрныхъ женъ, данныхъ театромъ, можно такъ дать невѣрную жену, что зритель увидитъ ее в п е р в ы е и растеряется критикъ, строгій хранитель канона и шаблоновъ, сонный сторожъ при гробѣ мертвой правды. И самаго человѣка дастъ новый драматургъ такъ, какъ будто никогда еще сцена не видѣла человѣка: нѣтъ, человѣка она видѣла, но души его еще не замѣчала. И все, на что взглянетъ новый драматургъ новыми глазами, станетъ содержаніемъ для новой настоящей драмы: и не станутъ люди серьезные отмахиваться отъ театра какъ отъ старой, но уже скучной и надоѣвшей забавы; вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ профессоровъ звать играть въ лошадки, упрашивая непокорныхъ—будьте, какъ дѣти!

Вотъ уже есть у насъ первый н о в ы й театръ: Художественный. Всмотритесь въ него. Инсценировкой р о м а н о в ъ Достоевскаго онъ показалъ во-первыхъ, что старая узаконенная давностью структура драмы есть вещь совсѣмъ второстепенная. Онъ допустилъ ч т е ц а, который поясняетъ. Онъ допустилъ одному представленію р а с т я н у т ь с я н а д в а в е ч е р а. Онъ сдѣлалъ вмѣсто пяти-семи двадцать картинъ.

...«Въ концѣ-концовъ, проработавъ надъ Достоевскимъ—говоритъ Немировичъ-Данченко—видишь, что въ театрѣ получается такая атмосфера, предъ которой отпадаютъ и блѣднѣютъ не только теоретическія разсужденія о допустимости инсценировокъ, но даже и вопросы о стройности и гармо-

ничности спектакля»... «И пусть будетъ спектакль съ технической стороны и кривобокъ и неуклюжъ, но вѣдь въ театрѣ самое главное—проявленіе творчества, а не мастерство техники»!

Вотъ замѣчательныя слова, которымъ предстоитъ открыть эру въ исторіи новаго театра!

И что сдѣлано для Достоевскаго, развѣ не можетъ быть сдѣлано и для васъ, новые драматурги?Правда у Достоевскаго хорошее имя: письмо Горькаго создало нѣчто вродѣ анкеты о Достоевскомъ, и не было человѣка, который не назвалъ бы его геніемъ, всѣ «Листки» такъ выражались,—но вѣдь не для имени работалъ театръ, а для тѣхъ особыхъ цѣнностей художественныхъ, которыя самъ онъ назвалъ «психологіей». И работая для новаго театра, не думайте ни о времени, ни о количествѣ актовъ, ни о софитахъ, ни о формѣ—думайте только о правдѣ душевной, всѣми способами добывайте ее, вводите чтецовъ, если иначе не сможете, давайте безконечные монологи, не считайтесь ни съ зрителемъ, ни съ критикомъ, ни съ самимъ въ концѣ-концовъ театромъ! Ваша правда душевная побѣдитъ и зрителя и театръ—и даже критикъ Айхенвальдъ, извѣстный своей «вдумчивостью», признаетъ за театромъ то право на существованіе, которое сейчасъ онъ такъ легкомысленно отрицаетъ. Пусть вы будете «неуклюжи и кривобоки»—не забудьте, что не чѣмъ нибудь драгоцѣннымъ пожертвуетъ для васъ театръ, а «техникой», которую онъ самъ давно уже проклинаетъ, пожертвуетъ только веревкой, которая его душила!

Литература никогда не была забавой для пообѣдавшихъ а ставъ таковою въ несчастныя минуты—гибла. Пусть же и театръ перестанетъ быть забавой, а будетъ трудомъ для желающихъ трудиться, учителемъ и другомъ для ищущихъ правды и одинокихъ.

Но отъ пожеланій и совѣтовъ самыхъ прекрасныхъ до исполненія далеко, и я возвращаюсь на землю... впрочемъ, не совсѣмъ на землю: я поведу благосклоннаго читателя въ Художественный театръ и насколько сумѣю, разскажу, какъ вырабатывается тамъ новое психологическое содержаніе. Не думаю, чтобы мои свидѣтельскія показанія были нескром-

ностью по отношенію къ закулисной работѣ театра: вѣдь есть работа, которая должна показываться на экранѣ, какъ операціи Дуайэна, на такой работѣ учатся.

Я не буду говорить о предварительной дружной работѣ надъ пьесой, толкованіяхъ ея значенія и смысла, выясненіяхъ общихъ началъ—начну съ того момента, когда роль въ рукахъ актера и онъ начинаетъ играть. Актеръ вдругъ кладетъ тетрадку, а то и отбрасываетъ ее и говоритъ:

— Владиміръ Иванычъ, я не знаю, чѣмъ мнѣ жить.

Это не значитъ, что у актера нѣтъ денегъ, и что въ его роли чего-то не хватаетъ для жизни. И дальше поясняетъ актеръ примѣрно слѣдующее:

— Здѣсь сказано, что онъ улыбается, а у него нѣтъ никакихъ основаній улыбаться. Его только что побили, выгнали, а онъ улыбается- -идіотъ! И вообще я не вижу, чѣмъ тутъ жить: все какая-то случайность.

Это значитъ: ничего не принимаю на вѣру, требую доказательствъ, какъ для смѣха, такъ и для слезъ—для каждаго шага по сценѣ требую строжайшихъ доказательствъ. Случайнаго нѣтъ ни въ психологіи, ни въ искусствѣ. И вотъ начинается кропотливѣйшій психологическій анализъ: спеціальные эксперты-психіатры не такъ внимательно разсматриваютъ каждый шагъ обвиняемаго, какъ эти «актеры» разглядываютъ генезисъ и стазисъ, прошлое и настоящее героя, провѣряютъ паспортъ, сличаютъ морщинки –вплоть до дактилоскопическаго изслѣдованія. Какой страшный экзаменъ для автора! Какой стыдъ, когда среди живыхъ словъ вдругъ откроютъ ехидно постукивающій Морзовскій аппаратъ, сокращенную психологію для зрителей младшаго возраста!

И такъ для каждой роли, для каждаго актера. И бываетъ, что всѣ репетиціи останавливаются для одной улыбки, которой никто не можетъ понять. Бываетъ, что и актеръ забудетъ, что надо жить, искать извнутри, а пойдетъ отъ внѣшнихъ зрительныхъ впечатлѣній и тогда плохо. Не нужно забывать, что такія зрительныя впечатлѣнія могутъ быть заимствованы только у театра же, театральной памяти: въ жизни не бываетъ такъ, чтобы мужъ ссорился съ женой при народѣ, и актеръ этого не видалъ, какъ не видалъ онъ

поцѣлуевъ у влюбленныхъ, не видалъ чьихъ-то одинокихъ слезъ, не приглашался присутствовать при убійствахъ и измѣнахъ. Какъ и писатель, который также никогда не присутствовалъ лично и не наблюдалъ поцѣлуевъ и разговора влюбленныхъ, не приглашался на убійства и самоубійства, не видѣлъ глазами измѣнъ, не созерцалъ взлома кассъ, не лежалъ подъ кроватью и не подслушивалъ разговора двухъ проститутокъ, а все это даетъ изъ себя, изъ собственнаго психологическаго опыта, таинственнаго умѣнія поставить себя на любое мѣсто и въ любое положеніе—такъ и актеръ только изъ себя можетъ извлечь правду душевную, а не изъ зрительныхъ впечатлѣній, внѣшней театральности. Найдя же правду внутри себя, онъ найдетъ и соотвѣтствующій правдивый жестъ и мимику—не морзовское хватаніе себя за голову и саркастическое кривленіе губъ. И это называется у нихъ: играть на переживаніяхъ. Такъ и не дадутъ актеру тронуться съ мѣста, пока не найдетъ онъ, чѣмъ жить, и театральный жестъ замѣнитъ правдивымъ и искреннимъ.

Отсюда понятно и то, какимъ образомъ получается это чудесное одушевленіе вещей, какъ у Чехова: каждая вещь должна доказать свою необходимость, и разъ это сдѣлано, она становится одушевленной, необходимой частью общей души героевъ. И если авторъ самъ не видѣлъ вещей, когда писалъ, не ввелъ ихъ въ кругъ психологическій, не сдѣлалъ частью общей души—онѣ не должны существовать и для актера: этого не понялъ Художественый театръ, когда такъ старательно и такъ безплодно одушевлялъ ненужныя вещи въ «Ревизорѣ» или въ «Горѣ отъ ума», или въ шекспировскихъ постановкахъ. Въ этомъ отношеніи самый сильный театръ не можетъ видѣть дальше автора, и дальнозоркость театра легко можетъ стать его близорукостью.

Такъ трудною стезею психологическихъ доказательствъ и необходимой мотивировки идетъ театръ къ созданію своихъ цѣнностей. И этимъ же путемъ долженъ идти и новый драматургъ, если хочетъ онъ новой серьезной драмы. Надо писать на переживаніяхъ, сказалъ бы я, пользуясь терминологіей Художественаго театра.

Нужно ли оговариваться, что бездѣйствіе я

отнюдь не дѣлаю обязательнымъ для новой драмы? Наша задача - освободить сцену отъ старыхъ лживыхъ «законовъ» ея, спеціальныхъ, какъ спеціальна до сихъ поръ театральная цензура, столь отличная отъ общей, и подчинить ее законамъ обще-литературнымъ. И если драматургу-писателю понадобиться зрѣлище и дѣйствіе, то пусть оно и будетъ— не надо только выдумывать дѣйствіе тамъ, гдѣ его нѣтъ и быть не можетъ, не надо только рабски подчиняться изжившимъ себя условностямъ сцены.

11.

Однажды я былъ въ Москвѣ на маскарадѣ, устроенномъ художниками. Это было давно, лѣтъ шесть или семь назадъ, и были еще многіе, кого сейчасъ нѣтъ на свѣтѣ: В. А. Сѣровъ, Илья Сацъ*). Сѣровъ былъ наряженъ, какъ «Нѣкто въ сѣромъ» изъ «Жизни человѣка» и стоялъ въ углу со свѣчкой, а то подходилъ къ кому-нибудь и изъ-за спины шепталъ серьезно:

— Вотъ вы сидите тутъ и не знаете, что пришли уже воры въ квартиру вашу и снимаютъ платье съ вѣшалки.

Но въ общемъ было очень скучно, почти до слезъ — какъ бываетъ на всѣхъ маскарадахъ нашихъ и веселыхъ праздникахъ. И вотъ Сацъ, также позеленѣвшій отъ скуки, испуганнымъ шепотомъ предложилъ мнѣ и нѣкоторымъ артистамъ Художественаго театра—удрать.

— Поѣдемте ко мнѣ –шепталъ онъ, тутъ недалеко, что-нибудь сдѣлаемъ, повеселимся! Я не могу!

Поѣхали. Но сразу оказалось что-то совсѣмъ странное: пустая огромная и ужасно холодная, повидимому, въ тотъ день нетопленная комната и полное отсутствіе чего-нибудь веселящаго: не только не оказалось вина, на которое многіе

*) Хотя о Сацѣ, послѣ его смерти, писали много, но о значеніи его композиторской дѣятельности для Художественнаго театра было сказано далеко не все. Какъ композиторъ-психологъ, Сацъ былъ, на мой взглядъ, не только талантливымъ и полезнымъ сотрудникомъ: онъ былъ однимъ изъ творцовъ теперешняго театра въ его стремленіи къ правдѣ и психической углубленности. Музыка Саца проникаетъ въ самую душу людей и вещей. *Л. А.*

разсчитывали, не видя иной возможности вывести себя изъ трезвой и мертвой тоски, но не нашлось даже и горячаго чаю, погрѣться —поздно! Сацъ былъ смущенъ, бормоталъ что-то, засматривалъ въ углы и вдругъ нашелся: досталъ откуда-то маленькихъ восковыхъ свѣчей отъ елки и съ нашей помощью налѣпилъ ихъ всюду —на подоконники, и столы, на рояль. Стало совсѣмъ странно —и какъ будто весело. И вотъ тутъ, дальше, началось то особенное и милое, о чемъ до сихъ поръ я вспоминаю съ радостью: мы всѣ начали и г р а т ь. Было насъ немного: Книпперъ, Москвинъ, Качаловъ, Званцевъ, Леонидовъ, Сацъ и я, и всѣ мы играли: сами для себя, публики не было. Данъ былъ только общій планъ: изобразить нѣчто въ высокой степени испанское; и Сацъ импровизировалъ музыку, Званцевъ тутъ же сочинялъ соотвѣтствующій стихотворный текстъ и остальные входили всякій съ своимъ. Было нелѣпо, смѣшно, какъ Вампука (тогда еще не существовавшая) и необыкновенно талантливо: я и такъ очень высоко цѣнилъ упомянутыхъ артистовъ, а тутъ они поразили меня силой, яркостью и свѣжестью таланта, искристой его игрой. Сперва самъ я не хотѣлъ играть: неловко было, совсѣмъ не умѣю, но увлекся незамѣтно и тоже что-то заигралъ, отъ чего самъ же и смѣялся. И всѣ смѣялись, сами отъ себя и другъ отъ друга, прерывалась музыка отъ смѣха, и всѣ играли: пѣли, нагромождали событія, сами себя режиссировали, на лету улавливали связь и подхватывали діалогъ; нѣкоторые съ маскарада пріѣхали костюмированными. И н е б ы л о п у б л и к и о д н и и г р а ю щ і е.

И вотъ теперь, много лѣтъ спустя, когда я пишу о театрѣ психологіи и такъ рѣшительно открещиваюсь отъ театра игры, мнѣ невольно вспоминается этотъ чудесный вечеръ чудесной игры—да, игра необходима! Нужна всѣмъ: и собакамъ, и дѣтямъ и профессорамъ! И сколько еще вспоминается случаевъ, странныхъ вечеровъ, дней особаго настроенія, когда вдругъ нестерпимо захочется играть: хотя бы вдвоемъ, хотя бы одному, какъ котенку. Сдѣлать другое лицо, надѣть маскарадныя одежды, испанскій плащъ, золотую картонную корону, что-то вообразить, говорить стихами и пѣть—играть во что бы то ни стало.

И вспоминаются мнѣ тѣ плачущія дѣти, которымъ или родители запретили или товарищи бойкотируютъ: неприяты они въ игру и со стороны смотрятъ завистливо и со слезами! И думается мнѣ: когда мы идемъ въ театръ «игры» и смотримъ изъ своего горькаго партера на играющихъ актеровъ — не есть ли мы тѣ самые непринятые дѣти, отверженные волею родителей отъ общаго веселья, нелѣпые и ненужные свидѣтели чужой радости... публика! Надо самимъ играть, а не смотрѣть только — въ этомъ смыслъ игры, и осужденіе того театра, который самъ для себя за наши деньги великолѣпно играетъ, а насъ засадилъ въ партеръ для зависти и безсильнаго, стороняго, холоднаго смѣха.

Театръ игры немыслимъ безъ участія въ игрѣ зрителя-онъ становится насмѣшкой и оскорбленіемъ. И отсюда всѣ эти теоретическія и практическія попытки приблизить зрителя къ сценѣ, включить его въ хоръ: отсюда циркъ Рейнгарта, въ которомъ зрители должны якобы смѣшаться съ актерами, между зрителей ходящими; отсюда всѣ эти новые кабаре, въ которыхъ неостроумно шутятъ надъ зрителемъ, пытаясь вовлечь его въ игру, отсюда всѣ эти «геніальныя трюки режиссеровъ, вдругъ выкидывающихъ подмостки до середины зала, такъ что крайніе зрители совсѣмъ какъ будто становятся актерами.

А безчисленные потѣшные суды надъ героинями «сенсаціонныхъ» драмъ? Конечно, здѣсь есть и моментъ общественный, но еще больше сказывается въ этихъ судахъ потребность участвовать самимъ въ представленіи, не быть только сторонними зрителями, театральнымъ мясомъ, а и самимъ играть. И какъ многознаменательно, что въ этихъ судахъ авторъ и его пьеса являются только предлогомъ для сочиненія какой-то собственной драмы, сырымъ матеріаломъ для новаго коллективнаго творчества, соборной игры.

И въ будущемъ театрѣ не будетъ зрителей: это первое и основное требованіе новаго театра, столь же необходимое, какъ и въ соціальной жизни уничтоженіе обѣдающихъ и только смотрящихъ на обѣдъ — всѣ за столъ! Произойдетъ же упраздненіе «зрителя» двоякимъ, какъ мнѣ кажется, путемъ и путемъ неизбѣжнымъ и логичнымъ.

Зрители въ театрѣ игры исчезнутъ потому, что самый театръ игры постепенно уничтожится, распылится, уйдетъ въ самое жизнь, станетъ не особымъ зданіемъ съ городовыми у подъѣзда, а войдетъ въ общую частную обывательскую жизнь, какъ одинъ изъ радостныхъ элементовъ ея. Играть будутъ сами для себя, безъ публики и безъ актеровъ—сами. Всѣ эти ритмическія гимнастики и танцы, потѣшные суды, смѣшные футуристы съ накрашенными лицами и маскарднымъ костюмомъ на Тверской, все это и многое другое, о чемъ благоволитъ вспомнить самъ читатель -говоритъ объ одномъ: жизнь ограблена, у нея отняли игру, сняли какъ сливки въ кувшинъ, оставивъ людямъ только снятое жидкое молоко: жизнь требуетъ, чтобы игра вернулась въ отчій домъ жизни, какъ блудный сынъ изъ своихъ невольныхъ скитаній. Какъ это осуществится фактически, я, конечно, не знаю, да и не особенно задумываюсь: жизнь такъ развивается и растетъ, что всякія чудеса становятся мыслимы. И развѣ это такое уже чудо: стать самимъ немножко творцами и художниками, сочинителями и музыкантами—не только смотрѣть и слушать, а и самымъ нѣчто на собственную радость создавать! Вѣдь не въ томъ бѣда, что талантливыхъ людей мало, а въ томъ, что земляцы мало, и гніютъ въ сырыхъ складахъ жизнеспособныя сѣмена. Кто до аэроплана зналъ, что въ жизни есть столько необыкновенно смѣлыхъ и рѣшительныхъ людей, столь совершенныхъ физически и духовно! Жаловались на вырожденіе—и вдругъ! И развѣ это уже не чудо: вчера онъ мужикомъ трясся на грядкѣ телѣги, сонный, студенистый, совсѣмъ безнадежно раззявый, а сегодня онъ ведетъ автомобиль, эту бѣшеную машину, требующую такого вниманія сверхчеловѣческаго и зоркости и быстрѣйшей сметки.

Конечно, всегда будутъ люди, неспособные къ игрѣ, и всегда будутъ люди, особенно къ игрѣ способные и любящіе ее– и первые будутъ смотрѣть, если имъ захочется, вторые же будутъ играть съ особеннымъ искусствомъ. Но это не будетъ уже театромъ съ его непремѣннымъ раздѣленіемъ на актера и зрителя: вѣдь не театръ же и теперь, когда старики смотрятъ на играющихъ дѣтей, смѣются и вздыхаютъ!

Развитіе же соціальной жизни обѣщаетъ и новую почву для этой нетеатральной игры: будутъ процессіи, въ которыхъ играть будутъ массы; быть можетъ, возродятся и мистеріи на нѣкоторыхъ новыхъ началахъ, но съ ихъ непремѣннымъ условіемъ участія всеобщаго въ игрѣ. Съ этой стороны будущее обѣщаетъ такъ много новаго, что было бы тщетнымъ трудомъ искать отвѣта въ старомъ, отошедшемъ. Напр., мы еще совсѣмъ не знаемъ соціальной драмы: она была невозможна въ условіяхъ старой жизни и старой сцены: мы еще не знаемъ піесъ, въ которыхъ героемъ былъ бы н а р о д ъ, м а с с а, а не личность на фонѣ двухъ десятковъ статистовъ. Выступленіе на арену исторіи массъ—чѣмъ будетъ отмѣченъ въ вѣкахъ грядущихъ вѣкъ настоящій—выведетъ театръ игры изъ его тѣснаго закоулка на свободную ширину улицъ и площадей; и кто знаетъ?—не будутъ ли писаться сценаріи (не знаю, какъ назвать) для такихъ представленій, въ которыхъ участниками явится весь многомилліонный городъ... Что можемъ объ этомъ знать мы, подчиненные закону о «скопищахъ» и не могущіе собраться вчетверомъ, чтобы не быть немедленно кѣмъ то разогнанными?

И уже на половину ограбленный кинематографомъ, (я все говорю про будущее) театръ игры вернетъ сливки молоку, растворится въ жизни, обогативъ ее нарочитымъ опытомъ своимъ — и кончится зритель, несчастный Лазарь, подбирающій крохи подъ пиршественнымъ столомъ богача - брата своего. Это будетъ,—если можно такъ выразиться— я в н о е упраздненіе «зрителя», подобное сломкѣ стараго цейхгауза. Но по иному, совсѣмъ по иному, исчезнетъ «зритель» изъ залы новаго психологическаго театра. Если въ первомъ случаѣ: въ театрѣ игры с а м ъ т е а т р ъ растворится въ зрителѣ, какъ сахаръ въ горячемъ чаю, такъ въ театрѣ психологическомъ произойдетъ наоборотъ: «зритель» растворится въ психологичности драмы, перестанетъ быть зрителемъ и сдѣлается такимъ же дѣйствующимъ, какъ актеры.

Главнымъ и царственнымъ свойствомъ всякаго крупнаго психологическаго произведенія является то, что изображаемое цѣликомъ поглощаетъ собою воспринимающаго, совершаетъ почти физическое чудо, поглощеніе одного «я»

другимъ –личностью автора и его героевъ. Пусть тѣло читателя или зрителя или слушателя будетъ находиться гдѣ угодно и какъ ему угодно: на постели, въ креслѣ зрительнаго зала, у полутемнаго окна, бросающаго послѣдній свѣтъ дня на страницы книги—душа его уже вошла въ книгу или музыку, стала звукомъ и словомъ ея. Внѣшне по виду и положенію своему онъ только зритель и читатель, на самомъ же дѣлѣ—онъ герой совершающагося. Развѣ кто-нибудь бываетъ «зрителемъ» собственныхъ сновъ?

И тотъ пресловутый читатель, который «почитываетъ», совершенно аналогичный тому зрителю, который «посматриваетъ»—всегда есть лишь жертва автора или театра, самодовлѣющихъ въ своей игрѣ, званный, но не избранный, приглашенный лишь для того, чтобъ подбирать крохи за столомъ у автора или актера. Они играютъ или они страдаютъ, и это его совершенно не касается: зачѣмъ только звали! И драма психологическая, та драма *новаго* театра, образцы которой дали каждый по своему Чеховъ и Достоевскій, уже упразднила «зрителя». Пусть это все тотъ же зрительный залъ Художественнаго театра, похожій на множество другихъ зрительныхъ заловъ, но зрителя въ немъ уже нѣтъ. То тѣло въ пиджакѣ, спокойное какъ у спящаго, что сидитъ въ креслѣ или на скамейкѣ—есть только видимость, которую просятъ не смѣшивать съ настоящимъ «зрителемъ». Скажу дальше: во многихъ пьесахъ, помимо Чехова и Достоевскаго, уже встрѣчаются отдѣльныя сильныя и правдивыя мѣста, гдѣ истинный психизмъ уже проявляетъ всю силу заразительности своей; и когда доходитъ дѣйствіе до такого мѣста *зрители* въ театрѣ исчезаютъ, публики нѣтъ, нѣтъ никого, кромѣ единой страдающей или радующейся души. Если вы способны сохранить спокойствіе и обычную наблюдательность даже въ такія минуты, то прислушайтесь къ молчащему залу: какъ многозначительно и даже страшно его молчаніе. Нѣсколько разъ я пробовалъ изъ-за кулисъ наблюдать за зрительнымъ заломъ, невидимымъ въ его обычной полутемнотѣ, и каждый разъ замѣчалъ одно: какъ бы нѣкій возвратъ отъ жизни къ смерти, отъ смерти къ жизни. То явится зритель, то исчезнетъ, то онъ есть, то его нѣтъ—

какъ просто и даже наивно разрѣшалась для меня въ эти минуты «трудная» задача о зрителѣ, котораго путемъ какихъ-то перемѣщеній, переноса его тѣла изъ одного мѣста въ другое, надо ввести въ хоровое начало!

12.

Какъ растетъ потребность ввести игру въ самую жизнь, а не горестно наслаждаться ею въ театрѣ—такъ съ каждымъ днемъ растетъ потребность въ драмѣ психологической. Колеблются стѣны стараго театра, трещитъ по швамъ сценическій А. Дюма, и уже самая опера и чуть ли не съ балетомъ втискиваются злодѣйски въ суровыя тѣсныны психологичности, «музыкальной драмы». Родятся новые театры, чувствуя, что надо родиться—но цѣли жизни своей не понимаютъ и сиротѣютъ въ пустынѣ. Знаетъ и «публика», что должно родиться что-то новое, настало ему время несомнѣнное и уже заранѣе возлагаетъ на младенца какія-то неясныя надежды—горько обманывается. Знамя психологичности, когда-то поднятое надъ романомъ, уже вѣетъ и надъ театромъ нашимъ, но еще не тверды руки его держащія, и не всѣ его видятъ. Чувствуетъ вѣяніе его театръ и съ страшными усиліями, борясь не только за теорію, а за самое жизнь свою и за существованіе пытается вливать старое прокисшее вино въ новыя съ иголочки мѣхи. На этой почвѣ совершается много страннаго, смѣшного и подчасъ разительно нелѣпаго. Не узнаются старые друзья въ обманчивыхъ миражахъ новаго, психизмъ подмѣнивается кургузымъ и абсолютно антихудожественнымъ натурализмомъ, выворачиваются руки и ноги у старой драмы и старой оперы.

О музыкѣ какъ профанъ въ этой области я рѣшусь высказать только нѣкоторыя догадки; да и то главнымъ образомъ постольку, поскольку всякая опера есть и литература: «Борисъ Годуновъ» принадлежитъ и Мусоргскому и Пушкину, да и всякое самое плохенькое либретто все же родится отъ литературы-матери. А поскольку не Мусоргскій опредѣлилъ собою и вызвалъ Пушкина, а Пушкинъ опредѣлилъ и связалъ собою композитора, постольку об-

щія мои положенія о новомъ психологическомъ литературномъ театрѣ непосредственно захватываютъ и оперу. И вотъ что мнѣ думается:

Какъ самое непосредственное и острое орудіе психизма, музыка лучше всего пригодна для цѣлей художественно-психологическихъ. Этимъ объясняется отчасти, почему современный новый театръ, вступая въ новую фазу психизма, все чаще и чаще прибѣгаетъ къ музыкѣ, какъ къ вспомогательному средству: музыкой онъ старается возмѣстить тотъ недостатокъ психологичности, который не даетъ «чѣмъ жить» актерамъ, да и зрителю. Развѣ возможенъ безъ музыки совсѣмъ непсихологичный Перъ Гюнтъ»? Да и авторы драмъ прекрасно знаютъ цѣну музыкѣ: связанные проклятымъ дѣйствіемъ, они стараются незамѣтно накапать хоть десять капель психологіи посредствомъ бродячаго оркестра, вдругъ откуда-то появившагося или внезапно загорѣвшагося у героини желанія сыграть «Пѣсню безъ словъ». И если у Чехова, какъ напсихолога, это выходитъ вполнѣ естественно и необходимо, то въ другихъ случаяхъ звучитъ музыка жесточайшей выдумкой и есть лишь свидѣтельство о бѣдности и автора, и театра. Какъ необходимость доказанная въ новомъ театрѣ музыка займетъ очень большое и важное мѣсто, но какъ горестная «Пѣсня безъ словъ» она исчезнетъ вмѣстѣ съ дѣйствіемъ, зрѣлищемъ и укороченной морзовской психологіей.

Принято думать, что опера есть нѣчто безнадежно-искусственное—и оно такъ и есть съ точки зрѣнія слѣпого и глухого натурализма; въ дѣйствительности же въ оперѣ не больше искусственности, чѣмъ во всякой старой драмѣ. Развѣ только погуще все взято, но тоже и дѣйствіе и зрѣлище съ ихъ присными: морзовскимъ языкомъ, хмуренія бровей, укороченной психологіей «Вампуки». И также непсихологична музыка, какъ и добрый старый текстъ. И осточертѣлъ намъ Верди не потому, что музыка его пуста, легка, шарманочна, а потому, что она не психологична, какъ и романы геніальнаго Дюма, вся въ области игры звуками по-этому же еще и любятъ ее, какъ любятъ Дюма. И Вагнеръ, геній новой музыкальной драмы, дорогъ современнику не

столько музыкальными чисто достиженіями своими, сколько глубокимъ психизмомъ. Обратите вниманіе и на то, что побѣда и слава Мусоргскаго какъ разъ совпадаютъ съ рожденіемъ новой психологической драмы: Мусоргскій психологиченъ, къ несчастью для него, болѣе, чѣмъ былъ психологиченъ Пушкинъ, не только раскрывшій, но и связавшій его крылья. Не будетъ, мнѣ кажется, особенно дерзкой профанской фантазіей, если я скажу, что с е й ч а с ъ Мусоргскій писалъ бы оперы на нерифмованный текстъ Достоевскаго.

Но есть одно огромное несчастье у композитора: онъ не полновластный и не единый царь въ своемъ царствѣ оперы: онъ дѣлитъ свою власть съ писателемъ-драматургомъ. И Вагнеръ только потому сталъ Вагнеромъ, что онъ былъ не только звукомъ, но и словомъ: творилъ только то, и именно то, что хотѣлъ творить. Онъ самъ свой собственный поэтъ, онъ самъ свой собственный психологъ; и не этой ли прискорбной необходимостью дѣлить свою власть съ литераторомъ и даже почти-что подчиняться ему объясняется то, что наиболѣе в л а с т н ы е изъ современныхъ композиторовъ не пишутъ оперъ?

Не желая утомлять вниманіе читателя повтореніемъ сказаннаго о новой драмѣ, я коротко скажу, что и новая опера будетъ и должна быть психологична. Какъ профессора не желаютъ ходить въ теперешній дѣтскій театръ и играть въ лошадки, такъ и настоящіе серьезные музыканты и люди, чувствующіе музыку, перестали уже ходить въ оперу; а если и идутъ, такъ только для тѣхъ богатыхъ даровъ великой проникновенности, что дастъ геніальный Шаляпинъ, сумѣвшій, какъ только умѣетъ геній, остаться психологомъ почти-что въ пустотѣ. Когда на дняхъ десять тысячъ человѣкъ ждали билетовъ на Шаляпина и нужно была призвать воинскую силу, чтобы по россійски разогнать ихъ; когда самоубійцы — это фактъ, мнѣ извѣстный — готовы отложить самоубійство свое, если имъ дадутъ билетъ на Шаляпина — то дѣлается ли это для голоса и музыки одной? Нѣтъ. Такъ владѣютъ людьми только пророки, вожди и геніальные психологи, сближающіе душу каждаго изъ насъ съ душой всего человѣчества, всего міра.

Но цѣль и смыслъ прогресса человѣческаго въ томъ, чтобы доступное сперва одному сдѣлать доступнымъ и многимъ; и доступное многимъ — сдѣлать достояніемъ всѣхъ. Мало цѣны у нашихъ воздушныхъ машинъ, пока на нихъ могутъ летать только воздушные геніи; и плоха та опера современная, въ которой только Шаляпинъ можетъ подняться на высоту. Да и на всю ли высоту онъ поднимается? Нѣтъ ли еще большей высоты, которую не узнаетъ ни онъ, ни мы съ нимъ, люди переходнаго времени въ искусствѣ!

Скажу всего нѣсколько словъ о театрѣ «музыкальной драмы» въ Петербургѣ, ставшаго на положеніе какъ бы «новаго» театра. Въ немъ много талантливыхъ людей, онъ имѣетъ сейчасъ успѣхъ, но судьба его предначертана и выражена въ судьбѣ Художественнаго театра, ломавшаго кости у «Ревизора». Уже не довольствуясь одной оперной «игрой», стремясь къ правдѣ, имени которой онъ не знаетъ, театръ музыкальной драмы даетъ столько внутреннихъ противорѣчій, что становится похожъ на ощетинившагося ежа. То онъ играетъ свѣтло и ярко, то онъ танцамъ, какъ въ «Карменъ» даетъ психическую основу и впечатлѣніе производитъ неотразимое — то съ головой залѣзаетъ въ убійственный и и лживый натурализмъ. Своего торреадора онъ оскоблилъ и опростилъ до степени скучнаго, вульгарнаго обыкновеннѣйшаго испанца съ испанскаго дна — смотрѣть тошно. Но ужъ совсѣмъ невыносимо, когда въ послѣдней сценѣ торриды театръ заставилъ разгуливать по сценѣ цѣлый лазаретъ: на случай, видите ли, возможнаго несчастья! И думалъ, конечно, что даетъ правду, а далъ величайшую ложь, такъ какъ психологически смерть и несчастье отсутствуютъ въ этой картинѣ восторга, мужества, игры и бѣшенаго подъема.

Такъ,—настойчиво стремясь изъ оперы игры, какъ и драмы игры извлечь столь желанную правду душевную, правду не добываютъ, такъ какъ тамъ ея нѣтъ, а игру умерщвляютъ, искристое вино претворяютъ въ выдохшійся баварскій квасъ, даже въ простую воду... это ужъ не бракъ, а похороны въ Канѣ Галилейской. Но самой настойчивостью

стремленій своихъ, даже своими ошибками и грѣхами театры еще разъ подчеркиваютъ тотъ фактъ, что:

кончился театръ притворства!
Идетъ театръ правды!

13.

При всемъ желаніи быть краткимъ, я непозволительно растянулъ свое второе письмо... и все-таки не сказалъ и сотой доли того, что хотѣлось бы сказать. Всѣ области жизни захватываетъ вопросъ о театрѣ, и многаго, весьма важнаго, интереснаго и значительнаго я даже не коснулся въ этихъ бѣглыхъ строкахъ.

И до слѣдующаго письма оставляю я открытымъ вопросъ о новомъ «театрѣ слова», который по моему глубокому убѣжденію, явится завершительной ступенью театра психологическаго и поглотитъ его въ своей еще невиданной широтѣ и глубинѣ.

21 Октября 1913 г.

Изданія Общины Св. Евгеніи Краснаго Креста

Художественные подарки къ праздникамъ:

ПЕТЕРБУРГЪ. Художественно-историческій очеркъ В. Я. Курбатова, 315 иллюстрацій, въ тисн. золот. перепл. 3 р. 50 к. безъ перес.

КОТСРОМА. Художественно-историческій очеркъ и описаніе памятниковъ художественной старины В. и Г. Лукомскихъ. Около 300 иллюстрацій, въ тисн. золот. перепл. 3 р. безъ перес.

ПАВЛОВСКЪ Художественно-историческій очеркъ В. Я. Курбатова, 150 иллюстрацій, въ тисн. золот. перепл. 2 р. безъ перес.

1812 ГОДЪ ВЪ БАСНЯХЪ КРЫЛОВА. Рисунки Егора Нарбута; вступительная статья и примѣчанія П. О. Лернера. Изящное изданіе. Цѣна 2 р. безъ перес.

АЛЬБОМЫ на 400 откр. пис. исполнены во вкусѣ старинныхъ книгъ. Рисунки на переплетѣ А. П. Остроумовой-Лебедевой (гравюра на деревѣ), К. А. Сомова (акварель) и С. П. Яремича. Цѣна 5 р. безъ перес.

ETUIS въ видѣ старинаго книжнаго переплета для храненія откр. пис. въ книжныхъ шкафахъ на 50 и 100 откр. пис. Цѣна 1 р. безъ перес.

ПОЧТОВАЯ БУМАГА. 1) Виды Петербурга въ деревянныхъ гравюрахъ (ксилографія А П. Остроумовой-Лебедевой). Цѣна коробки въ 20 листовъ съ конвертами 2 р. безъ перес. 2) Рисунки Л. С. Бакста, Александра Н. Бенуа, М. В. Добужинскаго, К. А. Сомова и С. П. Яремича. Цѣна коробки въ 25 листовъ съ конвертами 2 р. 50 к. безъ перес.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА: историческія; Императорскій эрмитажъ; музеи, картины современныхъ русскихъ художниковъ;

РОЖДЕСТВЕНСКІЯ—БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ.

ВМѢСТО ВИЗИТОВЪ КОНВЕРТЫ КРАСНАГО КРЕСТА.

Склады изданій Общины Св. Евгеніи:

въ С.-Петербургѣ: Главный и для иногородныхъ—Пески, Старорусская 3, Община Св. Евгеніи, Городской—Морская 38, въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ, 11.

ИМѢЮТСЯ КАТАЛОГИ (цѣна 25 коп.).

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНІЕ

прсф. Л. А. Саккетти

„ИСТОРІЯ МУЗЫКИ ВСѢХЪ ВРЕМЕНЪ и НАРОДОВЪ".

«Исторія музыки всѣхъ временъ и народовъ» проф. Л. А. Саккетти — первый въ своемъ родѣ трудъ въ русской литературѣ, аналогичный съ трудами Фетиса, Амброса и «The Oxfordi History of music», но со слѣдующей существенной разницей. Исторія музыки Фетиса доведена до XV вѣка,—Амброса до XVII вѣка; въ упомянутой англійской исторіи музыки нѣтъ главъ о музыкѣ первобытныхъ и восточныхъ народовъ, а русской удѣлено слишкомъ мало мѣста. Трудъ проф. Л. А. Саккетти обнимаетъ музыку съ древнѣйшихъ временъ по XIX вѣкъ включительно и въ особенности подробно трактуетъ великихъ композиторовъ XVIII и XIX стол. Онъ вполнѣ аналогиченъ «Исторіи искусствъ всѣхъ временъ и народовъ» Вёрмана и «Исторіи живописи всѣхъ временъ и народовъ» А. Бенуа.

Въ виду обширности этого труда и ради удобствъ подписчиковъ издатели рѣшили печатать и разсылать изданіе выпусками въ предѣлахъ отъ 25 до 30 нумеровъ. Каждый выпускъ будетъ заключать не менѣе 14 печатныхъ листовъ съ многочисленными иллюстраціями, что составитъ въ общей сложности до *3000 страницъ иллюстрированнаго текста* большого формата «in quarto».

Особое вниманіе издателей будетъ обращено на музыкальныя иллюстраціи.

Трудъ проф. Саккетти будетъ иллюстрированъ массой точныхъ примѣровъ и воспроизведеніемъ нотацій, факсимиле, инструментовъ, портретовъ, картинъ бытового и сатирическаго характера и т. д. Любознательному музыканту будетъ дана возможность въ дѣйствительности воспринять музыку прошедшихъ вѣковъ и, сравнивая однѣ эпохи съ другими, приходить къ интереснымъ выводамъ о музыкѣ человѣчества.

Помимо иллюстрацій въ текстѣ, каждому выпуску будетъ предшествовать картина (пр имущественно портреты), воспроизведенная въ краскахъ, или меццотинто-гравюра. Такимъ образомъ подписчикамъ на протяженіи всего труда будетъ дана цѣнная коллекція картинъ или гравюръ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Подписная цѣна каждаго выпуска по предварительной подпискѣ 1 р. 60 коп.; пересылка—30 коп., наложеніе платежа—10 коп. При подпискѣ вносится 3 руб. 20 к., которыми оплачиваются послѣдніе два выпуска изданія. При полученіи каждаго выпуска вносится стоимость его.

Отдѣльно выпуски продаваться не будутъ. По выходѣ въ свѣтъ первыхъ семи выпусковъ подписная цѣна изданія будетъ повышена.

Подписка принимается въ конторѣ книгоиздательства „Шиповникъ" (*С.П.Б., Николаевская, 31*), въ складахъ изданій Общины Св. Евгеніи Краснаго Креста (Петербургъ, Морская, 38; Москва, Кузнецкій мостъ, 11), въ Книжно-газетной Экспедиціи Акц. О-ва «Московское Издательство» (Москва. Тверская, Глинищевскій пер., д. 6) и во всѣхъ извѣстныхъ художественныхъ и книжныхъ магазинахъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на художественное изданіе

А. БЕНУА.

„ИСТОРІЯ ЖИВОПИСИ ВСѢХЪ ВРЕМЕНЪ и НАРОДОВЪ“

„Исторія живописи всѣхъ временъ и народовъ“ Александра Бенуа охватываетъ періодъ съ древнѣйшихъ временъ до конца XIX вѣка (до импрессіонистовъ включительно) и раздѣлена, сообразно съ избранной авторомъ системой, на четыре части: первая часть—**исторія пейзажной живописи**: вторая часть — **исторія портрета**; третья часть — **исторія бытовой** (жанровой) **живописи** и четвертая часть—**исторія идейной живописи** (религіозныя, миѳологическія, фантастическія и историческія темы).

Считаясь съ громадностью матеріала и удобствами подписчиковъ, издатели рѣшили печатать и разсылать изданіе выпусками (отъ 30 до 35 выпусковъ)

Каждый выпускъ будетъ заключать отъ 12 до 15 листовъ текста и 60—80 иллюстрацій, что составитъ въ общей сложности **свыше 1500 иллюстрацій и 2500 страницъ текста** большого формата «in quarto».

«Исторія живописи всѣхъ временъ и народовъ» печатается на спеціально заказанной слоновой (высшаго качества) бумагѣ. Это даетъ возможность при печатаніи достигать наибольшей отчетливости и ясности воспроизведенія. Съ этой цѣлью **значительное число** репродукцій печатается особо на мѣловой бумагѣ высшаго качества и наклеивается въ текстѣ. Къ каждому выпуску прилагается печатаемая за границей репродукція въ краскахъ или гравюра-меццотинто.

Наблюденіе за художественной стороной изданія взялъ на себя лично Александръ Бенуа, при участіи художниковъ: И. Билибина, М. Добужинскаго, Е. Лансере, Г. Нарбута и С. Яремича.

Изданіе выходитъ, по возможности, ежемѣсячными выпусками.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Подписная цѣна каждаго выпуска по предварительной подпискѣ 1 р. 80 к.; съ пересылкой—2 р. 10 к.; наложеніе платежа—10 к. Доставка на домъ въ Петербургѣ—10 к., въ Москвѣ—15 к. за каждый выпускъ. При подпискѣ вносится 3 р. 60 к., которыми оплачиваются послѣдніе два выпуска изданія. При полученіи каждаго выпуска вносится стоимость его, за исключеніемъ послѣднихъ двухъ, какъ уже оплаченныхъ при подпискѣ задаткомъ.

Отдѣльно выпуски продаваться не будутъ. Съ 1-го марта 1914 г. цѣна каждаго выпуска будетъ повышена до 2 р. 20 к.

Подписка принимается въ конторѣ книгоиздательства «Шиповникъ» (СПБ., Николаевская, 31), въ складахъ изданій Общины св. Евгенія Краснаго Креста (С.-Петербургъ, Морская, 38; Москва, Кузнецкій Мостъ 11) и во всѣхъ извѣстныхъ художественныхъ и книжныхъ магазинахъ.

Крышки для вышедшихъ двухъ томовъ (выпуски I по V и VI по X), исполненныя по рисунку художника Г. Нарбута (форзацъ по рис. худ. С. Чехонина) продаются по цѣнѣ 2 р. (съ пересылкой 2 р. 40 к.) въ

Издательствѣ «ШИПОВНИКЪ».

СПБ., Николаевская 31, (Тел. 33-92).

Изд-во «ШИПОВНИКЪ» С.-Петербургъ, Николаевская, 31.

Собраніе сочиненій Г. Д. Уэллса.

Томъ I. Странные разсказы . . . . . Ц. 1 р. 25 к.
» II. Когда спящій проснется. Романъ . . . . . » 1 » 25 »
» III. Грядущіе дни. Машина времени . . . . . » 1 » 25 »
» IV. Первые люди на лунѣ . . . . . » 1 » 25 »
» V. Въ дни кометы . . . . . » 1 » 25 »
» VI. Пища боговъ . . . . . » 1 » 25 »
» VII. Любовь и мистеръ Льюисгэмъ . . . . . » 1 » 25 »
» VIII. Островъ д-ра Моро. Война міровъ . . . . . » 1 » 25 »
» IX. Тоно-Бэнге. Романъ . . . . . » 1 » 25 »
» X. Невидимка. Богъ Динамо. Афера со страусомъ . . . . . » 1 » 25 »
» XI. Война въ воздухѣ. Романъ . . . . . » 1 » 25 »
» XII. Предвидѣнія . . . . . » 1 » 25 »

Цѣна за все изданіе въ 12 переплетахъ 19 р. 20 к.

Собраніе сочиненій Габріэля Д'Аннунціо.

Томъ I. Джованни Эпископо. Сонъ въ весеннее утро. Сонъ осенняго заката . . . . . Ц. 1 р. 25 к.
» II. Неповинный. Романъ . . . . . » 1 » 25 »
» III. Разсказы изъ Пескары . . . . . » 1 » 25 »
» IV. Торжество смерти. Романъ . . . . . » 1 » 25 »
» V. Наслажденіе. Романъ . . . . . » 1 » 50 »
» VI. Факелъ подъ спудомъ. Больше чѣмъ любовь . . . . . » 1 » 25 »
» VII. Пламя. Романъ . . . . . » 1 » 50 »
» VIII. Слава. Мертвый городъ. Джіоконда . . . . . » 1 » 25 »
» IX. Дѣвы скалъ. Романъ . . . . . » 1 » 25 »
» X. Франческа да Римини . . . . . » 1 » 25 »
» XI. Быть можетъ да, быть можетъ нѣтъ . . . . . » 1 » 50 »
» XII. Дочь Іоріо. Корабль . . . . . » 1 » 50 »

Цѣна за все изданіе въ 12 переплетахъ 20 р. 20 к.

Соб. сочин. А. Серафимовича.

Томъ I. Разсказы . . . (печат.).
» II. Разсказы . . . . Ц. 1 р. 15 к.
» III. Разсказы . . . . (печат.).
» IV. Разсказы . . (гот. къ печ.).
» V. Разсказы . . (гот. къ печ.).
» VI. Городъ въ степи. Ром. 1 р. 25 к.

Сочин. Гр. Алексѣя Н. Толстого.

Томъ I. Разсказы . . . Ц. 1 р. 25 к.
» II. Разсказы . . . . » 1 » 25 »
» III. Сказки и стихи (печат.).
IV. Двѣ жизни. Ром. (гот. къ печ.)

Сочиненія Осипа Дымова.

Книга I. Власъ и др. разск. Ц. 1 р. 25 к.
» II. Солнцеворотъ и Ню. 1 » 25 »

Сочиненія Бориса Зайцева.

Книга I. Разсказы . . . . Ц.— р. 50 к.
» II. Разсказы . . . . » 1 » — »
» III. Разсказы . . . . » 1 » 25 »

Сочиненія Георгія Чулкова.

Томъ I. Разск. Изд. 2-е . . Ц. 1 р. 25 к.
» II. Разск. Изд. 2-е . . » 1 » 25 »
» III. Повѣсти и разск. » 1 » 25 »
» IV. Стихи и драмы. . » 1 » 25 »
» V. Статьи . . . . . » 1 » 25 »
» VI. Разсказы . . . . » 1 » 25 »

Сочиненія Марка Криницкаго.

Томъ I. Разсказы . . . . Ц. 1 р. 25 к.
» II. Разсказы . . . . » 1 » 25 »
» III. Разсказы . . . . » 1 » 25 »

44338

ШИПОВНИКЪ

Ц. 1 р. 50 к.

Тип. „Двигатель", Казначейская, 6.

38.43.1.3
MS